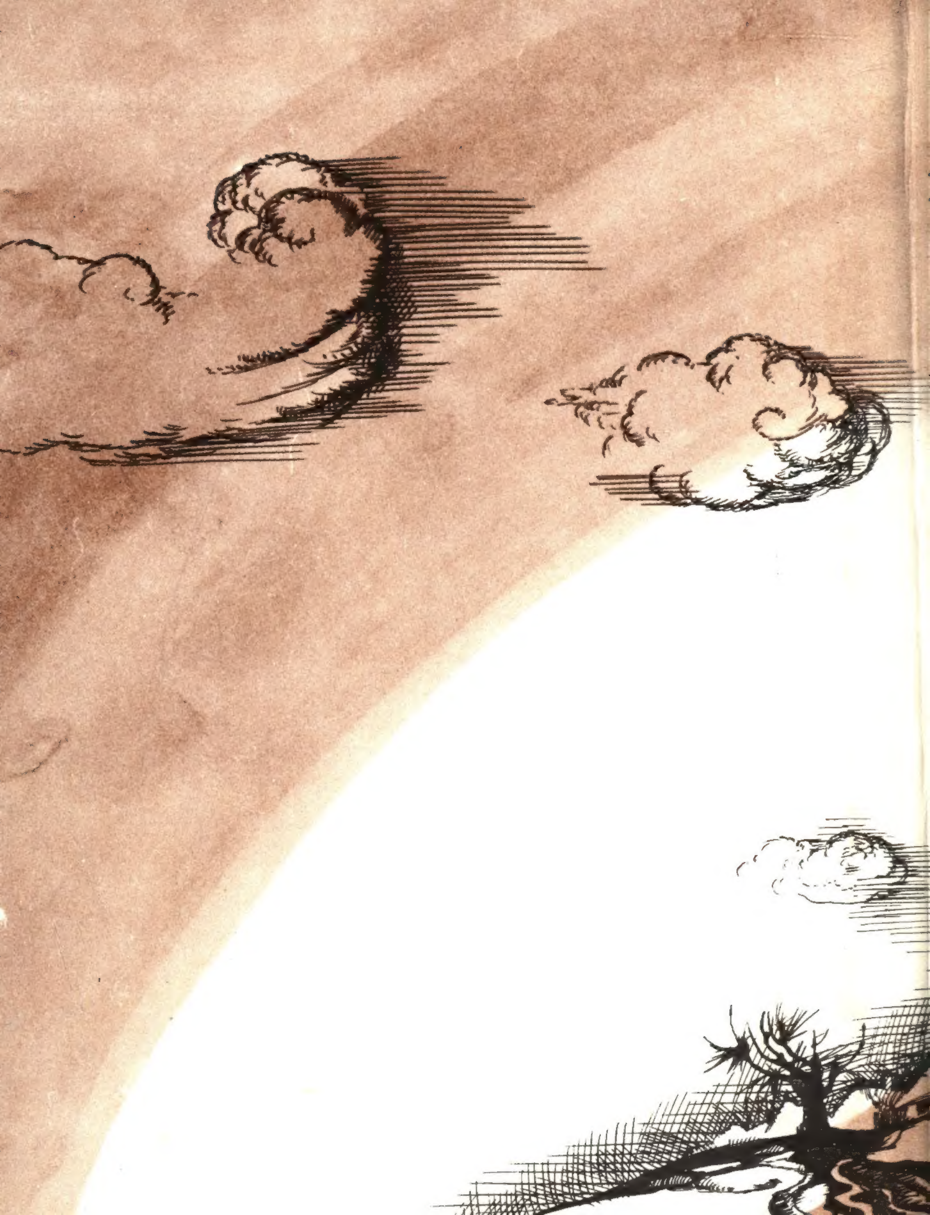
Ирина Гуро, Анатолий Андреев

Горизонты





Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1977



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ



Ирина Гуро,
Анатолий Андреев

ГОРИЗОНТЫ

ПОВЕСТЬ
О СТАНИСЛАВЕ КОСИОРЕ

Р2
Г95

Широкому читателю известны романы Ирины Гуро: «И мера в руке его...», «Невидимый всадник», «Песочные часы» и другие. Многие из них переиздавались, переводились в союзных республиках и за рубежом. Книга «Дорога на Рюбецаль» отмечена литературной премией имени Николая Островского.

В серии «Пламенные революционеры» издана повесть Ирины Гуро «Ольховая аллея» о Кларе Цеткин, хорошо встреченная читателями и прессой.

Анатолий Андреев — переводчик и публицист, автор статей по современным политическим проблемам, а также переводов художественной прозы и публицистики с украинского, белорусского, польского и немецкого языков.

Книга Ирины Гуро и Анатолия Андреева «Горизонты» посвящена известному деятелю КПСС Станиславу Викентьевичу Косиору. В остросюжетной форме авторы ведут рассказ о богатых событиями 1930—1935 годах на Украине, когда наиболее полно проявился талант партийного руководителя Станислава Косиора.

Г $\frac{10202-076}{079(02)-77}$ БЗ—60—2—76

Часть первая

1

То, что Тарас Иванович Титаренко нисколько не огорчился известием о смерти брата в Канаде и не обрадовался извещению Госбанка о наследстве, крупной денежной сумме, ровно ни о чем не говорило. Ни о недостатке братских чувств, ни о пренебрежении деньгами. Совсем о другом думал Тарас Иванович, трясясь в собственной бричке на станцию Сватово, что в сорока километрах от Старобельска.

Мысли были не о брате, не о деньгах: об Украине, о той самой «ридной неньке», которая только для них там, по ту сторону океана, была неведомой и загадочной, а уж он-то, Тарас Титаренко, каждую ее морщинку знал и каждое дыхание. Украина! Край крупного землевладения, крепких, заможных хозяев,— они определяли судьбу страны, а не шушера, голытьба, бескультурщина, «товарищи»...

Благополучие всего разветвленного семейства Титаренков зависело именно от такой Украины. Не оставаться же ему всю жизнь «совслужащим» — инструктором райпотребсоюза. Тьфу!

Целиком погруженный в эти общие рассуждения, Титаренко не жалел брата, хотя бы потому, что брат вовсе не умер. И не радовался наследству, зная, что деньги вовсе не его.

Однако самый факт присылки денег из Канады был для него отрадным. И это скрашивало поездку. Поездку «аж в саму Москву».

Тарас Иванович, конечно, предпочел бы заехать в Харьков сейчас, до Москвы. Так он и предполагал первоначально. Но через своего человека получил из Харькова письмо, в котором намеками, но для посвященного очень ясно говорилось, что сейчас ему, Титаренко, в Харькове не светит. Начинается слушание дела СВУ — «Спилки визволення Украины». В открытом процессе, в помещении оперного театра... Незачем в такое время мелькать в столице!

Разумно. Ничего не скажешь. А что касается дела этой «Спилки визволення Украины», то лично его это не касается, нет, упаси боже! Жаль, конечно, людей, но в таком деле без потерь никак нельзя... А он, он — вдалеке, он сам по себе. И пока что сидит крепко. В своем углу, в своем Старобельске. В своем собственном дому...

И потому он спокойно уселся с газетой у окна плацкартного вагона: Тарас Иванович был человеком бережливым и не собирался бросать деньги единственно за то, чтобы под задом было мягко.

Странно, газета оказалась старой, еще январской. Видимо, в спешке он захватил ее вместо свежей.

— А, байдуже, у той газети, що в старый, що в новый, така правда, як на верби груши!

Но лист развернулся на статье про кулака, и Титаренко вспомнил, что в свое время отложил ее, чтобы углубиться. Но не углубился. Не мав часу.

Вот сейчас и углубится... Заголовок «В поход на кулака» сразу вызвал в нем раздражение. Дались им те кулаки! Неужто они думают, что можно «ликвидировать» такое дело, как доброе хозяйство, нажитое пусть и не своим трудом — только же две руки у человека,— но и батрацким. Так ведь «товарищи» даже слово-то «нажива»

сделали поганым! Нажива! То ж от слова «живой»! Чем же тогда жить человеку на этом свете? Без наживы, без стремления к ней? А от него и старанье. И уменье. Так на тебе: поход на кулака! Смех... Аж пекло смиеться!

Однако он продолжал читать, и тем более внимательно, что статья была не чья-нибудь, а «ихнего главного» — Косиора.

Что немало умных людей стало на сторону голоты, ободранцев, босяков, было не диво. Тарас Иванович рассуждал попросту: люди пострадали от царя, им надо жизнь без царя устроить... Ну, устраивай. А собственность не задевай! Однако задевают... И вот, пожалуйста, пишут: у кулаков все отобрать, голытьбе передать... Воля бедняцко-середняцких масс... Выкорчевать капиталистические элементы...

Ох, «товарищи», не то корчуете! Не того за шкирку берете! Тарасу Ивановичу тот царь потрибен, як собаци шляпа! Порядок, порядок — вот что требуется. А от лайдаков, нищих, порядка не дождетесь. И не гадайте, что ваши колхозы «утвердят», «обеспечат», «поддержат», «выведут». Не будет того.

И, вконец разозленный на «самого главного», на газету «Висти» и на весь мир, Титаренко подложил свернутый пиджак под голову и, не сняв сапог, «бо в одну хвылыну сопрут», улегся на жесткий диван.

Москва всегда угнетающе действовала на Титаренко: нет, он человек был живой, не угрюмый, любил многолюдье и пестроту базаров, святочную и пасхальную гульбу, свадьбы и крестины. Чтобы и хмельное — рекой, и пляска — до упаду. И даже драка, деревенская драка — что в ней плохого? Но и эту удаль и силу задумали большевики растаскать по спортивным стадионам. Размахнись тут, двинь во всю ширь запорожской натуры! Ногой в бутсе по мячику?

А вот это московское многолюдство, в которое окунулся Титаренко, выйдя на вокзальную площадь, нет, не устраивало его.

Люди бежали, ровно за ними гонятся. По Титаренкову понятию, бегают одни воры. Зачем порядочному человеку бегать? А тут бежали по делам, на службу, потому что каждый был «деятелем». А так не бывает. Не должен каждый — в деятели! Потому что не может каждый двигать жизнь вперед. Для этого существуют люди избранные. В силу своих качеств. Особых, только им присущих. И они, эти люди, должны направлять жизнь простых смертных. Иначе — хаос, сумятица, вот эта безумная картина: человеческое месиво, людской муравейник, нечто непонятное, несусветное, кромешное — Москва!

О своем приезде Тарас Иванович обычно не извещал друга, Якова Трищенко. Не известил он его и сейчас по тем простым соображениям, что, во-первых, не собирался задерживаться в Москве, а во-вторых, сообщить Якову цель своего приезда он не хотел. Кто его знает, чем и как живет сейчас старый сослуживец. Как он встретит, тоже было неясно: жизнь теперь такая, что все может повернуться в гораздо меньший срок, чем те два года, которые они не виделись.

И потому Титаренко вовсе не был уверен, что застанет старого приятеля дома. И объяснение своему приезду подготовил простое: командировка в Центросоюз.

Трищенко жил в одном из переулков в районе Сухаревки. Мельком отметил Титаренко: и Сухаревки-то нет уже, усохла, как речка! А могучий базар был! Променяли на филармонию какую-нибудь, на «Принцессу Турандот» — бросилось в глаза на афише. И вот еще — Ирма Яунзем... Кто это?.. Или того хлеще: Арле Тиц, нарисована баба, черная как сатана, с оркестром. О, господи!

Не стал Титаренко читать афиши, которыми были заклеены заборы, словно стены хаты старыми газетами.

В невеселых мыслях добрел он до места, где квартировал Трищенко. Худой домишко давно уже просился на слом, однако жил своей жизнью. Кромешной. Каждый тащил свою ношу: был как раз тот час, когда служилый народ возвращался по домам.

На втором этаже Тарас Иванович постоял на площадке перед неряшливо обитой войлоком дверью, на которой целая литература учила, кому и как именно звонить. С опаской нажал он кнопку звонка, быстро отдернул палец, снова нажал, уже покрепче. Кажется, получилось: один короткий, три длинных.

Шаги за дверью возникли не сразу. Потом писклявый голос спросил: «Кто там?» Титаренко удивился: для внуков другу было рановато, для детей — поздно.

— Якова Петровича мне,— сообщил через дверь Титаренко.

— Дедушки нету,— к удивлению гостя, произнес детский голос. Однако замок щелкнул, и дверь отворилась. На пороге стояла девочка лет семи.

— А ты кто же такая?

— А я — внучка,— бойко ответила девочка, без удивления смотря на пришельца большими карими глазами.

Тот никак не мог взять в толк: откуда ж такая девица? Старшему сыну Трищенко было, правда, лет тридцать, но еще два года назад он был холостой.

Выяснить это обстоятельство пока было не у кого.

— А можно подождать?

— Можно,— ответила девочка тоном хозяйки.

Титаренко вошел в большую комнату, которую хорошо помнил со своего прошлого визита. Сейчас она была разделена на три «пенала». Один из них и окна даже не имел. Титаренко отметил, что в квартире, несмотря на тесноту, был порядок и заметны следы женской руки. Это уже что-то новое: не женился ли на старости лет вдовый Трищенко?

Девочка — очень серьезная она была и обстоятельная,— вероятно, решила, что должна занимать гостя. Тут же она сообщила, что мама ее приходит с работы поздно. И папа — тоже. А вот дедушка, тот уже скоро будет. «Еще бы, не хватало старому Трищенко гореть на работе в этом его Разноэкспорте,— что там экспортировать? Кому?»

Титаренко опять вздохнул, и девочка участливо спросила:

— Дядя, у вас что-нибудь болит?

— Болит, доченька, ох болит! — ответил Титаренко, погладив девочку по темной головке.

Мало-помалу выяснилось, что женился, конечно, не старый Трищенко, а его сын Петр. А жену взял с ребенком — тоже не сахар! Особенно Титаренко расстраивался, глядя на потолок: он был поделен соответственно «пеналам» на три части, да так, что крюк для лампы пришелся под самую перегородку,— там она и висит, богатая люстра с хрустальными подвесками. От этого вида в глазах у Титаренко все как бы перекосилось. «Да что уж тут! Вся жизнь перекошенная!» От такой мысли ему даже стало как-то легче. И он спокойно отнесся к сообщениям, прочитанным в вечерней газете, которую предложила ему девочка, об «углубляющемся кризисе капитализма» и «об успехах отечественной промышленности в области бытовой химии».

От объявлений об обмене квартир и приблудившихся собаках Титаренко оторвали один короткий и три длинных звонка.

Собственно, звонки звучали все время, пока он читал газету, но он как-то к ним притерпелся, хотя первые минуты каждый раз настораживался.

Он встал навстречу Якову Петровичу. Правда, не сразу, с сомнением приблизился к нему. С сомнением и не без осуждения: лицо у Трищенко было голое, неприлично голое, как сковорода. И уже невозможно было себе предста-

вить на этой сковороде пышные с проседью усы, которыми когда-то так гордился Трищенко. Одет был Яков Петрович тоже несусветно: в берете! «Все рушится!» — подумал Титаренко, увидя синюю нашлепку на крупной пепельно-чубатой голове друга и апельсинового цвета рубашку, да к тому же трикотажный галстук в разрезе стандартного шевиотового пиджака.

Необычная жизнерадостность старого приятеля тоже показалась Титаренко неуместной. С чего бы радоваться? Что люстру вбок загнали? Что сын женился на разводке с большой девчонкой?

Не успел он задуматься над этим и не обменялись еще они неизбежными вопросами, как опять прозвучал набор звонков, и девочка, только что бурно встречавшая «дедушку», закричала: «Мама!» Титаренко замер, ожидая увидеть уж вовсе неожиданное. Так оно и было.

Не то чтобы его поразила наружность или одежда вошедшей: и пальтишко на ней было обычное, и вязаная шапочка, вид моложавый, скорее девчонки, а не матери. Поразило Титаренко сходство этой молодой, привлекательной женщины с покойной женой Якова Петровича. И почему-то ему подумалось, не потому ли с такой нежностью Яков Петрович произнес:

— Вот и сношенька моя, Галина Викторовна.

У снохи, видно, дело в руках спорилось — и то хорошо! Пока друзья делились краткими сведениями о своей жизни — то, что Трищенко руководит в клубе Разноэкспорта самодеятельностью, Ансамблем украинской песни, отчасти примирило Тараса Ивановича с беретом,— стол был уже накрыт. Золотилась в графине настоянная на лимонных корках водочка, и, окинув взглядом все, что стояло на белой с украинской вышивкой скатерти, Титаренко заключил, что хозяева живут неплохо. И кинулся к своему чемоданчику доставать всякую снедь, привезенную в подарок другу. Были тут и собственного засола огурчики, такие

зелененькие с пупырышками, словно только что с грядки. И окорок, весь дымчато-красный, с белым окаймлением жира, и, конечно, украинская колбаса своего приготовления. Хозяева шумно благодарили, удивлялись, восхищались.

Но, конечно, настоящий разговор, надеялся Титаренко, начнется тогда, когда Галина встанет из-за стола: пора уже, наверное, укладывать дочку. А что касается Петра, то о нем было сказано, что у него сегодня партийное собрание, придет не скоро. «Партийный! — мысленно ахнул Титаренко.— А впрочем, без этого не проживешь».

И началась беседа, от которой и не думал отказываться Титаренко, и уж некуда было деваться Якову Петровичу.

Особых переходов искать не приходилось: как-никак Яков еще виделся Титаренке в лихом гайдамацком обличье, в жупане с желто-голубыми петлицами, с трезубом на фуражке!.. То время разве забудешь? И, слегка размякший от воспоминаний, от выпитого, Титаренко начал...

— Вот мы и дожили с тобой, друже,— куда денешься? — до таких годов, до сивых голов. Та не так воно склалося, як мы гадалы... Одначе не вся писня проспивана!

— Так, так,— задумчиво кивал Яков Петрович и все возвращался назад, далеко назад, еще до всяких трезубов, когда парубками гуляли они по берегу родной речки Сулы. А Титаренко все старался вернуть его ко временам трезуба, чтобы потом уже перебросить мост к сегодняшнему дню, к тому, что̀ сейчас можно и нужно делать. Но Яков Петрович словно бы не понимал, чего-то городил про свой хор и даже пытался затянуть: «Стоить гора высокая, а пид горою гай...» И тут только Титаренко вспомнил, какой отличный голос звучал на деревенской улице, когда в центре хоровода шел ладный парубок Яшка Трищенко...

Титаренко не дал себе воли углубляться в столь далекие времена. Излияниям друга он положил конец трезвым и — что там! — откровенным вопросом:

— А як же, Яков, служишь ты нашому дилу, наший святый идеи, наший вильний Украини?..

И в одно мгновение, по игре чувств на лице друга, угадал Титаренко, что тот все время ждал этого вопроса и был готов к нему. Только как именно готов, этого не угадал Титаренко. И потому все больше как бы закаменевал, сжимался, с силой подавлял в себе готовый вырваться окрик презрения и разочарования.

««Не занимается политикой»,— выдавил из себя Яков! А чем же, сучий сын, занимается? Песни распевает? С чужой девчонкой нянькается? Эх, Яков! И такого скрутила жизнь!..»

Не то чтобы Титаренко на что-то определенное рассчитывал, да и не было у него разговору с хозяином о какой-то конкретной задаче, которая предполагала бы участие Трищенко в работе. Но само собой, естественным образом мечтал Титаренко о встрече с единомышленником и сейчас не мог скрыть, да и не хотел, обиды на друга.

Разговор не клеился, уже не были интересны рассказы Якова, да и Галина вернулась со своими, как она думала, занимательными для гостя новостями московской жизни.

Переночевав у Трищенко, на следующий день Титаренко отправился в Госбанк.

И хотя встреча со старым другом оставила в душе царапину, но важнее в тысячу раз было то, что в кармане у него оказался чек на Харьковский государственный банк. Важный не только значительностью суммы, жирненькими нулями, в нем проставленными, а тем, что был как бы вещественным знаком доверия и надежды.

2

Евгений Малых докладывал, как всегда, избегая лишних слов, только самую суть документа. Словно выбирал сердцевину из ореха, отбрасывая скорлупу. Благодаря ис-

ключительному свойству своей памяти Евгений, не заглядывая в документ, ясно видел перед собой его текст. И если секретарь ЦК задавал какой-нибудь вопрос, Евгений мог ответить, не обращаясь к бумагам.

И сейчас, когда он отложил письмо этой несчастной женщины Софьи Бойко из Кривой Балки, а Косиор спросил, давно ли арестован ее брат, Евгений не только сразу ответил, что уже два месяца, но и воскресил в памяти нервный почерк Софьи. И путаницу украинских и русских слов, и ту фразу, которая больно резанула его, а в его передаче, вероятно, и Станислава Викентьевича: «До каких же пор будем мы терпеть разгул и издевательства кулаков над честными коммунистами! И чтобы закон не покарал их, не може того буты!» По-украински эти слова: «Не може того буты!» — звучали почему-то особенно горько и требовательно.

Случалось и раньше, когда Евгению очень хотелось, чтобы Станислав Викентьевич заинтересовался каким-то документом... Так и сейчас: еще звук его голоса не растаял в углах кабинета, как Косиор протянул свою характерную небольшую руку с короткими крепкими пальцами:

— Покажите письмо.

Малых вынул из пачки подлинник письма Софьи с приколотой к нему отпечатанной копией и положил перед секретарем ЦК.

К его удивлению, Косиор откинул машинописный текст и стал читать оригинал. Как будто собственноручно написанное могло точнее передать суть дела. А может, и так? В нервном стремительном почерке угадывался характер...

Он не дочитал до конца и быстро сказал:

— Эта женщина пишет слишком грамотно для селянки.

— Она учительница, Станислав Викентьевич, там дальше указано.

Косиор стал читать дальше и снова остановился:

— Извлечем главное: председатель колхоза Федор Бойко якобы похитил посевной материал из колхозного склада. А дальше нагнетается и обставляется весьма продуманно, вполне в духе кулацкой провокации... Действительно, на складе — недостача, а на задворках председателевой хаты — те самые, но уже пустые мешки. Так?

— Вот именно,— подтвердил Евгений.

— И вдруг неожиданный поворот — признание сторожа: ночью он отомкнул склад и дал кулакам вывезти зерно. Как я вижу, показания его подтвердил один из участников провокации,— Косиор посмотрел в заявление: — Вот... Васильчук!

— Более того, Станислав Викентьевич, именно Васильчук на своих санях подвез мешки к сараю кладовщика Онищенко, вместе с ним пересыпал зерно в другие мешки, а пустые Онищенко подкинул на председателев огород. И мотивы действий Онищенко тоже ясны, поскольку он зять местного кулака...

— Простое, очевидное дело... А человек уже два месяца в тюрьме,— резко сказал Косиор. Он перечитал последние строки: «Я уже неделю в Харькове, маюсь то на вокзале, то по людям. Каждый день хожу до прокурора, да никак не пробьюсь» — и посмотрел повыше текста. Даты не было. На штампе приемной ЦК стояла дата вчерашнего дня.

Станислав Викентьевич, не откладывая бумаги, спросил:

— Где сейчас Софья Бойко?

Евгений не знал. Сотрудник приемной принял письмо, не спросив адреса заявителя. Это был непорядок. Он, правда, не касался Евгения, но в эту минуту недовольство Косиора он принял на себя.

Морщась, Станислав Викентьевич сказал:

— Вот что, немедленно распорядитесь разыскать Софью Бойко. Пригласите ее ко мне. Сегодня же.

Уходя, Евгений увидел, что Косиор нажимает кнопку звонка.

— Соедините меня с наркомюстом,— сказал Косиор вошедшему секретарю.

Несколько мгновений он оставался в задумчивости. Потом раздался звонок:

— Здравствуйте, Станислав Викентьевич. Слушаю вас.

— Да, здравствуйте. Помнится, вы докладывали о неправосудных приговорах. Чем это кончилось?

Недоумевающий голос наркомюста сообщил:

— Пересмотром дел неправильно осужденных.

— Ну а общие выводы? Общие? — нетерпеливо спросил Косиор.

После мгновенной паузы нарком ответил:

— Я полагал бы, что это явление единичного порядка.

— Единичного порядка? — повторил Косиор, и в голосе его прозвучала та стальная и опасная интонация, которую хорошо знал наркомюст, как и многие другие.— Мы с вами живем в такое время, когда даже один неправосудный приговор не может рассматриваться как явление единичное. А есть основания полагать, что это уже судебная практика. Прак-ти-ка! И если бы даже мы не имели сигналов коммунистов и сочувствующих о том, что судьи — может быть, вслепую — выполняют волю кулаков, то должны были бы догадаться об этом. Если мы правильно анализируем опыт суда и помним, что кулак грамотнее и настырнее бедняка.

Наркомюст невпопад ответил:

— Слушаю.

Косиор повертел между пальцами карандаш и сказал веско:

— Подберите дела такого рода, кассированные Верховным Судом, и мы посоветуемся: может быть, целесообразно собрать по этому поводу пленум Верховного Суда да указать местам построже. И, решая эту задачу, очень

прошу вас про себя, в уме, всегда держать терещенковское дело. Все.

Станислав Викентьевич положил трубку и пружинисто вскинул из кресла свое тренированное тело спортсмена. Он многие годы занимался физическим трудом, а спорт не оставил и сейчас. Необходима ему была два-три раза в день такая разминка: пройти крупными шагами по пустому кабинету, размахивая руками, глубоко дыша, при открытом окне, безотносительно к погоде...

Терещенковское дело! До сих пор воспоминание о нем обдавало его волной гнева. В Терещенкове — не на краю света, под самым носом у прокуратуры республики, у Верховного Суда!.. Махрового кулака-террориста судили за убийство селькора, совершенное, видите ли, в состоянии «аффекта». Не смогли — или не захотели? — разобраться. Акт политической мести расценили как обыкновенную «драку с тяжелыми последствиями». Через полтора года, к великому возмущению села, убийца вернулся домой... Откуда эта близорукость у судей? Верно, все-таки питается она теорийками правых, маниловскими идеями о врастании кулака в социализм! Не прямо, быть может, но где-то на глубине ядовитое зерно сомнений прорастает... И дает плоды.

Он еще постоял так, дыша глубоко, по-спортивному, как привык с юношеских своих тренировок.

В воздухе веяло весной. Мартовские дни выдались погожие, теплые, южные районы уже сеют. Не успеешь глазом моргнуть — начнет на пятки наступать горячая пора массового сева... При такой погоде в апреле должна отсеяться и Харьковщина.

А в деревне все клокочет. Каждый день приносит недобрые вести. Ох, какой бой идет на селе! И принимает все новые формы. И враг ведет огонь с новых позиций и меняет, меняет их все время, черт возьми! То вел фронтальный огонь, теперь бьет по флангам. Все знает про нас, а

мы про него не всегда, не всегда! И маневренность у него лучше, чем у нас! Это уж во всяком случае...

Он все еще стоял у окна. Перед его глазами развертывалось громадное величественное здание Госпрома — первенца городского строительства. Словно символ быстро растущей мощи социалистического хозяйства.

Да, так оно было: уже четко виделись контуры будущего Харьковского тракторного завода. Постышев хорошо смотрит за этим делом. И разбирается... В планировании, в новой технике любому «спецу» даст очко вперед. Это не просто: начать и развивать строительство промышленного гиганта. Здесь скрещиваются сложные интересы быстро растущей индустрии с интересами деревни, только еще обретающей социалистический размах.

Прежде чем вернуться к письменному столу, он окинул взглядом тополевую аллею вдоль здания ЦК. На этот раз она была безлюдна. Но он задержал взгляд, как будто ожидал увидеть там женскую фигуру... Той, которая написала слова: «И чтобы закон не покарал их, не може того буты!».

«Может. Но не будет»,— подумал он жестко.

Вошедший секретарь доложил, что прибыл заместитель председателя ГПУ товарищ Карлсон.

— Пусть войдет. Узнайте: вернулся ли Павел Петрович...

— Товарищ Постышев минут двадцать назад звонил с паровозостроительного, что возвращается.

— Передайте Павлу Петровичу, что я просил его зайти ко мне.

Всегда в разговоре с Карлом Мартыновичем Карлсоном Станислав Викентьевич не только слушал своего собеседника, но и проникал в то, что Карлсон думает по поводу сказанного.

Это понимание имело значение по многим причинам, прежде всего потому, что, коммунист с 1905 года, Карлсон умел оценивать события сегодняшнего дня в свете своего большого политического опыта. Имело значение и то, что Карлсон, будучи очень сдержанным человеком, обычно не давал воли собственным чувствам. Холодноватый, склонный к всестороннему продумыванию вопроса, он не выносил паники и всячески противился скоропалительным решениям.

В обстоятельном докладе, лежащем перед ним, Косиор видел именно этот характер и пристально рассматривал документ. Тем более пристально, что собранные вместе и систематизированные факты позволяли окинуть взглядом всю картину. А она придавала завершенность его собственным мыслям, направляла его напряженное внимание даже на детали... Потому что доклад строился не на умозаключениях, а на том, что на профессиональном языке чекистов называлось «материалом», материал же включал в себя не только факты, но и высказывания, в сумме дающие народное мнение. Мнение разных слоев общества, в данном случае — деревни. Это был социальный разрез сегодняшней жизни села, сделанный острым аналитическим умом, без сантиментов и околичностей. И это больше всего ценил Косиор.

Выступления кулачества против коллективизации направлялись из закордонного центра, опытной рукой, находившей не только фанатиков, бравшихся за оружие, но и колеблющихся. И последних было всего больше. Именно за них надо было бороться.

Косиор, еще не закончив чтения доклада, вызвал звонком секретаря, спросил, не приехал ли Павел Петрович.

Секретарь замешкался, и веселый голос Постышева послышался из открытой двери:

— Я здесь, Станислав Викентьевич. Сапоги начищаю... По котлованам излазался.

Косиор усмехнулся: в реплике этой было что-то характерно постышевское: молодое, неуемное, увлеченное... Вот обязательно самому, только самому! И на Тракторострой... И на «Серп и молот»,— ну как же без него? — там пуск молотилок новой конструкции!.. И производственные совещания — тоже не мимо!.. У Постышева свои идеи в области организации производства. Он увлеченно обсуждает их с инженерией...

Павел Петрович вошел быстро и легко, словно его вдуло в кабинет мартовским ветром. В удлиненной формы глазах светилось оживление. Порывистым движением он пожал руки Косиору и Карлсону и, несмотря на приглашающий жест Станислава Викентьевича, остался стоять, держась за спинку стула. Карлсон, вставший при входе Постышева, тоже продолжал стоять.

— Павел Петрович, почитайте, пожалуйста. Вот Карл Мартынович подготовил обобщающий документ...

Косиор хотел передать Постышеву прочитанную часть доклада, вынув страницы его из кожаной папки, лежащей перед ним на столе, но Карлсон быстро положил перед Постышевым второй экземпляр.

Несколько минут длилась тишина. Дочитав, Косиор продолжал разговор с Карлсоном, к которому Постышев прислушивался, одновременно листая страницы доклада.

Собеседники на лету схватывали мысли друг друга, не только потому, что давно работали вместе: их объединяла избранная линия поведения. И хотя общеизвестные положения не содержались в докладе, они составляли тот фон, на котором приведенные факты выглядели рельефнее и яснее.

Из доклада явствовало, что ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективизации — тот этап борьбы, к которому приблизила революционная необходимость. Приблизила стремительно, не разрешая ни промед-

ления, ни колебаний. Страницы доклада пестрели фактами бешеного кулацкого сопротивления: поджоги, убийства, уничтожение колхозного имущества. Они совершались руками не только кулацких сыновей, но и подкулачниками, купленными или споенными... Доклад подытожил и обобщил картину классовых боев на селе. Он показыва- не только натиск кулака, но и стойкость тех, кто вышел на бой с ним.

Три человека по обе стороны стола хорошо это понимали. В документе, лежащем перед ними, сосредоточились сегодняшние радости и беды страны.

— Станислав Викентьевич, мы сделали карту, на которой отмечены самые острые проявления классовой борьбы на селе. Увы, каждый день заставляет нас наносить на нее все новые флажки. Если вы взглянете... Тут у меня оперативный работник с документами.

— Давайте, давайте! — Косиор переставил пепельницу на свой стол, освободив приставленный к нему другой — длинный, узкий, покрытый зеленым сукном.

Карлсон поднялся. Его могучая фигура, распрямившись, заняла весь дверной проем, когда он открыл дверь в приемную и негромко сказал:

— Заходите с материалами, товарищ Моргун.

Сидевший в ожидании в приемной Василь Моргун вскочил и вошел в кабинет.

Пока Василь произносил уставные слова приветствия, Косиор беглым взглядом не только оценил отличную выправку и всю ладную стать молодого человека, а уловил в нем нечто знакомое: моргуновское. Что именно? А вот это выражение глаз — сосредоточенное, серьезное... Да, очень серьезное, слишком серьезное для такого молодого. Сколько ему? Двадцать пять, видимо... Но не хмурое. Ни в коем случае... Потому что крепко сомкнутые губы вместе с тем готовы к улыбке. Светлая прядь над темными глазами. И моргуновская морщинка на переносице.

Косиору всегда было приятно видеть Василя Моргуна. Это было сложное чувство, включавшее воспоминания давних лет, но вместе с тем и сегодняшний день, который воплощался в невысокой, немного коренастой фигуре этого самого молодого из семейства Моргунов.

Станислав Викентьевич как бы сквозь него видел Ивана Моргуна, его отца. И не только его! Многое тянулось за представлением о таком же невысоком коренастом человеке, с которым свела Косиора судьба в крутое время. Подумать только — девятьсот седьмой год! Поражение первой русской революции. Тьма над Россией. Как он был молод тогда! И всего на пять лет старше его Иван Моргун. И опытнее житейски. Моргун всегда был для Косиора примером талантливости народа, символом его свободолюбивых и смелых устремлений.

Не только жадно ловил Иван Моргун каждое слово социальной правды, но и нес его дальше. Сплачивал вокруг себя людей. Подлинный рабочий вожак, способный самоучка, характер, включающий в себя бесстрашие борца и нежность друга... Они тогда ведь ни в коей степени не предвидели, что это только начало дружбы, которая продлится не одно десятилетие.

Именно с Моргуном Косиор впервые спустился в шахту. Он был тогда еще мальчишкой, и ему запомнился длинный путь между отвалами угля, тускло поблескивавшими под январским солнцем, и сразу бросалось в глаза, что на бело сверкающем снегу тут все было черным: и эти горы, между которыми вилась тропинка, затоптанная сапогами, тоже черная, и черные лица под шахтерскими шляпами. И черные силуэты наземных зданий. Скрип переполненной до отказа бадьи, скользящей вдоль откосов шахты, тоже черных и блестящих... И ощущение медленного падения глубоко, глубоко, отчего перехватывало дыхание и становились ощутимы пласты земли над тобой.

Тогда на Косиора произвело впечатление, как спокой-

но, умело и отважно жил Моргун в этом мире. И еще: подземный мир был не тесен, как могло показаться с первого взгляда. Дали открывались в нем. Потому что разработка шла во многих карьерах, как бы многоэтажно. И тогда впервые понял Косиор особое значение, особый смысл горняцкого слова «горизонт».

Казалось бы, слово это связано с необозримостью водной глади, широко раскинувшихся полей. Сопряжено с солнечными восходами и закатами, с долинами, с далеко открытой взгляду перспективой.

Но тогда Косиор принял это иначе, более широко: горизонт разработки! Длящейся, продолжающейся перспективы. Углубление вдаль. Расширение владычества человека. Горизонт, определенный не природой, не от века веков, горизонт — дело рук человеческих. Горизонт как предел, идеал, к которому человек стремится, но, казалось, уже достигая, опять видит его впереди...

И это впечатление, это ощущение горизонта в тесном, по существу, пространстве шахты все изменило. Как будто стало легче дышать, как будто не пугала больше глубина... И в единоборстве с природой вдруг предстал по-иному Иван Моргун с его коренастой фигурой, с его обушком, казавшимся таким маломощным орудием в виду могучих пластов, накоплявших свою силу тысячелетиями. Внезапно показался Моргун могучим гигантом, прогрызающимся сквозь породы, нагроможденные и укрепленные природой.

Удивительное дело: позже Косиор приехал на шахту, чтобы разбудить людей, вдохнуть в них ощущение их силы. Он уже знал, что ничто не укрепляет так дух пролетария, как сознание своего единства с братьями по классу. Но в это время он ощутил, что силу пролетарий черпает в борьбе с природой, в самом труде... Нет, не в одиночных усилиях, а в системе отношений, возникающих на почве труда. Он как будто впервые познал глубокий

смысл и универсальность марксовой теории о производственных отношениях...

Такие важные и сложные мысли посетили его именно тогда, когда он был вместе с Моргуном. И может быть, поэтому он особенно ценил его дружбу, которая прошла и через ссыльные поселения, и тюремные этапы, и споры в подпольных кружках, и первые бои за Советскую власть.

Теперь эта дружба по-новому окрашивала образ молодого человека, и похожего и непохожего на своего отца.

Между тем Василь Моргун разложил на длинном столе, торцом приставленном к письменному, фотографии карты Украины с обозначенными на них пунктами активных выступлений кулачества. Над картой склонились три головы: наголо обритая, блестящая — Косиора, светлая с проседью — Карлсона, увенчанная густой шевелюрой — Постышева.

Хотя и Косиор, и Постышев прекрасно знали о росте активности контрреволюции в деревне, ее проявлениях в самых острых формах — террора, диверсии и саботажа, факты, собранные вместе, прикрепленные к географическим пунктам, давали картину неожиданную и остро впечатляющую. Их было не десятки, а многие сотни, черных флажков, словно траурные знамена развевающихся над селами Украины...

В воображении трех человек, так хорошо знакомых с положением, оживали эти условные значки, открывая хлебные поля Черниговщины, черноземные степи Херсонщины, холмистые равнины Днепровского правобережья.

И всюду гремели выстрелы из обрезов, и падали сельские активисты, селькоры, уполномоченные по хлебозаготовкам — целая рать молодых и старых, опытных и новичков. И все — беззаветные. Все — коммунисты.

Оглушенный на мгновение этой мыслью, Косиор не сразу спросил:

— За какое время эти данные?

Карлсон горестно ответил:

— За последний год.— И добавил: — Вот этот кружок нанесен на карту только вчера. Накануне ночью здесь, на Старобельщине, в селе Кресты, кулаки ночью подожгли хату председателя сельсовета. В дыму задохнулись он сам, его мать, еле спасли детей и жену.

Старобельщина! Глухомань. В стороне от железной дороги. Вдалеке от центров... Край крупных кулацких хозяйств, опорных пунктов автокефальной церкви, вышедшей из подчинения Московской патриархии, давшей приют под сводами своих храмов, под прикрытием поповской рясы десяткам бежавших от возмездия петлюровских офицеров, махновских бандитов...

Карлсон называл имена. Он называл имена арестованных уже убийц. Вожаков групп и группок, кулацких сынков, с топорами, обрезами и кольями поднявшихся против коллективизации.

Косиор все еще стоял над разложенными по столу фотографиями. И то, что сейчас говорил Карл Мартынович своим негромким, глуховатым голосом с латышским акцентом, усилившимся от волнения, входило в сознание Косиора не формулами, не законченными и подготовленными, по необходимости сжатыми тезисами доклада, а живыми людьми и сценами в знакомых Косиору местах.

Лилась не только кровь, лилась и водка. Кулаки спаивали и подкупали неустойчивых людей в комнезамах — комитетах бедноты. А что означали кровавые драки, побоища на деревенских околицах, заканчивающиеся смертью в больницах или на печи собственной хаты? Кто был жертвой их? Почему среди этих жертв больше всего именно бедняцкой молодежи? И кто начинал эти драки?

Тщательным расследованием установлено то, что уже можно было сформулировать: один из методов кулацкого террора — затевать драки, нападать неожиданно, бить не до смерти, а нанося смертельные увечья. И эта форма тер-

рора, безошибочно избранная кулачьем, не была раскрыта судами, разбиравшими многочисленные дела «о драках» без уразумения их подлинного смысла. И присуждали по этим делам кулаков к небольшим наказаниям. Кулаки нащупали эту слабину органов юстиции, и теперь террор заключается не только в убийствах и нанесении увечий, но в запугивании селян, в создании обстановки всеобщего страха за свою жизнь и за жизнь детей. Длинными деревенскими вечерами трещат запертые ворота бедняцких дворов, сыплются разбитые стекла из окон, и ни одна семья не уверена в том, что ночь пройдет мирно, что не ворвутся в хату с криками: «Мы вам покажем колхозы!», не будут избивать старого и малого. Но и это еще не все: распускаются дикие и зловещие слухи об эпидемиях, о стихийных бедствиях, сеящие панику.

И вся картина, вставшая из россыпи флажков на карте Украины, из доклада, вызывала одну мысль: нет другого пути для социалистического преобразования деревни. Только ликвидация кулачества как класса.

Весь во власти этой мысли, Косиор стоял у окна. Карлсон ждал. Вытянувшись за его спиной, ждал и Василь Моргун.

Косиор услышал, как Павел Петрович спрашивает с нетерпеливыми нотками в голосе:

— Значит, складывается убеждение, что после того, как мы обезвредили «Союз освобождения Украины», в действие вошел второй эшелон, какой-то резерв контрреволюции в стране. Стихийно?

— Нет. Имеются данные о новых каналах, по которым зарубежный центр передает не только инструкции, но и средства.

— Каким способом? — быстро спросил Косиор, оборачиваясь к собеседникам.

— Самыми разнообразными. Вот один из них: под видом наследства от скончавшегося в Канаде брата через

Госбанк поступила крупная сумма в долларах на имя некоего Титаренко из Старобельска...

— Титаренко? — что-то знакомое послышалось Косиору в этой фамилии. Какое-то давнее воспоминание, которое он не мог прояснить.

— Как вы подошли к Титаренко? Кто он? — спросил Косиор.

— Именно Титаренко — характерный тип для второго эшелона. Петлюровский офицер, несомненно психологически не разоружившийся. В то же время многие годы ничем себя не компрометировавший. По служебным характеристикам — опытный работник кооперации на Старобельщине. Никаких подозрительных связей и тем более действий... И вдруг в самое последнее время мы фиксируем оживление. Возобновление знакомства с бывшими соратниками, даже в Москве. А главное — деньги...

— Но почему же «под видом» наследства? Наследство могло быть настоящим. Брат-то в Канаде действительно существовал? — заинтересованно допытывался Постышев.

— В том-то и дело, Павел Петрович, что брат не только существовал, но и существует. Не в Канаде, правда, а во Львове. Это точно установлено нашими товарищами за кордоном. Возник вопрос: чьи же деньги получены Титаренкой? Сейчас мы можем ответить точно, что деньги посланы через Канаду львовской эмигрантской организацией, во главе которой стоят известные вам, Станислав Викентьевич, деятели петлюровской Директории.

— Какие доказательства?

— Первое то, что брат Титаренко жив. Второе то, что он находится во Львове. Третье то, что он является одним из активных сотрудников начальника петлюровской разведки генерала Змиенко, ведущего работу по засылке из Львова своей агентуры на Советскую Украину.

— Это который был начальником петлюровской разведки в Киеве?

— Да, именно. Вы должны его помнить, это же он громил наше киевское подполье...

Косиор вскочил:

— Помню его, как сейчас. Сухопарый, черный, а лицо довольно интеллигентное, вроде бы интеллектуал... А роль старобельского Титаренко?

— В данном случае неясна. Возможно, он только передаточная инстанция. А может быть, и активная единица. У Титаренко большие возможности: Всеукраинский кооперативный союз — организация, имеющая огромную периферию в деревне.

— То есть там, где разыгрывается финальный бой кулачества против Советской власти, понимаете? — Косиор повернулся к Постышеву.— Я недавно имел крупный разговор по поводу посылки товаров на село. В конце концов, кому служит кооперация? Классовый принцип тут должен проводиться очень точно. Иначе кооперация сработает против нас.

Он прошелся по кабинету, и внезапная мысль остановила его:

— Карл Мартынович, обследуйте пути снабжения кооперации вашими профессиональными средствами. Зачем врагам создавать новые каналы для своих целей? Экономней и проще использовать наши, советские... Ведь ваша практика, именно ваша, знает примеры, а?

Карлсон наклонил голову:

— К сожалению, знает.

— Вот то-то,— подхватил Косиор,— это самое опасное: политическая близорукость обращает против нас наше же оружие. Приводные ремни смычки с крестьянством могут сработать в обратную сторону...

Он додумывал мысль на ходу, набрасывая свои опасения, догадки, а Карлсон ловил их, возвращал со своими, уже конкретными предложениями.

Вдруг Постышев проговорил непосредственно, импульсивно, как всегда:

— Карл Мартынович! А помните, вы докладывали об антисоветских листовках... которые где-то здесь, в нашем округе?.. Не установили?

— Нет, но как будто подобрались уже близко. Это не какая-то локальная группа. Тоже в системе,— ответил Карлсон.

Беседа вроде бы закончилась.

— Я имел в виду, Станислав Викентьевич, доложить вам о положении в Прилукской трудовой коммуне,— нерешительно проговорил Карлсон, ожидая, что разговор будет отложен. Но Косиор оживленно заметил:

— Давайте, давайте.

По примеру Болшевской трудкоммуны, где впервые началась работа с малолетними правонарушителями и беспризорными, украинские чекисты создали такую же коммуну в Харькове, а затем в Прилукском округе. Несколько сот мальчиков, взятых из мест заключения и с улицы, учились там и работали в мастерских.

Сейчас Карлсон рассказал, что, выезжая в Прилукский округ по оперативным делам, побывал в селе Ладан, где в помещениях бывшего монастыря расположена коммуна.

— Хорошо развивается дело. Никаких побегов больше, никаких серьезных нарушений. Все кладовые, ларьки открыты. И эти бывшие воришки и беспризорные и не помышляют взяться за старое. Чертовски способные ребята... Учатся прекрасно.

— А что? Они жизни хлебнули, к сожалению, она их не баловала. А опыт — дала,— вставил Косиор.— У них там семилетка?

— Да. И мастерские, в которых они работают четыре часа в день.

— А что выпускают? Какую продукцию?

— Спортивный инвентарь, хозяйственную посуду,— все там на месте расхватывается... Летом они помогают на полевых работах, а мальчишки постарше даже ремонтируют сельскохозяйственный инвентарь.

— И население относится к ним... ничего? С доверием?

— Сначала боялись их как чумы. А сейчас привыкли.

— Это же все ребята без родных. Отдых у них бывает какой-нибудь?

— Прошлым летом они ездили по маршруту Прилуки — Харьков — Севастополь, пешком до Ялты, оттуда на знаменитом теплоходе «Крым» до Одессы... Вот так.

— И ни один не смотался? Даже в Одессе? — засмеялся Косиор.

— Ни один. В Одессе чекисты организовали им торжественную встречу, возили их всюду. И оставили отдыхать на детском курорте под Одессой.

— А какие-нибудь таланты особые выявляются?

— Очень даже! Видел журнал ихний. Не берусь судить насчет стихов, но показывали Микитенко, так он говорит, надо поощрить, толк из них будет.

Карл Мартынович почувствовал, что секретарю ЦК не хочется отрываться от этой темы, и понимал его: он сам, как и многие работники ГПУ, находил в делах коммуны какую-то отдушину, какое-то окно в мир будущего, воплощенного в этих детях, спасенных от самой горькой участи.

Василь продолжал стоять у стены, захваченный разговором, мысленно применяя сказанное к себе, к своим товарищам, к тому участку, где проходила его личная линия борьбы...

Он подумал, что Андрей Дугинец, секретарь Косиора, каким-то особым секретарским чутьем улавливает, когда беседа близится к концу... Тут-то он и появился, доложив, что Софья Бойко уже в приемной.

— Пусть войдет,— сказал Косиор и стал прощаться с Карлсоном.

Василь бросился собирать карты, но Станислав Викентьевич сделал ему знак, чтобы он не торопился.

Таким образом, молодой человек задержался еще на несколько минут и увидел входящую в кабинет Софью Бойко. Он тотчас же узнал в ней девушку, которую встретил утром выходящей из здания ЦК...

Та фраза, которая приковала к себе внимание Косиора вложенным в нее чувством уверенности, что не может быть безнаказанного издевательства кулаков и подкулачников над честным коммунистом, хорошо согласовалась с внешним обликом Софьи. Да, она могла написать эту фразу, могла поднять все дело. В ее натуре, видимо, была эта прямая и безоглядная линия борьбы не только за брата — за весь порядок, вопиющий против случившегося.

— Вы садитесь, садитесь,— Косиор указал ей на кресло, но, так как он все еще не садился, она пыталась повернуться вместе с креслом в его сторону. Это ей не удалось, кресло было слишком тяжелое, и Косиор, рассмеявшись, сел не за столом, а против нее в такое же кресло. Теперь их разделял только узкий стол, приставленный к письменному. И Косиор заметил, что она нестеснительно и ожидающе вглядывается в него. Вероятно, ей был свойствен этот напряженный, испытующий взгляд, без тени опасения.

«Как хорошо, что она уверена в своей правоте и твердо надеется»,— подумал Косиор. И тотчас ему захотелось, как это часто с ним бывало, вникнуть в характер человека глубже, чем это позволяло деловое свидание накоротке. Он сдержал себя, вспомнив, о чем идет речь.

— Вы мне расскажите все, как было, как вы понимаете историю вашего брата. И вот здесь товарищ Постышев, ему, как секретарю Харьковского окружкома, тоже надо знать...

— Я могу коротко,— нерешительно начала она.

И он ясно увидел, что она боится не успеть... И опять ее ободрил:

— Ну, не так коротко. Чтобы все можно было уразуметь как следует. И вы не волнуйтесь,— добавил он, заметив, что сейчас, когда ей предстояло рассказать суть дела, она заволновалась, заново переживая все...

Пока она рассказывала, он смотрел на нее, и собственные мысли ему не мешали...

Ему был знаком этот характер — характер нового поколения, которое поднялось при Советской власти. Эта уверенность в победе правого дела, которая выразилась в запомнившейся ему фразе. Он читал ее в лице девушки, полном энергии, нервном и очень сосредоточенном.

Все, что она говорила, оборачивалось упреком, ему казалось, даже лично ему... Упреком в косности, в том, что власти не могли разобраться и, не разобравшись, стукнули по живому телу, а не отсекли мертвое, которое хватало живое. Он уже раньше с болью подсчитал про себя, что вся история лжеобвинения длится больше года. И за все это время ни следствие, ни суд не вняли доказательствам, которые у них были. Были же!

Документы, лежавшие сейчас перед ним, они ведь лежали и перед теми, кто разбирался в деле председателя колхоза из Кривой Балки. Но вот же не разобрались! А может быть, и не хотели разобраться. И значит, можно было предположить, что даже здесь, в звеньях государственного аппарата, была червоточина, по меньшей мере — слабина. А может быть, и хуже.

Он выслушал девушку до конца.

— Вы поезжайте домой, товарищ Бойко, и спокойно ждите. Я пришлю в Кривую Балку человека, который во всем разберется...

Она поднялась.

— И очень быстро,— добавил Косиор.

— Что вы скажете на это, Павел Петрович? — спросил он, как только дверь за Софьей Бойко закрылась.

— Я, знаете, о чем подумал? — Постышев зашагал по

кабинету, роняя негромкие, убежденные слова.— Ведь связь есть... закономерность какая-то... между теми листовками, помнится, нам докладывали, которые стали появляться в Харькове и в окрестных местах, и деревенскими вылазками контрреволюции. Заметьте, есть что-то общее, в словах даже, в терминологии...

— В том-то и дело: из одного центра идет направление борьбы,— Косиор поднялся.— Павел Петрович, через два часа у нас совещание в Совнаркоме.

— Я пока поеду к себе,— сказал Постышев.

Оставшись один и мысленно восстанавливая разговор с Карлсоном, он вспомнил... Конечно, именно Титаренко!

С той способностью вспоминать не деталями, а сценами, которая его отличала, он увидел молодого человека, чуть постарше себя, Аркадия Титаренко. Усики в стрелку, канотье на темных волосах, блестящих от бриолина. Приятное лицо, свободная речь. В то время они оба были служащими заводской конторы. И общались в основном на работе, почти ровесники, связанные не только ею, но страстью к футболу. Игрок и болельщик — таковы были их отношения. Косиор, капитан заводской футбольной команды, в то время был популярным в городе игроком. Не случайно, потому что в его характере был сам строй игры, обязывающий к мгновенной реакции, подвижности, предполагающий физическую тренировку и, конечно, силу.

Как он был молод тогда! Как слушалось его некрупное, ловкое тело! Какой отдушиной были для него эти часы на зеленом поле, вмещавшие в себя и азарт, и расчет, и непременную оглядку на партнера! Самый смысл пасовки был очень близок Косиору, как символ товарищества, дружбы...

Аркадий Титаренко был страстным болельщиком и более всего — за Косиора. Но в футбольной команде, состояв-

шей из рабочих парней, связующим началом был не только спорт. Так счастливо сложилось, что «Товарищество народных развлечений» оказалось хорошим прикрытием для нелегальных собраний. Именно это и сохраняло до поры до времени нескольких молодых людей, в конце концов попавших в поле зрения охранки.

Произошло это при вполне типичных обстоятельствах.

Было жаркое лето 1911 года. Трава на стадионе выгорела, деревья стояли в пыльной листве, томясь по дождю. Молодые люди переодевались в душевой, и Косиор хорошо запомнил, что, снимая одежду, уже оставшись в трусах и майке с эмблемой «Товарищества», он вынул из кармана пиджака пакет с листовками и незаметно спрятал его в раздевалке в своем ящике, куда ставил обувь. После матча, когда разгоряченные игроки вернулись в раздевалку, она оказалась битком набитой их почитателями. Среди них был, как обычно, Аркадий Титаренко.

Нет, Косиор не имел никаких подозрений... Он просто не соприкасался с Аркадием никак, кроме как на футбольной почве и на службе. Это не было случайностью. При всей своей молодости Станислав понимал, что Титаренко не тот человек, который может стать ему близким. Ходили слухи о том, что Титаренко — родственник владельца завода и, по существу, проходит в конторе стажировку, чтобы занять в будущем административную должность.

Но даже не это, а скорее человеческие качества Аркадия, чуждые Косиору: мечты Титаренко о карьере, мещанская приверженность к «приличному образу жизни» — исключали дружбу между ними. Но в общем, Косиор относился к товарищу по работе терпимо — без доверительности, по-приятельски — без дружбы.

Но все изменилось. Все изменилось не тогда, когда Станислав обнаружил, что пачку с листовками несомненно кто-то держал в руках. Она ведь была не так велика, но каких-нибудь двадцать листовок казались могучей взрыв-

чатой силой. И так оно и было. Потому что листовка, попавшая в руки рабочего, помимо своего содержания, говорила еще о многом: о том, что есть люди, которые не боятся жестокого наказания, пренебрегают собственным благополучием для того, чтобы выразить свои взгляды именно в этой форме, чтобы читающему эти строки передать свое знание правды, свое понимание рабочей жизни и борьбы. И эта сторона вопроса была тоже очень важной в деле.

Нет, не тогда мысль Станислава обратилась к Титаренко. И даже не тогда, когда много позже Станислав был арестован.

Он хорошо помнил эту листовку, наверное потому, что она была первой «настоящей» листовкой, написанной им. В ней был не только призыв к борьбе, но коротко, сжато объяснялось, что такое «Союз русского народа». Это было тогда очень важно: кое-кто из рабочих поддался на удочку шовинистической, черносотенной агитации. А в листовке конкретно разъяснялось, кто там в этом «Союзе» орудует. Просто пальцем указывалось: вот эти подонки, вы же их знаете, они для того и организовались, чтобы душить рабочего человека. Листовки он сам напечатал на гектографе, который — чертовски повезло! — оказался на заводском складе.

В июле, когда его арестовали, ему вменили в вину составление и распространение этой листовки. Он твердо отказался давать показания. И сразу понял, что у следствия нет никаких доказательств его авторства. И даже больше: ясно было, что действовал провокатор...

В этой проклятой Новочеркасской тюрьме, жутком клоповнике, куда его водворили, думая и раздумывая над обстоятельствами дела, он наткнулся в мыслях на Титаренко... Но не очень уверился... Он вообще трудно верил тогда в дурное.

Он отсидел почти четыре месяца в тюрьме, и это было для него уже не ново. Когда его схватили в первый раз

тем летним днем в Алчевске, когда он впервые ощутил себя организатором и в деле не мелком, а по тому времени значительном: организовывался загородный митинг... Тогда, очутившись за решеткой, он испытал состояние плена, угнетения, насильственного отторжения от жизни.

Вторично этого уже не было. Приобрелся тюремный опыт, о котором он слышал от старших товарищей. Эти месяцы в тюрьме он сумел использовать: много читал, еще больше думал.

Поскольку вину его доказать не удалось, но «зловредность» его не вызывала сомнения, его тогда выслали на два года из области Войска Донского. Но ненадолго расстался он с шахтерским краем.

А когда вернулся в Алчевск, услышал о Титаренко. Почему товарищи связывали арест Косиора именно с Титаренко? Потому что сразу после ареста Титаренко исчез, как говорили, был переведен в старшие конторщики на другой завод? Не только поэтому. Что-то такое было тогда, что-то носилось в воздухе. Но эти подозрения не закрепились, не приобрели конкретности. Где-то они плавали в памяти. А с Титаренко судьба свела неожиданно и много позже.

В митинговой стихии 1917 года выплыла фигура Аркадия Титаренко: благообразного адвоката — и откуда что взялось? — блестящего оратора от эсеров. После разгрома петлюровщины Титаренко оказался за границей, и имя его не часто, но все же мелькало в газете националистов-петлюровцев во Львове.

Только сейчас все это связалось. Впрочем, не было уверенности, что это именно тот Титаренко, брат которого теперь живет в Старобельске. Да это и не так важно. Косиор извлек из доклада Карлсона основное, что подтверждало его собственную концепцию: методы контрреволюции в деревне обрели новую форму и новую остроту. В них ус-

матривалось умение использовать наши просчеты, обратить их против нас. Именно здесь пролегла линия огня, который следовало вести против активизирующегося кулака.

3

Судебное заседание по делу СВУ проходило в здании Государственного оперного театра. От бархатно-матового партера и тонущих в полумраке лож до галерки, где-то уж совсем как бы в поднебесье, театр был полон. Третий день процесса привлекал особое внимание: предполагался допрос подсудимых.

В ложе дипломатов, аккредитованных в столице Украины, появились представители иностранных консульств. Медленно, с непроницаемыми лицами они рассаживались, похоже, в заранее обусловленном порядке. Ложи прессы были также заполнены до отказа, фотоаппараты нацелены на скамью подсудимых.

На обширную сцену вступил состав суда. Настала та короткая и всегда напряженная пауза, которая следует за выходом судей, заполненная неторопливым рассаживанием их за столом, сопряженная с движением рук председателя, разворачивающего папку с делом, и его взглядом, профессионально сосредоточенным и обращенным не к рядам присутствующих, а как бы поверх их.

Негромко, не для публики, а для состава суда и подсудимых, но все же так, что было слышно во всех отдаленных концах зала, председатель объявил:

— Верховный Суд Украинской Советской Социалистической Республики продолжает рассмотрение дела о контрреволюционной деятельности организации «Союз освобождения Украины».

Как только голос председателя смолк, в зале воцарилась выжидающая тишина. Было слышно только, как

шелестят листы блокнотов в ложе журналистов и щелкают фотоаппараты.

Внимание зала перенеслось на скамьи, где в два ряда разместились подсудимые. Несмотря на разнообразие типов, отмечалось нечто общее в лицах этих людей. Оно не было общностью судьбы, но скорее определялось принадлежностью к одной социальной и возрастной группе. И это выявилось задолго до того, как подтвердилось допросом подсудимых: большинство их — люди за сорок, за пятьдесят лет, почти все из духовного и чиновного звания.

В своих темных добротных костюмах, многие в вышитых украинских рубашках, они выглядели солидно, обыденно. В них не было ничего авантюрного, ничего «криминального». С первого взгляда трудно было поверить, что эти люди объединились с целью свергнуть Советскую власть на Украине путем восстания и установить буржуазно-капиталистический строй, что именно ими записано в программе своей организации: «...не останавливаться перед репрессивными мерами, хотя бы при этом пришлось уничтожить миллионы коммунистов». И еще труднее поверить, что они не только декларировали, но и убивали.

Все взгляды устремляются на вожака организации Ефремова. Он сидит крайним справа, крупный и значительный, словно заглавная буква в начальной строке книги. У него внушительное лицо с высоким белым лбом, черные с проседью брови как бы подводят черту под ним. Казацкие усы концами вниз подчеркивают слегка усеченный подбородок. Взгляд уклончивый. Ефремов держится спокойно.

Сосед его, Гермайзе, наоборот, нервно ерзает на скамье, часто наклоняется к своему защитнику. Волнуются и другие подсудимые, хотя сдержанно и явно с учетом публики: стараясь сохранить достоинство. Однако, как только начинает давать показания Ефремов, подсудимые застывают в пристальном внимании к каждому слову и становятся по-

хожими на восковые фигуры. Желтоватый свет софитов сгущает это впечатление.

Хотя, естественно, обвиняемые знакомились с материалами дела, как положено по закону, каждый ждет от судебного следствия чего-то нового.

Ефремов отвечает на вопросы сначала односложно, часто глотая слюну и запинаясь, потом речь его становится плавной.

Да, вероятно, не раз произносил он ее наедине с самим собой, когда все уже было кончено, карта бита, и оставалось только одно: сохранить, насколько можно, облик «деятеля», отмежеваться от «грязной практики».

Но это зависело не только от него, но и от его соседей по скамье подсудимых. Кроме того, он не знал, как поведет себя прокуратура, какую линию изберет.

Когда-то ему, Ефремову, удалось обвести вокруг пальца большевиков. Уж как удалось! Как высоко он взлетел! Как долго обретался наверху. Как искусно играл роль «видного ученого советской формации»! Злоба на тех, кто его руками загребал жар и сейчас оттуда, с той стороны, в полной безопасности наблюдает за тем, как он корчится здесь, прорывается в его речи.

Прокурор между тем, поглаживая черную бородку, глядя не на скамью подсудимых, а в сторону суда, направлял допрос как раз на опасные рифы, которые подсудимый надеялся обойти.

— Подсудимый Ефремов, расскажите о своем участии в Центральной раде на Украине.

— Я был одним из основателей Центральной рады в марте 1917 года, был избран на пост товарища председателя Центральной рады.

Ефремов останавливается. Да где же, в конце концов, он споткнулся? Где началось нисхождение?

— Вы не ушли с петлюровским войском, когда украинский народ погнал его с Украины?

— Нет.

— Почему же?

— Я остался в Киеве.

— С какой целью?

— Чтобы вести борьбу с Советами...

— Вы жили по чужим документам?

— Да, у меня был паспорт на имя Игнатенко... который умер.

Молодой человек неприметной наружности в сером костюме не стал слушать дальше. Он поднялся со своего места в конце зала и, стараясь ступать неслышно, вышел в фойе. Ему пришлось спуститься по широкой лестнице на полмарша, чтобы найти место для курения.

После первой затяжки нервное потрясение стало ослабевать. Но руки его все еще дрожали, и вовсе некстати какой-то юноша в модных роговых очках попросил у него прикурить.

Молодой человек бросил недокуренную папиросу в урну и хотел отойти, но остановился, привлеченный словами, донесшимися до него. Их произнес кто-то из группы курильщиков, плотно сбившейся неподалеку. Он знал одного из них — писателя Ивана Микитенко, невысокого, широкоплечего, с простым крестьянским лицом. Нос чуть вздернут, и это придает лицу какую-то задиристость. Иван Микитенко — удачливый, цельный, как камень, и столь же крепкий, без трещины, без изъяна. Его собеседники не представляли бы интереса, если бы не те слова... Но кто произнес их? Жаль, что он не засек этого. Но теперь уже поздно... А впрочем, какая разница!

Когда молодой человек снова вышел на лестницу, они еще звучали в его ушах: «Это головка. А где-то бродят руки и ноги по отдельности. И шея — тоже. И насадить на нее новую голову не так уж трудно!»

Эти слова удивительно совпали с его затаенной мыслью, с его опасениями. Они были как бы продолжением его са-

моощущения, которое теперь он определял точно и коротко: «Там, на той стороне, не отступятся. Це ще не вечир».

Он не вернулся в зал, а остановился у окошка: ранняя весна тронула город, все сдвинулось со своих мест, деревья как бы плавали на крошечных островках пожелтевшего снега, галки кружились над куполом церкви Успения.

...Тогда, десять лет назад, тоже была весна, жовто-блакитная киевская весна, очень похожая на осень. И жовто-блакитная власть пришла вроде бы надолго.

Как и другие студенты, он вовсе не учился, а значился письмоводителем в казначействе. Значился, но и там не работал, а бегал по городу с поручениями своего дяди, у которого не только казначейство, а все финансы Директории были в кармане.

У этого шановного дяди на квартире висел портрет Симона Петлюры, и вовсе не тот казенный, что в кабинете, а с надписью, и не на обороте, а на лицевой стороне, как расписываются актеры: «З щирою повагою Остапу Черевичному». С глубоким уважением — вот так! С фотографии глядел, ничего не скажешь, человек значительный и с сознанием своей значительности. И от него какой-то отблеск луча — а луч несомненно имелся! — падал на дядю.

И он, Максим Черевичный, очень хорошо помнил тот серенький, дождливый весенний день, когда, тоскливо ощущая свои промокшие в прохудившихся туфлях ноги, он шел в похоронной процессии, в которой не знал не только ни одного человека, но и самого покойника. Лишь накануне вечером он услышал от дяди, что скончался преподаватель какой-то гимназии, некий Игнатенко. А по тому, что за гробом шли главным образом девицы — нельзя сказать, что сильно удрученные, а некоторые даже поглядывали на Максима с интересом,— он догадался, что покойник преподавал в женской гимназии.

Дядя, пославший его на эти похороны, как всегда, коротко и торопливо сообщил то, что его, дядю, интересовало,

не затрудняя себя ответом на вопросы, могущие возникнуть у племянника: «Ты, Максим, главное, глянь, чи не дуже величны ти похороны. Чи не будуть там, не дай боже, яки-небудь промовы». Максим удивился чрезвычайно: почему бы дяде бояться пышных похорон какого-то своего, как понял Максим, знакомого и речей на его могиле...

Но спросить ничего нельзя было. Как всегда. Дядя сам был личностью одновременно и «величной» и суетливой. У Максима сложилось мнение, что Остап Черевичный поспешает за Симоном Петлюрой, который считался деятелем прогрессивным и действенным в высшей степени. И, будучи фигурой исторической, в историю не входил, а вбегал, запыхавшись.

При чем здесь похороны какого-то захудалого педагога, который и дожил-то всего до тридцати с лишним лет и умер от модной болезни — инфлюэнцы? Это Максим почерпнул из приличных перешептываний в похоронной процессии. Она выглядела убого, но все же были и гнедые кони, прилежно тащившие катафалк, помахивая облезлыми султанами над безглазыми мордами... И в одном ритме с ними покачивали головами старушки в черном, идущие за гробом. Явно любительницы, а не из родных. Нет, родных не было, и Максим догадался, что это-то и хорошо, для дяди разумеется. Ему-то, Максиму, все это было глубоко безразлично.

И никаких речей, конечно, на могиле не было, и возможность их дяде явно почудилась. Девицы, действительно, плакали, но вряд ли это будет интересно дяде. С одной из них Максим свел знакомство и пошел ее провожать, хотя она жила бог знает где, на Подоле.

По дороге подтвердилось, что покойный Игнатенко был совершенно одинок. «Мы были его семьей»,— играя глазами, сказала девица. Фамилия ее начисто улетучилась из памяти, а звали ее Верочка.

Он встретился с ней еще раз позднее. А именно в тот день, когда в великом переполохе дядя Черевичный грузился в штабной вагон, отбывая под натиском Красной Армии в Винницу, откуда вскоре ему пришлось перебраться в Проскуров, а затем в Каменец-Подольск, который и был объявлен «временной столицей до взятия обратно Киева». Впрочем, всего лишь через четыре месяца правительство Петлюры оказалось за пределами Украины, на территории панской Польши. Но все это Максим узнал много позже.

И вот, как раз в тот час, когда дядя прощально крестил широким крестом по воздуху остающегося в Киеве Максима, тот обнаружил, что буквально плечом к плечу с ним стоит, вся в слезах, та самая Верочка. Ему даже показалось, что слезы на ее лице просто неотъемлемая его принадлежность. И когда уже поезд, тоскливо прогудев на прощание, скрылся из глаз, выяснилось, что Верочкин папа умчался в том же штабном вагоне вместе с Остапом Черевичным. И что он вызовет к себе Верочку, как только беглецы «осядут» где-то там... за пределами.

Максим вернулся в институт почти сразу после прихода красных. На первых порах занятия шли вкривь и вкось. На институтских кафедрах появились именно те, которых дядя иронически называл «профессорами в кожаных куртках». Максиму это было все равно. Он нуждался в дипломе, с которым мог бы вернуться в родную Полтаву и преподавать там. И обеспечить свою мать и двух сестренок. Потому что надежды на дядю рухнули.

В публичной библиотеке, где приходилось сидеть каждодневно, потому что учебных пособий не было, Максим имел свое место у окошка за столом, за которым обычно сидел в одиночестве.

Но на этот раз, подняв глаза от конспекта, он встретился взглядом с человеком, несомненно знакомым, однако никак не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельст-

вах видел его. Максим не мог бы поручиться, что и тот не узнает его.

Во всяком случае, любопытство его было разожжено непроницаемым видом этого еще молодого, но такого спокойного и солидного человека с прямыми темными бровями, как бы подводящими черту под высоким белым лбом. Максим последовал за ним, когда тот подошел к столику дежурного библиотекаря, чтобы сдать книги. Стоя позади, Максим прочитал на абонентской карточке соседа по столу: «Фамилия — *Игнатенко»*.

Это оглушило Максима, мгновенно восстановив в его памяти начисто забытый эпизод.

Тогда, доложив дяде о том, что похороны учителя Игнатенко «величными» не были ни в какой степени, Максим отметил, что его сообщение принято с удовлетворением. Тогда же дядя достал из сейфа заклеенный пакет, на котором не стояло ни фамилии, ни адреса, и сказал:

— Ты запомни все с моих слов. Только точно. Поедешь на Фундуклеевскую,— улицу Максим помнил до сих пор, но, конечно, забыл номер дома,— там в квартире тебя встретит некий Иван Федорович, ему вручишь этот пакет. Вернешься ко мне и доложишь, что исполнил.

Максим не удивился, привычный к дядиной загадочности. Но тут же, в подъезде дома, он вскрыл заклеенный, но не запечатанный конверт посредством обыкновенного карандаша, чему научился от своей мамы, именно таким образом вскрывавшей папины письма от предполагаемых любовниц.

Содержимое конверта нельзя было назвать обычным. В нем был паспорт на имя покойного Игнатенко. И ничего больше. Максим быстро облизал края конверта, придав ему первоначальный вид. Мало ли зачем понадобился паспорт покойного! Главное удивление было впереди.

Он без труда нашел указанную квартиру. Дверь ему

открыл представительный и даже красивый мужчина примерно лет тридцати.

Максим не сомневался, что в библиотечном зале он вновь увидел человека, которому передал паспорт покойного учителя. Он узнал его характерные брови, прямые, словно подводящие черту под высоким лбом...

И вдруг, через десять лет, со скамьи подсудимых на него глянул из-под поседевших прямых бровей человек, живший по паспорту умершего Игнатенко. Но теперь Максим знал, что это академик Ефремов, в то время находившийся в киевском подполье. И еще он узнал, что Ефремов возглавлял контрреволюционную организацию.

Может быть, Максим и не придал бы такого значения своему открытию, если бы не случайно подслушанная в кулуарах театра реплика. Именно предположение, что дело не кончается на процессе СВУ, что будут еще вспышки, что иностранные разведки — это-то понял Максим — будут искать подходящих людей... Именно оно дало толчок мыслям Максима. При всей своей политической неопытности он понял, о чем идет речь: разведки в конце концов «найдут шею», к которой «приставят голову»...

Как ни старался Максим уверить себя, что ничего не произошло, что жизнь продолжается, как раньше, в глубине души он понимал, что все в его жизни изменилось.

Он никогда не был приверженцем дядиных идей, всегда был аполитичен, да просто не задумывался над конечной целью дядиных и его сподвижников усилий.

А потом сгинул и дядя. И о том, что он жив и даже действует за границей, Максим узнал года два назад от случайно встреченного бывшего дядиного дворника Никиты, который теперь работал в бане, где и состоялась встреча. Банщик, оказывается, не потерял связи с бывшим хозяином. Это известие Максим принял без особых переживаний: так далеко все это было — Киев, Верочка, бегство дяди...

Конечно, он читал газеты, имел представление о людях, которые стали на путь преступления, поставили себе целью свергнуть Советскую власть. Но Максиму казалось просто невероятным, что организация была такой разветвленной и оснащенной. Он понимал, что здесь приложены усилия «потусторонней силы». Но эту силу никак не связывал с тем лагерем, в котором был его дядя. Он не усматривал связи между той киевской порой и нынешними участниками организации «Спилки визволення Украины», которая была раскрыта, разоблачена, и Максим понимал, что материалы суда являются поучительными, отсюда и открытый процесс, на который он с интересом отправился, ни в коей мере не предполагая того, что случится.

А что, собственно, случилось? Он узнал в главном подсудимом Ефремове того самого человека, который жил по подложному паспорту в Киеве уже при Советской власти и случайно попался ему на глаза в библиотеке.

Максим никому не сообщил об этом. Почему? Да просто не придал значения этой встрече. И о том, чтобы куда-то идти и сообщать о ней, об этом и речи не могло быть! Такое ему и в голову не приходило.

Но с тех пор прошло много лет. И сам он был уже не тот. В эти годы он ведь не только получал образование, служил, влюблялся, женился.

Он видел, как поднимается страна из разрухи. Нет, почему же «видел»? Помогал этому.

Он был доволен своей службой в Вукоопспилке, своим честным и квалифицированным трудом. Это была работа по специальности, и он умел находить смысл и пафос цифр в длинных сводках о состоянии торговли, а то, что это касалось украинского села, укрепляло его доброе внутреннее самочувствие человека, занимающегося нужным делом.

И обстановка работы тоже нравилась ему. Ее возглавлял глубоко симпатичный ему человек. Он был смел в ра-

боте, блестяще организовал ее, Максим находил в нем черты, которых не хватало ему самому, и тем более он их ценил.

Он дорожил отношением к себе Рашкевича, часто даже не задумываясь, в чем причина такого внимания к нему со стороны начальника...

Рашкевич был у него на свадьбе, приехал вместе с женой, тоже очень приятной, красивой женщиной, которая трогательно и нежно отнеслась к Людмиле. Изредка Рашкевич приглашал Максима с женой к себе.

Но особенно ценил Максим то, что Рашкевич учил его работать. Он открывал ему не только экономическую грань работы, но философию ее. Он был для молодого специалиста образцом хозяйственника, видевшего по-своему свою работу — кооперативную торговлю. Казалось бы, занятие это не может быть опоэтизировано ни романтическим образом завоевателя новых рынков, ни даже скромной фигурой захудалого коробейника.

Но была своя романтика, свое обаяние в Рашкевиче, как понимал его Максим: он был смелым хозяйственником, отчетливо видящим будущее страны. Этому всегда завидовал Максим. В нем самом не было ни того порыва, ни той убежденности. Ну что ж, он был то, что сейчас называлось «аполитичен». Не фонтанировал, как Рашкевич. Просто тек, как течет ручеек, незамутненный, чистый.

Потому он и спешил сейчас к Рашкевичу. И был готов услышать от него любые гневные слова. Он мог бы оправдать себя своей молодостью и неопытностью... И тем, что правильно оценил сегодня проступок своих почти детских лет.

Он давно уже отдалился от здания оперного театра, от застывших у его входа на часах красноармейцев, по-зимнему одетых в шинели. Прошел по тихой Рымарской, по ней не ходил трамвай, и обсаженная деревьями улица текла, как спокойный канал между асфальтовых берегов, на

которых в весенних лужах уже копошились воробьи. Свернул налево в еще более тихий переулок, где заметнее была весна, потому что в кривом этом переулке за изгородями стояли тополя с ветками, как бы загустевшими. Воздух наполнился запахом талой воды и крошечных, беспомощных, словно еще не проклюнувшиеся птенцы, почек...

Максим отмечал все это, как отмечает даже мимолетные детали человек на пороге какого-то события в своей жизни. Он еще не знал какого. Это зависело от разговора с Рашкевичем. Максим предстанет перед ним — что ни говори — в новом ракурсе. И если разговор для него будет тяжелым, то и Рашкевич не будет в восторге от того, что молодой человек, которому он столько лет покровительствует, оказался, собственно, не тем, кем он себе его представлял.

Так, думая и передумывая, приближался Максим к Вукоопспилке, не замечая, что вышел уже на оживленную Сумскую, плавно спускающуюся к площади Тевелева, к гостинице «Астория», к новому повороту, за которым прямая как стрела Екатеринославская с ее деловым кипением уводила к вокзалу.

Он не замечал, что его задевают локтями прохожие, что самый воздух сделался густым и неприятным, что веяния весны перешибаются смешанным запахом конского навоза и гнилостных испарений речки Лопани... Тем меньше замечал он все это, чем ближе подходил к сугубо деловому, сугубо современному зданию Вукоопспилки.

И, только минуя вестибюль и рассеянно кивнув в ответ на приветствие гардеробщика, он хватился: застанет ли еще Сергея Платоновича на работе?.. Ни в коем случае не хотел бы он провести разговор у него на квартире! Но и ждать до завтра не смог бы.

С какой-то жалостью к себе Максим подумал, что в его жизни не часты были подобные мгновения...

Секретарь Рашкевича Ольга Ильинична встретила Мак-

сима оживленнее, чем всегда: она хотела немедленно узнать «все, все» о процессе СВУ, о котором столько трубили газеты и еще больше кумушки на базаре. От Вукоопспилки пошли на процесс ведь только несколько человек, а вернулся один Максим... Что касается Рашкевича, то он с некоторым пренебрежением сказал, что не имеет времени для столь чуждых ему дел.

Сергей Платонович был у себя, но Ольга Ильинична велела Максиму подождать и тотчас засыпала его вопросами, на которые он отвечал невпопад.

Наконец она сжалилась над ним:

— Ну, идите, Максим, Сергей Платонович один.

Максим мельком подумал, что такой разговор, может быть, будет даже удобнее провести в той маленькой комнате за кабинетом, которая была Максиму знакома. И однажды он даже распил там с Рашкевичем полбутылки коньяка.

Но Рашкевич сидел в кабинете за столом, углубившись в бумаги.

— Это вы, Ольга Ильинична? — спросил он, не глядя.

От одного этого голоса вдруг стало Максиму спокойно на душе: так действовала на него сама личность Рашкевича.

— Нет, это я, Сергей Платонович,— ответил Максим, не решаясь идти дальше.

Но Рашкевич приветливо пригласил:

— Так заходи же, Максим. Там уже все закончили? Иди, иди.

«Сейчас я выведу его из состояния благодушия. Ах, как неприятно, как тяжело, даже неблагодарно с моей стороны!.. А что делать?..»

И, словно прыгнув в холодную воду, Максим стал рассказывать.

Но вместо выражения ужаса или по крайней мере удивления на лице Рашкевича Максим заметил лишь нетер-

пеливое и, как ему показалось, веселое, оживленное выражение. «Это нервное, нелегко ведь узнать такое»,— подумал Максим.

И в этой мысли он укреплялся, пока рассказывал всю историю с похоронами, с посещением незнакомца, который через десять лет обернулся главной фигурой в процессе СВУ, со встречей в библиотеке и даже с Верочкой...

В этом месте Рашкевич просто засмеялся. Однако он не прерывал Максима, и тот в конце концов был так растерян неожиданной реакцией Рашкевича, что остановился как бы на скаку...

Теперь он уже окончательно ничего не понимал. Рашкевич поднялся с места, обнял его за плечи, благодушно и нисколько не сердясь, сказал:

— Мой молодой друг, не стоит делать драму из в общем-то безобидной истории. Истории молодого человека, волею судьбы попавшего на перекресток бурного времени...

Говоря это, Рашкевич подошел к столику, на котором только сейчас Максим заметил недопитую бутылку коньяка и рюмки.

В своем волнении Максим сразу опустошил налитую рюмку и слегка захмелел. Может быть, поэтому все дальнейшее представлялось ему как бы в тумане.

Однако на улице, после часового разговора, Максим был уже трезвый как стеклышко.

Потому что второе за сегодняшний день открытие ошеломило его не менее первого.

И, став как бы иным, как бы обретая новую зрелость и мужество, Максим трезво взвесил каждое слово, произнесенное Рашкевичем. И каждая фраза его показалась Максиму будто с двойным дном.

Самое удивительное и самое угнетающее содержалось в том, что Рашкевич отлично знал, оказывается, Остапа Черевичного и конечно же знал, что Максим его племянник, но все эти годы не дал Максиму ни малейшего повода



предполагать это знакомство. Да и весь разговор был чрезвычайно двусмысленным. Нет, более того, подозрительным.

И вдруг гнев охватил Максима...

Он принял второе за этот день кардинальное решение. И как два часа назад, почувствовал, что должен осуществить его немедленно. Осуществить это решение ему было легче ввиду одного обстоятельства: там, куда он направлялся, вернее, куда сами несли его ноги, работал Василь Моргун, сокурсник Максима, одно время они вместе готовились к экзаменам.

Между тем в кулуарах оперного театра продолжались оживленные дебаты. Расположившись в кожаных креслах в «курилке», журналисты и не помышляли возвращаться в зал суда, дружно согласившись на том, что интересными обещают быть только прения сторон. При этом учитывалось, что обвинение в процессе поддерживает «всеукраинский Цицерон», как называли одного из заместителей генерального прокурора.

Шел тот сбивчивый, нестройный разговор, который обычно возникает у людей, объединенных общей задачей и понимающих друг друга с полуслова, с намека, достаточного, чтобы потянуть за собой цепочку ассоциаций.

Собкор «Известий» Шумский, по-московски растягивая слова, говорил неспешно, сминая крепкими пальцами длинный мундштук «Пальмиры»:

— Не плавно, не плавно идет у нас переход этот... От ограничения и вытеснения к ликвидации...

— Да какая тут, к бису, плавность, когда речь идет о ликвидации класса... Класса! И какого? Кулачества... Тех куркулей, про которых в народе говорят: «Багатому й черти горох молотять, багатому й черт яйца носыть». Нет, если вдуматься, мы, братцы, живем в удивительное время!.. — воскликнул Микитенко.

— А год наш, тридцатый, самый удивительный,— отозвался юношеским тенорком репортер «Вистей». И все засмеялись: в горячности тона и во всем облике юноши легко угадывалось, как он доволен тем, что именно в этот боевой год живет и вот даже вышел на трибуну журналиста...

— А чего смеетесь? — пробасил Микитенко.— В порядке окаянства? Вы уж языки пообточили в дискуссиях, ко всему привыкли! А ему внове. На его долю еще придется удивлений — ого! И год ведь, правда, особый! По трудностям особый: недавний недород подкосил, кулачье хлеб зажало! С другой стороны напирает господин Капитал. И не случайно именно этот год помечен на ихнем календаре: они прекрасно учли — если большевики себе шею не свернут на коллективизации, если проведут ее... тогда пиши пропало — укрепятся! Тогда их не сковырнешь!

— Потому и папа Пий XI провозгласил крестовый поход, отсюда и потекли немцам инвестиции...— подхватил известинец.

Вернувшийся недавно из Берлина сотрудник харьковского «Коммуниста» с горечью стал рассказывать о Германии:

— Даже не верится, что всего пять лет назад на той же площади Люстгартен бушевала «красная троица»: красные фронтовики съехались тогда со всей страны. Тельман выступал... А сейчас сухопарая фигура в каске и стального цвета пелерине присуща городскому пейзажу все равно как конная статуя кайзера Тиргартену. А в «Герренклубе», «Клубе господ», не спали, не дремали: дали команду развязать антисоветскую кампанию.

Высказывались вперебой, сыпались реплики...

— Польшу белопанскую натравливают на нас, как собачонку...

— Наш парень на днях приехал, рассказывает: в кино, в хронике, показали Пилсудского. Зал встал, как один, и грянула овация...

— Конечно, никто всерьез их не принимает, а напрасно — те деятели в мюнхенской пивной копошатся не зря: с замахом... Они еще себя покажут...

— Капповский путч тоже в темноте собирался...

— Но папа, папа римский... Это же надо: булла за буллой, да все про нас... А теперь назначил день молений. О чем? О смягчении большевистских сердец, чтоб не так уж «зверствовали»!

— Да ну?

— Скоро прочтете в газетах. И тут еще нюансик: это вселенское молебствие как раз падает на день святого Иосифа. А почему? — обвел всех глазами молоденький вистинец.— Потому что Пилсудский-то — Иосиф. Этот год у них считается решающим не только по экономическим и политическим соображениям, а тут еще такой «мотив»: тринадцатый год Советской власти. Тринадцатый! Разумеете? То есть роковой... Мистика, братцы, тоже не дремлет!

— Слухайте, слухайте,— опять вмешался Микитенко.— В той Баштанке на Николаевщине — я же только оттуда,— там на селе такой философ есть, по прозвищу Федько Хвист. Он такую развел философию. Вот три слова: «комуна», «артиль», «диявол». В каждом по шесть букв. А вот слово «реконструкция», в нем — тринадцать букв. А? «Ну и що з того?» — спрашивают. «А то,— отвечает Хвист,— що це знак божий, як що не станемо проты коллективизации, то прийде царство антихристове!..» Вот вам суждение Федька̀ Хвиста! А между прочим,— Микитенко обвел всех хитроватым взглядом,— сам Хвист начисто неграмотный, вместо фамилии крест ставит. Значит, что? Обучили? Так?

Молодой человек, почти юноша, которого до сих пор никто не замечал, с жаром воскликнул:

— А вы читали новое стихотворение Владимира Сосюры? Ответ врагам нашим...— Он по-актерски протянул руку и прочел наизусть:

И знов вы хочете на нас
Пид регит дыкий, вересклывый,
В пекельний музицы розривив
Надить поламане ярмо...
Ну, що ж! Приходьте, мы ждемо,
И ждуть на вас холодни жерла
Поставленних де слид гармат...
Краини Рад
Таких гостей стричать не вперве!
И проводжать громами их [1].

Все захлопали.

Микитенко с увлажнившимися глазами обернулся к юноше. Но бойкий репортер «Вистей», уже давно пытавшийся обратить на себя его внимание, перехватил его:

— Иван Кондратьевич, дайте мне интервью, что-нибудь про Баштанку на Николаевщине...

— Про Баштанку! В Баштанке страсти бушуют...

Может быть, Микитенко и снизошел бы к просьбе репортера, но тут он увидел спускающегося по лестнице человека лет тридцати пяти, приметной наружности: высокого роста, но хрупкого телосложения, с узковатыми глазами за стеклами очков, с темно-каштановыми усиками и бородкой, это-то и делало его приметным в городском окружении.

— О-о! Евген! — устремился к нему Микитенко и, забыв о репортере, подхватил под руку Евгения Малых и поспешно отвел его в сторону, явно желая остаться с ним наедине.— Как Нина, как сын? — оживленно спрашивал Микитенко.

— Нина на гастролях с театром, Мишка у бабушки. Все — на местах! — улыбнулся Евгений.

---

[1] Под визгливый и дикий хохот, в адской музыке разрывов вы хотите снова надеть на нас ярмо. Ну, что ж, приходите! Ждем! И ждут вас холодные жерла поставленных где надо пушек. Стране Советов не впервой встречать таких гостей и провожать их громом орудий.

— Ты тут при начальстве?

— Да нет. Станислав Викентьевич не приедет: он же читал протоколы следствия...

— О-о! Так це ж чудово! Пип у хвиртку, а чорт у дырку! Пойдем выпьем пивка «Новой Баварии» и побалакаемо.— Микитенко пришел в восторг от того, что Евгений наконец доступен для беседы...

— Пойдем,— согласился Евгений.

Они направились было в буфет, но тем временем Микитенко уже передумал:

— А на что нам буфет, когда рукой подать до «Астории»?

— Какая «Астория»? Да меня каждую минуту могут наверх позвать. Ты что? Голодный?

— Голодный.

— Ну, пойдем в нашу столовую, цековскую. Я тебя накормлю. И сам спокоен буду. Знаешь, какое время...

— Ну, пойдем, пойдем.

Они вышли, и в лицо им ударил ветер, который нес что-то весеннее, родившееся далеко отсюда, может быть, и на Николаевщине, в той самой Баштанке, где уже раскрывались почки тополей.

Они устроились за столиком, в столовой было пусто, час обеда кончился, но приветливая официантка круглой украинской скороговоркой предложила им борщ по-полтавски и тефтели по-гречески.

Микитенко засомневался:

— Знаешь, эти греки... Потом от изжоги пропадешь.

— Да что ты! — успокоил его Евгений.— У нас что ни закажешь, хоть с самым экзотическим названием, все обернется котлетами.

Микитенко захохотал, смеялся он сладко, по-детски, маленькие глаза его совершенно скрылись в прищуре.

— У вас и генсек так кормится?

— Обязательно. Только так. Как все! — серьезно ответил Евгений.

Микитенко посмотрел на него с интересом:

— Открой мне, пожалуйста, один секрет: вот ты, Евгений Малых, почти что профессор...

— Ну уж и профессор!

— Институт красной профессуры окончил? Значит, профессор. А что ты на кафедру и ногой не ступал...

Евгений перебил:

— Как раз очень даже ступал. В совпартшколе читал курс политэкономии. Если б не забрали из газеты...

— Вот в газете и было твое место, Евген, с твоим литературным языком, тебе бы писать... Да не только в газету, ты же по-художнически видишь!

— Тебе кажется, что видеть глубоко и мыслить образами нужно только в литературе. А между тем в политике — тоже!

— А все же непонятен мне твой секрет... Уйти из газеты, бросить любимое дело, перейти на положение, ты извини меня, но все-таки очень зависимое... Конечно, ты не секретарь, не порученец... Ученый ре-фе-рент... Но ведь все равно сам себе не принадлежишь, верно? И кроме циркуляров и резолюций, уж наверно ни черта не напишешь! Чего же ты пошел, тебя же силой не тащили?

— Секрет тут, пожалуй, есть. И он даже имеет имя...

— Станислав Викентьевич Косиор? — спросил, сам удивляясь своей догадке, Микитенко.

Малых засмеялся:

— Ну, проник!

— Видразу видно пысьменника,— похвастался Микитенко.

— Иван, ты не умрешь от скромности!

— Ой, друже, от чего помрешь... Як бы знав, де впав, то и соломки б пидостлав...

Иван минуту подумал и, так как Евгений молчал, углубившись в котлеты, поданные под греческим псевдонимом, продолжил:

— Ну, расскажи мне про Косиора. Чем он тебя приважил?

— Это не так легко определить,— задумчиво ответил Евгений.— Как разложить по полочкам человеческое обаяние?.. Может быть, оно в какой-то завершенности, многослойности его личности... Понимаешь, он бывает разным... Ни один вопрос не решается им в одной плоскости. Ну, можно сказать, диалектическое рассмотрение явлений — в его характере. Диалектический подход, умение входить в подводную часть корабля. Самую главную: где работают машины, те, что кораблю дают движение. Я не хочу сказать, что этим методом не владеют другие. Петровский тоже был около Ленина. Может быть, даже дольше, чем Косиор. Тоже многому научился. Но, понимаешь, разные люди имеют разный подход: и вот мне — ближе косиоровский.

— Хорошо. Все это я принимаю. А как ты к нему прицепился?

— Да, это получилось не совсем обычно... Я тогда в «Коммунисте» работал... И задержал одну статью. Вздорную такую статейку, но не без яду. А написал ее партийный работник из окружкома. Парень грамотный, но начиненный формулировками. Он в амбицию. Жалобу в ЦК... И попадаю я прямо к Косиору. Поскольку он сам заинтересовался вопросом. Он поддержал меня тогда. Потом у меня возник еще один спорный вопрос, я уже — прямо к нему. Он меня принял и тогда уж предложил... И я согласился. Не жалею об этом.

— Не могу сказать, что ты меня убедил в абсолютной необходимости для тебя сидеть около Станислава Викентьевича Косиора, хотя допускаю: набраться ума, конечно, можно. И овладеть тем, что ты считаешь методом, а я бы назвал попросту хорошей марксистской подготовкой.

— Нет, это совсем не просто сумма знаний, речь идет об умении их применять.

— Пусть так. Но все же жалею: пропадает в тебе не скажу там прозаик или поэт, но талантливый, перспективный, зоркий очеркист, как раз такой, какие сейчас нужны!

Они снова выпили пива, закусывая тонкими ломтиками черного хлеба, сдобренного горчицей. Микитенко разговорился, стал рассказывать про Баштанку, видно засела она у него в сердце...

— Очень жалею,— вдруг сказал он,— что написал свою «Диктатуру» до Баштанки.

— Ну, Иван, «Диктатура» у тебя и так внушительна. Со сцены не сходит.

— Да, я в общем доволен. Но, понимаешь, Баштанка... Такие характеры и конфликты... шекспировские! А ведь наше время — это время шекспировских характеров. Или шиллеровских. Да возьми ты этих вот...

— Ефремова и прочих?

— Да, я как раз хотел про них. Это же злодеи. Политические Яго, провокаторы. И вопросы Правды-Кривды у нас обнажены по-шекспировски. А теперь давай поглубже колупни действительность: в каждом селе страсти, что там Эксцельсиор! Я тебе скажу: в селе Баштанке есть подкулачница Ганка Непригода. Леди Макбет в подметки ей не сгодится! Подняла три села против коллективизаторов.— Микитенко перевел дух, махнул рукой.— Да что там! Каждое село — место действия мощных народных характеров... Да какого действия! Вот тебе кулак Озерский из села Привольного. Этот Шейлок выдал себя за лучшего друга незаможников и батраков и, так как известно, что словам никто не верит,— совершенно добровольно, чуешь? — отдал в артель с поэтическим названием «Нива» собственный двигатель и молотилку! И вот уже доверчивая «Нива» выдвигает его в руководители! И он постепенно набирает силу... И разворачивает работу. А чем все кончается? Открытым кулацким выступлением. Кровопролитием. Кровь, брат, льется! И кровь лучших! Семья Кошу-

ков... Это — Мооры! Шиллеровские Мооры! Один брат — подкулачник, отца в гроб загнал, другой брат — в комнезаме... И вот я, драматург...

— Да, драматургия — твоя стихия, Иван!

— Точно. Пусть и «не умру от скромности»... Я драматург и обязан быть оптимистом. Как Шекспир.

— Ну, Иван, ты хватил! Ромео и Джульетта мертвы! А в «Отелло» так, вообще, кажется, пять трупов на сцене... Какой оптимизм!

— И все же ты уходишь после «Отелло» более сильным, чем пришел: тебя в жизнь тянет, а не бежать топиться! Потому что величие настоящего искусства в том, что тебе внушают, показывают: «Естественно, жизнь причудлива, ужасна, но и прекрасна! Она не стоячее болото, а поток. И ты в нем не щепка, а гребец...» И певец! Арион, черт возьми!

Евгений залюбовался оживленным, почти вдохновенным лицом Микитенко.

— И вот еще: через драматизм схваток с кулачьем, через трагедийные ситуации, потери, горе, нужду, голод... Через все это люди выходят к апофеозу... Представь себе митинг на сельской площади. Артель в искони украинском селе Баштанке, так она — «имени Анри Барбюса». Ничего? Митинг, начало сева... Послушай, двадцать две тракторные колонны на плацу! «Красный путиловец», «Интернационал», «Фордзоны»... Вот такие машины там, где от веку шел по борозде сеятель, брал из лукошка и бросал зерно во вспаханный — спасибо, если плугом, а то и сохой — чернозем. А народу, народу на том митинге! Какие краски!.. Пестрые хустки баб, зелень молодой листвы, лоснящаяся шерсть коней...

Микитенко разошелся, вскочил, ему сейчас удержу не было! Подлинное вдохновение сделало его лицо почти красивым.

Но подошла официантка, тихо, виновато сказала:

— Евгений Алексеевич! Секретарь товарища Косиора звонит: вас срочно наверх!

— Sic transit gloria mundi! — сказал, сразу погаснув, Микитенко.

— Так проходит слава мира! — машинально перевел Евгений, вставая.

Бывая в Харькове у Рашкевича, Тарас Титаренко всегда испытывал двойственное чувство: с одной стороны, вызывало у него уважение то, что Сергей Платонович сумел врасти в большевистскую действительность, всочиться в нее и корни пустить. И это, казалось, должно было вселять в Тараса Ивановича уверенность в их общем деле и, что не менее важно, в их безопасности. Но с другой,— уже вопреки доводам рассудка — именно это порождало неясные опасения: больно высоко взлетел Рашкевич — член коллегии Вукоопспилки, Всеукраинского союза кооперации, не шутка!

Ничем не обоснованная тревога шагала рядом, пока Тарас Иванович неторопливо подымался по широкой лестнице мрачноватого внушительного здания.

Кругом кипела суета большого учреждения. «Как на конном базаре»,— про себя решил Титаренко, плавая в табачном дыму и осторожно пробираясь мимо хватких молодых людей в модных, узких книзу брючках и стянутых в талии пиджаках и девиц — гривастых, словно протодьяконы. Все они имели при себе, будто опознавательный знак, папку под мышкой. И вид такой деловой и углубленный! И бегали они по лестницам и коридорам быстро-быстро, перебирая резвыми ногами в разномастных баретках. «Крапивное семя»,— пробурчал про себя Тарас Иванович.

Ему казалось, что бегают вокруг все одни и те же, почему и возникало приятное для него впечатление. «Все попусту. Беготня и болтовня. Фиктивная активность»,— гдето он слышал эти слова, и даже в определенном смысле:

«Развивайте, мол, поощряйте фиктивную активность! Чтобы крутились у вас колесики, да вхолостую».

Впрочем, бестолковая, как считал Титаренко, суета замирала, останавливалась у порога кабинета Рашкевича, как разбивается волна у каменного мола. Да, нечто гранитное, монументальное виделось в самой двери, ведущей в приемную, с солидной дощечкой: «Зав. оргинстром С. П. Рашкевич».

Титаренко бывал здесь не раз — Рашкевич принимал его только на службе,— но всегда испытывал некоторый трепет, берясь за хорошо начищенную медную ручку дубовой двери.

И сразу окунулся в атмосферу серьезности, весомости — уже здесь, в приемной. За секретарским столом сидела не какая-нибудь финтифлюшка, вроде тех, кто носился по коридорам на волнах канцелярского прибоя, а пожилая женщина с гладко зачесанными волосами, похожая в своих дымчатых очках на учительницу,— кажется, так и было: из педагогов. И при Рашкевиче — с незапамятных времен. И хотя на стульях вдоль стенки сидели всякие, Тарас Иванович еще и поздороваться с Ольгой Ильиничной не успел, как она приветливо и веско уронила:

— Пожалуйста, дожидается!

И тотчас обратилась к сидящим:

— Пробачте, товарищи, приезжий с периферии. Вне очереди.

На правах старого знакомства, она спросила:

— Как у вас в Старобельске?

— Как всюду,— многозначительно пожал плечами Титаренко, зная, что этот ответ, и пожатие плечами, и обмен взглядами — все входит в атмосферу, окружающую Рашкевича. И Ольга Ильинична это знает и обожает. Упаси бог, не в полном курсе, но именно эту атмосферу полунамеков, иронических хмыканий и всего того, что умещается в короткие минуты и на коротком расстоянии между две-

рью в приемную и дверью в кабинет, поддерживает и блюдет верно.

— Сейчас освободится! — успокоительным тоном бросила Ольга Ильинична и слегка коснулась плеча Титаренко.

Почти тотчас из кабинета не вышел, а выскочил, словно из парной в предбанник, лысоватый толстяк с папкой под мышкой.

— Распушил! Насмерть распушил! — радостно объявил он.

И стал восторженно объяснять Ольге Ильиничне: «Грозен, мол, но и в гневе велик товарищ Рашкевич», но Титаренко уже не слышал, так как плотно закрыл за собой дверь в кабинет.

И здесь то двойственное впечатление, которое и восхищало и пугало Титаренко, возникло в сильнейшей степени. И пока они говорили, маятник колебался то в одну, то в другую сторону. То — почтительного удивления, то неясного опасения.

Все, все в Рашкевиче отвечало сложившемуся типу советского служащего высокого класса, так называемого «ответработника». Сорокапятилетний, начинающий полнеть, но неравномерно, а как бы от верху, с двойного подбородка и жирных плеч, Рашкевич никак не мог быть назван толстяком, при его-то росте! И самая полнота его говорила в его пользу: не от излишеств, а от сидячей жизни — от «деятельности»! Через модные роговые очки глядели глаза с благожелательным выражением, но и требовательно. Весь облик Рашкевича говорил: этот человек полон собственного достоинства, оно наполняло его, выплескиваясь через край, и этим качеством он как бы одарял и тех, с которыми благожелательно общался.

И странно: зная всю его подноготную, вовсе не пристегивал Титаренко ее именно к этому Рашкевичу. А воспринимал его с той характеристикой, которая лежала на по-

верхности и как броней укрывала Рашкевича. Броней, которую, казалось, не пробить. Надежно служила она ему уже десять лет, с тех пор, как после разгрома петлюровской армии он оказался на Украине, подальше от родной Галиции, подальше от заветных мест, а особенно с тех пор, как заимел партийный билет КП(б)У в кармане.

Рашкевич встал из-за стола, обнял Титаренко. Как всегда. Дружелюбно. Искренне. И все же соблюдая какую-то дистанцию.

Они прошли в маленькую комнату за кабинетом, где стояли кожаный диван и глубокие кожаные кресла, и чистый воздух — Рашкевич не выносил курения — врывался в открытую форточку. Сергей Платонович позвонил и сказал Ольге Ильиничне:

— Ко мне — никого. И чаю. Ну как в Москве? Где денежки? — спросил Рашкевич легко, беспечно, как всегда говорил, словно жизнь его состояла из одних удач и удовольствий, словно и мысли не допускал, даже краешка ее, о том, что он, Рашкевич, не совсем то лицо, за которое себя выдает и которым его все считают. А даже нечто совсем-совсем иное...

И с невольной завистью подумал об этом Титаренко.

— Порядок, Сергей Платонович. Наследство получил.

— Добре. По нынешним временам без грошей ни одна святая идея не сдюжит...

Рашкевич улыбнулся. Он вообще охотно улыбался. У него был красивый рот, полный блестящих белых зубов, выдерживающих самый пристальный взгляд и не внушающих даже отдаленной мысли о первоклассном зубном технике. Титаренко хорошо знал его широкую улыбку, за которой могло таиться очень многое. Кто его знает, какие новости... Рашкевич был мастер новостей.

Он прошелся по небольшой комнате. Словно что-то вспомнив, достал из шкафчика графинчик с янтарной жидкостью, две рюмки, лимон на хрустальном блюдечке.

— Не лишнее, Тарас Иванович?
— Не лишнее, Сергей Платонович.
— За наше дело, дорогой друже!
— Вот именно.
— За то, чтоб денежки хорошо послужили делу!
— И чтоб не последние!
— Не за кари глазки шлют нам денежки,— вдруг с некоторой строгостью напомнил Рашкевич.
— А то! — согласился Титаренко, уже зная и подготовившись к тому, что сейчас и пойдет настоящий разговор.
— У нас еще такого времечка горячего, как теперь подошло, не было,— сказал Рашкевич, с удовольствием выговаривая слова, которые получались у него круглыми и обкатанными, как бы заготовленными впрок.— И грош нам цена, если именно сейчас мы не развернемся, не ударим. История не простит. Не спишет.
Рашкевич говорил так гладко и красиво, словно с кафедры.
«Соскучился по народу»,— мельком подумал Титаренко, впитывая не только слова, но и тональность: каждая фраза Рашкевича звучала обнадеживающе.
Естественно, разговор с ним Рашкевич не начинал с азов. Азы были известны и до какой-то степени вневременны. Потому что, например, незыблемой была истина о неизбежном падении Советской власти в не столь далеком будущем, и, конечно, в результате войны, которая также неизбежна. И то, о чем мечталось, будет делом рук сильных держав, за которыми стоят и капитал, и оружие, и идея.
Это все задано раз навсегда. А что нового на данном этапе? Куда обратить глаза? Не толчемся же мы на месте. Новое есть, принципиально новое. То, что характеризует сегодняшний день. А именно: очень даже неглупая, дерзкая до безумия идея коллективизации сельского хозяйст-

ва... И ведь посмотрите, словно они, большевики, выдумали ее, словно мысль эта родилась у них в голове. А ведь подхвачена старая идея крестьянской общины! Подхвачена и извращена!

Рашкевич перестал ходить по комнате взад-вперед, присел рядом с Титаренко, положил руку ему на колено:

— Опаснейшая мысль, дорогой Тарас Иванович, опаснейшая! Ибо будит надежду у любого голодранца ценою не труда до поту, а только лишь крику да митинговщины добиться сытой жизни. Крику и митинговщины мы уже наслушались с того самого дня, когда Советы воцарились на Украине. Но речь идет теперь о другом, задумайтесь! Как проводят ту коллективизацию? А проводят ее, порушив вековой уклад сельской жизни, острой косою скосив главного хозяина деревни, главного добытчика хлеба — заможного селянина. Того разумного, культурного и дельного хозяина, которого они клеймят зазорной кличкой куркуля... Так что же, мы молча будем взирать на разорение и грабеж? На то, что самые корни выдирают, подсекают опору вильной Украины?

Рашкевич легко вскочил, по-молодому выпрямился, глаза его за роговыми очками блеснули:

— Нет такого средства, которое было бы недостаточно хорошо для отпора! Да не только в отпоре дело. Кончилось тайное собирание сил. Пришло время подымать людей! Пришло время взять топоры в руки! Время атаки. И на святое дело соседи не жалеют ни оружия, ни денег. Сами видите!

Рашкевич провел рукой по волнистым седеющим волосам, снова присел рядом.

— Однако все не просто, друже. Вспомните историю с вашим старобельским попом Варфоломеем. Вспомните этого юродивого, который приблизил к себе всю голоту! Возомнил себя чуть ли не самим Христом: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и аз упокою вы».

Ему невдомек, что не материально обездоленных защищает религия, но духовно убогих. Так кто же более убог и нищ духом, чем те, кто призвал отбирать, грабить нажитое честным трудом добро рачительных хозяев. Вот их бы и обращать к богу! А Варфоломей удосужился в облатку святого причастия вложить адскую идею коммунизма, что горше и опаснее яду!..

Нет, словно уже не для одного Титаренки, а для множества ораторствовал Сергей Платонович. И со стороны просто жаль было, что драгоценные мысли не падают на почву, на которую должны упасть семенами. А он, Титаренко? Так ему уже давно все ясно. И хоть лестно и не без пользы смотреть на фонтан, слушать шум его, но к такому фонтану еще бы жаждущих! Жаждущих истины... А нельзя!

— Что все это означает для нас,— продолжал между тем Рашкевич,— для конечной нашей цели? А то, что если бы большевикам удалось все же провести и закрепить коллективизацию, то неизбежная война была бы ими выиграна.

Тарас Иванович насторожился. По правде сказать, он как-то не связывал эти два вопроса. И сама мысль о победе большевиков над капиталом — а ведь весь мир подымается против них — была для него просто непостижима.

Взглядом опытного оратора пробежал по его лицу Рашкевич и ответил на невысказанный вопрос:

— Почему так? А потому, что был бы решен основной вопрос, разрешено основное противоречие, которое осталось неразрешенным после того, как заводы и фабрики отняли у капиталистов и отдали рабочим.

Титаренко робко вставил:

— Однако ж землю дали крестьянам?..

Рашкевич просто зашелся от ядовитости:

— Дали? Чтоб дать, надо иметь. А что имели голодранцы? Кандалы на ногах, бубновый туз на спине! Где они

взяли землю, которую отдали крестьянам? Ограбили помещиков, ограбили государеву казну, обширные культурные земли кабинета его величества и роздали все лайдакам! А теперь замахнулись, чтобы уничтожить в деревне самостоятельного селянина.

Рашкевич прошелся по комнате, немного поостыл и продолжил:

— Поэтому сейчас всеми способами надо срывать план большевиков. И это нам по силам! Почему? Потому, что в деревне остался наш оплот, наша крепость, наша надежда: крепкий хозяин. За ним — культура сельского хозяйства, опыт. Потому, что в деревне есть наша церковь, наши люди в церкви: автокефальная церковь тоже наш союзник. Промышленность давно обезглавили, выбросив за борт предпринимателя. А в деревне, слава богу, этого не произошло. Голытьба не пустила корней, не на чем их пускать. И мы должны побеспокоиться о том, чтобы не было у них земли под ногами.

На лице Рашкевича проступило то, не лишенное коварства, но умное и решительное выражение, которому так удивлялся и которое так ценил его слушатель.

— И есть еще одно... Имеются трещины в крепости нашего неприятеля. Есть люди, да, есть и среди них... Ну, не совсем наши. Но от нас зависит, от нашей воли и умения, сделать их вполне своими. Пусть их немного, единицы, но надо крепко за них ухватиться!

Он снова сел рядом с Титаренко, снова положил руку на его колено, словно проверяя крепость.

— Все сгодится сейчас, дорогой друг. Самые крайние меры, свинец и огонь, им — место! И ваша Старобельщина не последнее звено в цепи.

«Еще бы,— подумал Титаренко,— у нас золотые кадры для активного дела. Годами туда ссылала Советская власть бывших петлюровцев, бывших офицеров царской армии, бывших махновцев».

Было слышно, как в кабинете раздаются телефонные звонки. Заурчал зуммер.

— Пробачте,— извинился Рашкевич и вышел в кабинет.

Тарас Иванович услышал, как он своим хорошо поставленным голосом, с самыми почтительными интонациями здоровался с кем-то. Потом после минуты молчания, тоном, полным глубокого понимания, произнес:

— Инструкция о всемерном содействии уполномоченным по коллективизации на местах нами уже разослана. С нашей стороны все будет обеспечено.

Еще одна пауза, и опять тем же тоном, как бы в упоении мыслью собеседника:

— Очень, очень понимаю, товарищ нарком, глубоко понимаю и буду проводить в жизнь. Есть, есть, благодарю вас.

Рашкевич появился как в ореоле, солнце подсветило сзади его шевелюру, и открытое торжество было в нем, мерцало за роговыми очками...

И таким Титаренко принимал его всего, потому что черпал в нем уверенность, которую легко было растерять под неистовым ветром газетных страниц и лозунгов. И умножал в себе силы для деятельности, подготавливавшей великие перемены...

Рашкевич стоял в дверях, выпрямившись во весь свой немалый рост, как монумент, и сказал, как сказал бы монумент, веско, непререкаемо:

— Сейчас говорил с наркомом. На меня возлагается обязанность направить поток промышленных товаров в первую очередь и в хорошем ассортименте для обеспечения успешного хода хлебозаготовок. Лучшие товары — крестьянам, сдающим хлеб государству! И все надо готовить уже сейчас...

Понизив голос, медленно и значительно — ох, умел, умел сыграть,— Сергей Платонович произнес:

— Надо и нам готовиться!..— и, хохотнув, добавил: — А знаете, кого от вас, от Старобельщины, прислали сюда в Харьков на курсы?.. Учиться!

«Письме́нный!» — молнией просверкнуло в голове Титаренко.

Но, как бы боясь, что имя слетит с его языка, Сергей Платонович быстро закончил:

— Цыплят по осени считают! И помогай вам бог!

И только в поезде, когда замелькали в окне знакомые картины, просторные поля и белые хаты над оврагами, гибкие ивы над ставкàми и, словно траурные султаны, в безветрии над трубами черные дымки, связалось в мыслях Титаренко все сказанное. Связалось в тугой узел. И был он накрепко стянут на шее одного из всех, но самого ненавистного.

И хотя не один Сенька Письменный рыл под Титаренко подкоп, честя его как «кулацкого пособника», но Сенька был самым ядовитым, самым настырным.

«На курсы, видишь, прислали! Учиться, как честных людей обирать. Не дождешься!» — отчетливо и зло подумал Тарас Иванович.

Проводив Титаренко и убедившись, что Ольга Ильинична умело растасовала людей и приемная пуста, Рашкевич не вернулся к работе.

Не до нее ему было. В равной степени он был взволнован и разговором с Титаренко, и звонком «сверху». Взволнован приятно, потому что именно эти два события, происходившие в разных плоскостях, в разных пластах его существования, укрепляли его в прочности его положения. В известной степени опьяняли, как напряженная и азартная игра, в которой ставкой была жизнь его и успех дела.

Это был правильный маневр: дать понять Титаренко значительность того факта, что приехал на курсы именно Письменный. Дело делом, а личная ненависть, старые сче-

ты ох как укрепляют деловые планы! А Тарас всегда держал в памяти на особой примете Семена Письменного, самого дерзкого и неуемного, самого ретивого помощника Ивана Моргуна с той самой минуты, как судьба вознесла сиволапого мужика в вершители судеб крестьянства, в председатели комнезама на Старобельщине. И к самому Петровскому имел доступ старый Иван Моргун; то и дело заседал в центре. Вызывали его то насчет хлеба, то насчет сева, то уборки... И мимо кабинета секретаря ЦК не проходил настырный старик! И с самим Косиором толковал. О чем?

Удивительное дело, столетиями мужик пахал, сеял, убирал — без всяких заседаний! Пан помещик обходился без лишних слов и совещаний, с одним управляющим. И грамота была нужна только управляющему, и то не через край. Но большевики раздули кадило вокруг «культуры земледелия», и пошло, и пошло...

Проверяя себя и свою линию, Рашкевич думал: как удачно, что Титаренко держал он именно для второй колонны!..

Теперь благодаря этому оказались «чистыми» такие люди, как Титаренко и другие до времени и головы не поднимавшие резервисты.

И потому, что эта резервная линия держалась под ружьем, но в бездействии, уцелел и он сам... «Хорошо, все хорошо...» — сказал себе Рашкевич.

Он прилег на диван, отвлекся, дал свободу воспоминаниям...

В порядочных домах всегда имеется семейный альбом, переплетенный в зеленый плюш, с толстыми картонными страницами, прорезанными по уголкам, чтобы вставить фотографию, такую же добротную, с витиеватой, золотом, надписью: фамилия фотографа и место, где был запечатлен для детей и внуков облик отца или деда и прочих близких и дальних родственников.

Не имелось у Рашкевича такого альбома. И в этом тоже повинны были большевики.

Нет, не мелочь, не пустяковина — альбом в плюшевом переплете с медными застежками. Лишившись его, человек как бы лишался прошлого, зачеркивал его, выбрасывал на помойку.

Не мог Рашкевич выбросить на помойку свою красивую жизнь, свое прошлое. И потому сохранил семейный альбом. Не в плюше с медными застежками: в собственной памяти. Надежней, чем в самом секретном сейфе.

Редко приходилось ему перебирать страницы этого альбома: не допускал себя до него. Но были мгновения... И с упоением перелистывал он страницы и видел себя и близких, и тех, кто ушел навеки, и тех, кто далеко...

Казалось бы, зачем возвращаться к тому времени, когда тринадцатилетний Сергей в матросском костюмчике, с тонкой шеей, вытянутой из белого воротничка, с испуганными глазами сидел перед фотографом, лучшим фотографом города, самим Гальпериным, чья кудреватая подпись венчала глянцевитый картон фотографии?

Ан нет, завязались в те дни, в том бытии подростка узелки, развязанные много позже. Тянулась за мальчиком Сережей вереница фигур. Отец — батюшка Платон, красавец с бархатным вкрадчивым баритоном, кумир львовских дам. И делец. Ни часу отдыха, все в делах: встречах с заправилами банков Ипотечного и Земельного, со скупщиками скота, с интендантами австрийской армии.

От отца унаследовал Рашкевич деловую хватку, неутомимость в делах, предприимчивость и умение за общим делом не упустить своего.

И где-то, на заднем плане, проходила тонкая бледная женщина с узкой ладонью, пахнущей духами и немного ладаном: мать. Богомолка и светская женщина. Мать, рано умершая, никогда и в мыслях не имевшая, что начнется потом. Не оплакавшая двух сыновей, старших братьев

Сергея, павших в боях с большевиками под Каменец-Подольском.

Школьные учителя, духовные наставники... И отец, всегда рядом отец. Неутешный, день и ночь печалящийся по умершей жене.

Только позже узнал Сергей, что не столько по усопшей он печалился, сколько по невозможности жениться вторично. И потому тайно встречался отец с красавицей полькой, известной в городе модисткой, впервые преподавшей ему, Сергею, науку любви.

И на этой странице альбома задерживался взгляд Сергея Рашкевича. Она вмещала в себя столь многое, что никак не вошло бы в кусочек картона, даже в групповой портрет. Продолговатое, бледное, по тогдашней моде, лицо с большими глазами, искусно подведенными, под высокими тонкими бровями. Затянутая «в рюмочку» талия, прямые юбки, шелест шелка и запах «амбры». И шляпы... Большие, газовые и бархатные, с цветами, фруктами, с птицами, зверьками... Всю последующую жизнь всякие любовные переживания вызывали у Рашкевича видения диковинных шляп. Как мало времени прошло, а они уже исчезли из реальной жизни!

А что пошло потом? Перевернуть несколько страниц... И уже не в фуражке с гербом Львовской классической гимназии изображен Сергей Рашкевич, а в хорошо сшитом мундире офицера австрийской армии. Это 1915 год. Нет, не обитателем грязных окопов, не скитальцем по фронтовым деревням и пожарищам выглядит бравый офицер австро-венгерской армии. Через связи отца пристроенный на штабную службу, образованный, видный лейтенант, завидный жених и блестящий танцор обладает еще более ценными качествами — облекать в изящную форму деловые беседы, нужные начальству и касающиеся предметов, по сути своей вовсе не элегантных: украинское сало, украинская пшеница, украинский сахар...

Именно это привлекало австро-венгерских правителей, и сам старый добрый император Франц-Иосиф, при котором и слово-то «сало» немыслимо было выговорить, как сплошное неприличие и шокинг, охотно принимал блестящего Рашкевича вместе с другими украинцами. Они не растворялись в толпе свиты, драгоценными камешками сверкали в павлиньем ее хвосте, напоминая, как важно сохранить богатую пшеницей, сахаром, углем и нефтью провинцию для австро-венгерского престола. Сохранить — значит не отдать ее в руки хищного русского царя.

За этой страницей идут другие... Придворные празднества, пикники... Элегантные всадники: Сергей в охотничьем костюме и лакированных ботфортах, Анеля Поплавская — дочь сахарозаводчика, единственная наследница его. Невеста. Сергей Рашкевич — выгодная партия. Накрепко укрытый от опасностей фронта должностью в австрийской контрразведке, награжденный Железным крестом, он в центре всей кухни, в которой варится «будущее украинского народа».

Министры Франца-Иосифа уже подготовили претендента на престол Украины из Габсбургского рода — принца Вильгельма, предусмотрительно названного Василием Вышиваным. Распространялась даже легенда, что он якобы потомок одного из гетманов Украины.

Пока вокруг него творилась эта легенда, сам принц Вильгельм-Василий проводил время в Вене, чередуя удовольствия с деловыми встречами. От деловых людей принцу было не отбиться. Промышленные воротилы загодя строили свое благополучие на будущем воцарении будущего гетмана на богатой земле Украины.

Дельцы высокого класса искали подходы к «державной особе», но будущий гетман был Габсбургом особого рода, в высшей степени современным, и ставил деньги выше почестей.

Отнюдь не обладая габсбургской надменностью, он пресекал сложные речепостроения недвусмысленным выражением здравого смысла.

— Ваше высочество, конечно, имеет в виду, что связи с нашим банком будут служить укреплению вашей короны,— говорил доверительно фон Зайдлиц, финансист со взглядом дальнего прицела.

— О да! — благожелательно отвечал претендент.

Но наедине с другом, Сергеем Рашкевичем, высказался откровеннее:

— Наплевал я на цю корону. Мени потрибни гроши!..

А дальше пошла триумфальная галерея Рашкевича... Блестящий двор поставленного немцами на Украине бывшего царского генерала гетмана Павло Скоропадского — не чета захудалому Вышиваному, о котором все забыли.

Лучшие люди Украины, например Полтавец-Остряница, шеф военной канцелярии, «генеральный писарь», особенно отличал Рашкевича. Тот самый Полтавец-Остряница, который был одним из претендентов на гетманскую булаву...

С гайдамацким полком вошел Рашкевич в Киев. На нем — синий жупан, широкие штаны. На голове папаха с китыцей, картинно падавшей на плечо. Офицер жандармерии, Сергей Рашкевич, командуя карательными экспедициями, жестоко мстил крестьянам за раздел панской земли.

Но это еще не зенит.

Все еще молодой и стройный, но уже умудренный горьким опытом бегства с Украины вместе с гетманом, блестящим двором и своим покровителем Полтавцом-Остряницей, Рашкевич вернулся на украинские земли в новом обличье. Вот он — полковник петлюровской армии: сине-желтые петлицы со звездами, шапка — «мазепинка» с эмблемой князя галицкого Даниила, той самой формы, что носил гетман Мазепа, не иначе!

Во главе своих сичевых стрельцов, лихих ребят с трезубом на шапке, метался он по Украине, неся возмездие за порушенные помещичьи имения, за сожженные усадьбы, а пуще всего — за разделенную землю. Эх, золотые деньки! Мать родная — Директория! Вот это был зенит! Это было упоение местью. Это было заслуженно. Это было справедливо.

Но он не принадлежал к тем прожигателям жизни, для которых святая идея была только словами пышных тостов, вывеской, прикрытием. Он не был гулякой, который жил без оглядки, «свит за очи»!

Оглядывался, ох как оглядывался, размышлял, взвешивал, наблюдал, оценивал, рассчитывал... И просчитался!

И предательская память сохранила: с издевкой в народе пошло из уст в уста: «У вагони Директория, пид вагоном территория». Да, было и так. Штабной вагон изгнанников!

Впрочем, разве было падением в бездну, в бездонную пропасть бегство с петлюровскими вожаками? Да было ли падением эмигрантское существование на задворках Европы в Польше, с бывшими министрами бывшей «вильной Украины»?

Ведь самое серьезное и самое значительное и самое трудное в его жизни связано с человеком, открывшим ему новые возможности, приучившим к мысли, что именно он, Рашкевич, призван осуществить эти возможности.

Начальник петлюровской разведки генерал Змиенко не открыл Рашкевичу ничего нового. Но опытный политический разведчик, которого высоко ценил Симон Петлюра, смотрел далеко.

Поначалу с ужасом и презрением, по тогдашней наивности своей, слушал его Рашкевич. Вернуться на Украину к большевикам? Обосноваться, осесть на год? Два? Может быть, и больше? Жить их жизнью, да еще не просто жить, а работать на них, служить им...

Змиенко горько улыбался:

— Издержки большого дела, мой дорогой друг. Служить Украине должно в любом обличье, ничем не брезгуя. А большевики... Что ж, история знала узурпаторов, но ни один из них не был вечен.

И сумел вселить в Рашкевича самолюбивое сознание того, что не всякий, только такой, как он, может взвалить на себя этот крест. И понести его.

Нет худа без добра. То, что многие мелкобуржуазные интеллигенты искренне порывали с национализмом и переходили на рельсы Советской власти, искренне раскаивались в ошибках, искренне начинали новую жизнь,— это обстоятельство помогло Рашкевичу назваться именно таким человеком, жаждущим освободиться от груза прошлого, жаждущим строить новую, Советскую Украину.

И тут уже открылось перед Рашкевичем безграничное поле деятельности. Потому что, отдавая должное большевикам, увидел: размахиваются те широко. И не были бы фанатиками, то поняли бы тщету своих усилий. Но не понимают!

А теперь с этими колхозами...

Ну где, когда существовали колхозы? Не было их никогда, нигде. И не будет.

Так думал Рашкевич и это же внушал своим единомышленникам, которых выискивал и пестовал. Нелегкой была эта работа, потому что даже бывшие петлюровцы и гетманцы и украинские эсеры,— да что там говорить! — даже офицеры-галичане, которых привлекал он к своей работе, не были ведь отгорожены каменной стеной от жизни. Подвергались влиянию, и не уследишь, через кого: то жена подалась на советскую службу и набралась убогих мыслишек насчет роли женщины в революции; то детям вместе с красным галстуком на шее навязали утопические, сентиментальные мысли! Мало ли? И надо было очищать мозги и ковать характеры.

Великим достижением Рашкевича была эта его должность в Вукоопспилке, открывающая широкие возможности поездок по Украине, деловых встреч, вербовки своих людей...

Это была настоящая работа, это была настоящая деятельность. Он расставлял людей, и эта расстановка была труднее любой военной диспозиции, потому что производилась в стане врага. Он под носом у большевиков отдавал приказы, которые были сложнее приказов воинских, потому что требовалось прикрывать их документами совсем другого толка. Он требовал верности, которая не могла быть скреплена никакой присягой, и преданности, которая могла быть вознаграждена лишь в необозримом будущем...

При всем том люди его были как бы только связными и наставниками, потому что разведка держится на единицах, но политическое движение предусматривает человеческие множества. И есть, есть то множество, та главная сила, ее бы только поднять!.. Богатое крестьянство — единственная реальная сила в стране.

Это стратегия, то, что касается кампании в целом. А тактика?

Тактика была разработана детально: насаждать в руководстве колхозов настоящих хозяев, бывших петлюровцев, махновцев, и среди них есть ценные люди; разлагать, подкупать, спаивать «товарищей», «комнезамов», не все они твердокаменные! Срывать сев, хлебозаготовки, довести до голода. Всеми мерами запугивать крестьян, используя отсталость, неграмотность...

Пока большевики везде проведут свою ликвидацию неграмотности да обязательное начальное школьное обучение, их самих, большевиков, и духу не будет. Пока людей не выучили, не просветили, не развратили, создать в массах крестьянства твердое убеждение, что колхоз — это нищета, разорение и гибель.

А то, что колхозы — богопротивная, сатанинская затея, в этом убедит их мощная украинская автокефальная церковь, церковь, независимая от московского патриарха.

И женщин не забыть: они помогут! Вместе с просфорой принесут домой священную ненависть. Женщины всегда смелее мужчин, когда речь идет о защите семьи. Надо внушать, что колхозы — гибель семьи и очаг разврата!

Действовать! Действовать! Жечь хлеб, колхозное имущество, резать скот! Убивать коллективизаторов!..

Он не услышал робкого стука в дверь, пока она не скрипнула и голова секретарши не просунулась в нее...

— Сергей Платонович, мне можно идти?

— Да, да, конечно...— Рашкевич поднялся с дивана, окинул взглядом все еще статную фигуру Ольги в неизменном ее темном платье с белым воротничком: — Как ваши запорожцы, Ольга Ильинична?

Ольга просияла:

— В порядке, Сергей Платонович. Младший пойдет в школу этой осенью! Дожили!

— Дожили, дожили! — подхватил Рашкевич. И уж сколько они, понимая друг друга, вложили в это слово!

Дожили и доживут еще до таких событий!.. И этот меньшой — как повернется судьба его, когда скромнейшая его мать по заслугам будет оценена?.. Теми, кто умеет ценить верную службу.

— Поезжайте домой, Ольга Ильинична, я еще поработаю.

Рашкевич прошел в кабинет, плотно затворив за собой дверь комнаты, словно оставлял в ней все свои мысли, только что передуманные, все свои воспоминания и планы перед тем, как вернуться к рабочему столу, сегодняшним делам и заботам.

4

К станции Веселая Лопань поезд подошел в сумерках. Василю показалось, что вывеска на станционном здании та самая, которую он помнил с детских лет, когда гостил здесь у родственников. Он прошел через плохо выбеленный коридор и спустился по ступенькам на привокзальную площадь. За границей зеленых насаждений, называемых «посадками», которые выделяли полосу отчуждения железной дороги, открывалась совсем новая, самостоятельно существующая страна. И здесь уже не было и не могло быть ни расписания, ни порядка, ни системы, и даже самые эти слова звучали странно.

Нетрудно было догадаться, что в иное время здесь бушует стихия пригородного базара. Сейчас обширная площадь была пустынна, да и трудно было себе представить, что в могучих волнах весенней черноземной грязи можно передвигаться даже пешком. Однако в скудном свете привокзального фонаря различались две подводы, запряженные понурыми лошадьми, понапрасну, видимо, тыкающимися мордами в холщовые торбы, привязанные к хомутам.

Василь рассмотрел, что на одной из подвод стоят какие-то ящики, и, следовательно, теперь надо только выяснить, погружены эти ящики сейчас или, наоборот, подлежат разгрузке. В этом последнем случае у возницы могли бы появиться соображения насчет попутного пассажира, не возвращаться же порожняком! Василь подтянул голенища сапог и подошел поближе, приготовившись терпеливо ждать, полагая, что возчик вряд ли оставит надолго коня и подводу с грузом.

Действительно, через короткое время появился маленький мужичонка в сопровождении двух парней покрепче, которые, дружно крякнув, взвалили ящики на спину и направились к пакгаузу. А возница, застыв в задумчивой позе с клочком газетной бумаги в руке, другой шарил

в кармане ватника в поисках махорки столь же безуспешно, как лошадь в опустевшей торбе.

Тут и вырос, как из-под земли, рядом с ним ладный парубок в высоких сапогах, в кожаной куртке, однако же на комиссара вовсе не похожий. На испытанный взгляд деревенского хитреца и краснобая Юхима, не было в лице молодого незнакомца необходимой для всякого служебного лица «востроты». А что было? Нос прямой, черты мягкие, округлый подбородок...

«Неначе по культурной части,— решил Юхим,— нашел время дуроплясы разводить».

Углубляться в догадку Юхим не стал, потому что все знал точно наперед: парень будет договариваться везти его в Кривую Балку, нет ему другого пути, как в Кривую Балку, где есть сельбуд и в нем читальня. И поскольку Юхиму это по дороге — почему не подвезти человека?

А он, Юхим, будет дорогой курить «Сальву» и еще про запас возьмет. А за то расскажет про селянских дуроплясов. Уж тут-то он знает всю подноготную, поскольку младший его, Кузька,— главный дуропляс. С гармошкой. И от ихней Сосновки, почитай, каждую субботу чешет десять километров до Кривой Балки — о, дурень!

Приготовившись, таким образом, к полезной и интересной беседе, Юхим подгреб сено на подводе и заломил несусветную цену, ссылаясь и на грязь, которая была налицо, и на брод, которого вообще не существовало.

Парень улыбнулся, прыгнул на подводу и дал втрое меньше, на что Юхим охотно согласился, затягиваясь этой самой — хай ий грець: одын скус, а крепости нету! — «Сальвой».

Уже совсем стемнело. Дорога вилась по опушке, справа расстилалось поле, отсвечивающее в лунном свете, словно то было не поле, а озеро. Василю даже показалось, что в нем отражается слабо прорисованный лунный диск.

Юхима разбирало любопытство и стремление выска-

заться. С другой стороны, он знал, что к чему, и навязываться с расспросами считал неприличным. К тому же опять-таки точно знал: ну, еще минут пяток — и приезжий обязательно начнет задавать вопросы. Все задавали вопросы, даже финансовый инспектор. А финансы Юхим почитал самым важным делом в государстве, понимая их очень широко, и, например, на всякие просьбы жены и дочки о покупке чего-то в местной кооперации, отвечал: «На сей час немаю финансив».

Бюрократические обороты речи заворожили Юхима с того самого момента, когда вошли в обиход с первыми митингами и сходами в Сосновке, занесенные первыми агитаторами и всякого рода уполномоченными. Слова необычные, сроду не слыханные, новые и важные, как сама рабоче-крестьянская власть.

Юхим твердо верил, что эти слова — необходимые, что без них новая власть и не власть. Именно в окружении этих слов, приобщавших Сосновку к государственной жизни, возможно было ее возвышение и процветание, в которое тоже с первого дня уверовал Юхим. А что? Разве «старый прижим» не разворачивался в звоне и громе таких слов, как «самодержец», «тезоименитство», «престол». Звенящее кандальным звоном «полицейский» и громовитое «гра-до-началь-ник»...

Не зная грамоты, но обладая живым воображением, Юхим придавал особый смысл и характер словам. Точно знал, где слова не наши, чужие и даже опасные, а где — сулящие новую жизнь и новый интерес. И не мысля себе последнее вне оболочки словесных оборотов, с наслаждением собирал и пользовался ими. Так что, например, на простой вопрос: «В какой хате помещается сельсовет?» — отвечал с истинным удовольствием: «По правому порядку третья хата от сего числа»...

Так как спутник все еще молчал, Юхим, восседавший в вежливой позе вполоборота к нему, осведомился: как его

величать? Молодой человек ответил: «Василь Моргун», на что Юхим, подумав, заметил прочувствованно:

— Хорошее фамилие. А мое — Бабута, Юхим Бабута.

Считая неудобным задать прямой вопрос, зачем едет Василь Моргун в Кривую Балку, Юхим начал издалека:

— А вот к нам, в Сосновку, приезжал из району лектор. Дуже цикаво объяснял насчет звезд и планиды Марса. И будто в стародавние времена так считалося, что той Марс во всех войнах виноватый. А я такую думку маю, що и тоди богатии булы, що войны затевали ради своей, обратно, выгоды. И лектор теж саме казав.

Вот здесь-то и должен был приезжий задать вопрос насчет лекторов, часто ли ездят и чего говорят.

Но приезжий молчал. И это обеспокоило Юхима.

Как раз в это время полная мутноватая луна выкатилась из-за тучи, и Юхим, исподтишка взглянув на седока, как бы заново увидел его. Н-е-е, парню, пожалуй, под тридцать. Меж бровей складка и брови упорные, а подбородок хоть и мягкий, да рот сомкнутый, упрямый. «То не культосвита. Тут щось друге»,— решил Юхим, но не стал долго думать, а заключил с маху и на этот раз окончательно: «Насчет хлиба!»

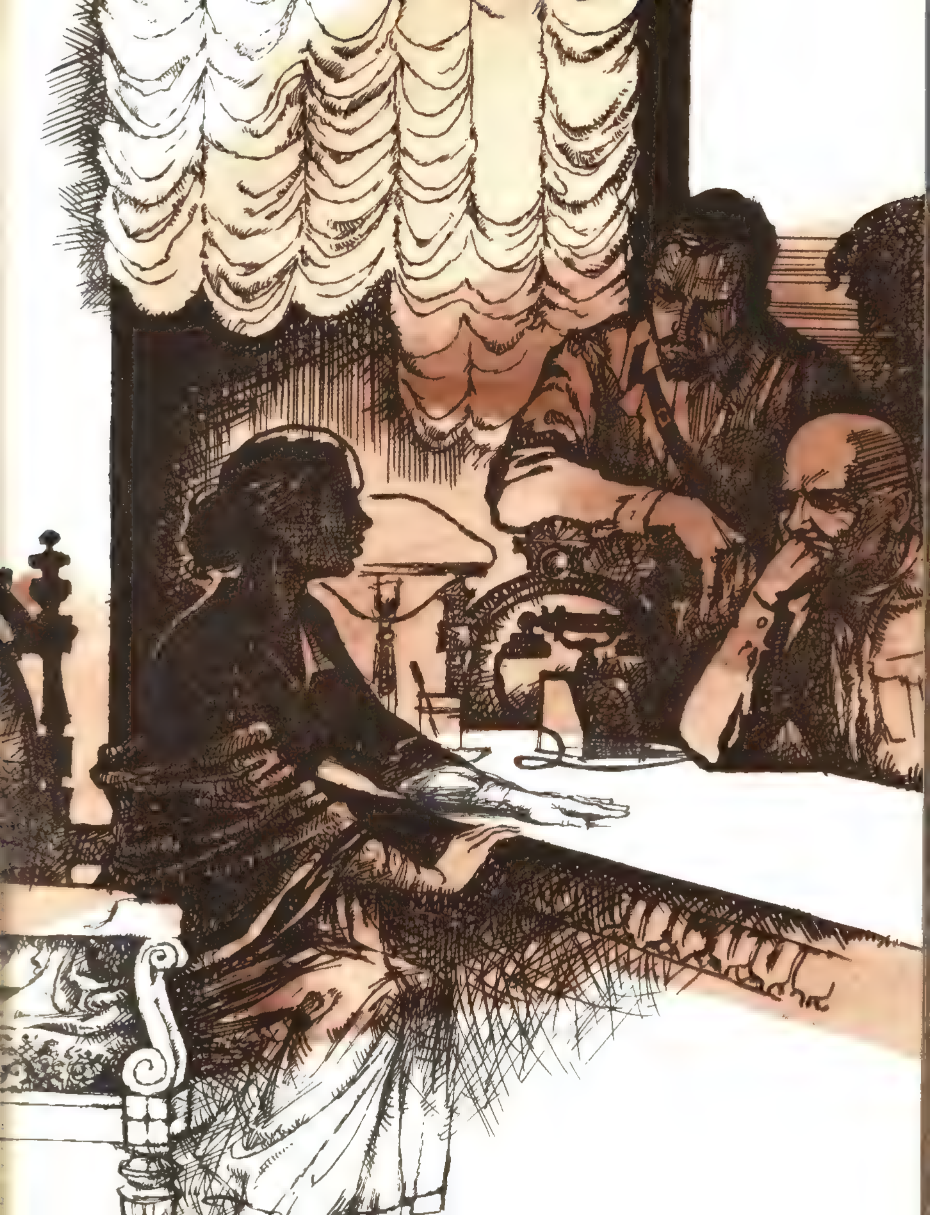
И додумать даже не успел, как приезжий спросил спокойно:

— А вы, дядько, в колхозе?

— В сельхозартели. Имени великого сына хранцузьского народа...— подъемно выговорил Юхим, передохнул и закончил: — Жана Поля — у их по двое имен — Марата!.. Состою в должности, заведую конями,— добавил он уже буднично.

— А велика ваша артель?

— Тридцать два двора,— охотно ответил Юхим, и теперь он уже знал точно, что следующим вопросом приезжего будет: а сколько всего дворов на селе? А также знал,



что парень произведет в уме вычитание и сделает свои выводы.

— А сколько всего дворов на селе? — спросил Василь.

— Да более сотни.

— И что же другие, не хотят или не уразумели?

Юхим оживился, как только пошел настоящий разговор:

— А чего тут разуметь? К примеру, взять Степана Вовчка! На черта ему сдалась та артель? Он куркуль, земли и хлеба завались, нащо ему з нами дилытысь?

— Ну не все же кулаки в вашей Сосновке?

— Звисно, що не вси, та каждый живе з оглядкой. Чи мало у нас бидняков, що в долгу как в шелку у того же Вовчка, от него зависимы: не дасть Вовчок в долг, как до весны протянут? А середни хозяева, те слухают, що Вовчок говорить, мол, разберет биднота все ваше хозяйство, все добро, увесь хлиб, увесь реманент, с чем останетесь? Государству не верьте, пустой брехней все обернется! Вот хозяева в селе боятся в артель вступать...

Подвода прыгала по ухабам, Юхим то и дело покрикивал на коня, и потому его реплики, казалось, вырываются из него, бессвязные, отрывистые и все же складывающиеся вместе.

А ночь уже вступила в свои права. Зябко стало Василю, и, слушая Юхима, он думал свое: о Софье, о ее брате, обо всей этой истории, в которой непонятным образом связались судьбы людей. И, думая, увидел перед собой тонкую фигуру, слегка согнутую, может быть даже от этого горя, от этого удара... И лицо, некрасивое, заплаканное, которое он не мог себе представить в хорошую минуту, будто эта совсем молодая девушка вовсе еще не имела хороших минут.

Такой он увидел ее в первый раз, еще не зная ее имени: она выходила из здания ЦК. При второй встрече, в кабинете Косиора, он услышал ее голос, уловил интона-

цию, в ней была смелость и решительность, которых не было в наружности. Но они-то более всего и говорили о самой ее сути. Он вспоминал всю сцену, которую запомнил, наверное, на всю жизнь, потому что видел Станислава Викентьевича впервые таким... Нет, не то чтобы он был разгневан тем, что открылось ему; не то чтобы новой показалась ему картина, встающая со слов Софьи. Выражение лица Косиора говорило: «Да как же было не предусмотреть? Не проанализировать? Не пошуровать за декорациями, чтобы найти истинных виновников?»

И Василь, переводя глаза с Косиора на Софью, понимал, что она в своем крайнем волнении боится надеяться, но уже знает, что обращение ее не напрасно, что она стоит у какого-то решительного перевала, за который еще не проникал взгляд, но ощущение его уже несло надежду...

— Во-о-о-он Кривая Балка,— показал кнутом Юхим.

Но Василь ничего не видел впереди в мареве лунной ночи.

— Собаки брешут,— сказал Юхим.

Но Василь и собачьего бреха не слышал. И опомнился только, когда конь остановился у околицы.

— Вас куда? До сельсовету?

— Я, пожалуй, пешком дойду. Прямо, что ли?

Василь рассчитался с Юхимом и зашагал по направлению, указанному им.

Телега прогрохотала уже вдалеке, а Василь все месил грязь, не видя конца дороге со светящимися, вроде бы уже в стороне, тусклыми огоньками.

«Верно, тут надо было где-то свернуть»,— с досадой подумал он и остановился, чтобы закурить.

Только он чиркнул зажигалкой, сзади раздался голос:

— Можно попользоваться?

Голос был молодой, вежливый. В свете малого пламечка Василь увидел толстогубое лицо парнишки. Тот прикурил и жадно затянулся, видно давно хотелось.

Василь спросил, как пройти в сельсовет.

— А я провожу,— готовно отозвался парень,— там как раз собрание идет... Насчет колхоза. Чтоб вступали.

Василь поблагодарил, и парень тотчас спросил с любопытством:

— А вы насчет покойницы, верно?

— Какой покойницы? — Василь подумал с тоской, что, чем дальше и глубже погружаешься в эти сельские истории, тем больше недоумений, да нет, каких «недоумений»! Тем больше страшных загадок, роковых совпадений, трудной целины, которую поднять — по силам ли им, горожанам, оторвавшимся давно от своеобразной, ни на что не похожей деревни, вздыбленной, разворошенной?.. И как и когда успокоится это взбаламученное море?

— Да учителки... что повесилась,— пояснил юноша.

Василь вздрогнул: не может быть! Ведь она ушла окрыленная... Почему? Нет, нет, не о ней речь!

— Да Софья же, Бойко,— продолжал провожатый, видя замешательство Василя.

Он как будто пытался как можно подробнее и основательнее сообщить ему деревенскую новость, которая почему-то так больно воспринимается приезжим. И потому продолжал:

— Софья Бойко, сеструха председателя, который арестованный сидит в районе... Повесилась, повесилась! В сарае. На поленницу поднялась. Льняную веревку на шею надела. И хоть бы слово кому сказала перед тем... Или написала, что, мол, люди, не думайте на кого-нибудь, я сама...

И только сейчас весь смысл сказанного полностью открылся Василю. Сдавленным голосом он спросил:

— Когда это случилось?

— Третьего дня. К вечеру и схоронили. Хорошо схоронили, не посмотрели, что сама на себя руки наложила. Народу было — почитай, вся деревня. Да что наша деревня,

из других поприходили, дети-то к ней в школу ходили со всей округи.

Василь подавленно молчал, и он продолжил:

— А батюшки вот не было. Руки сама на себя наложила — уже грех. На то, может, и не посмотрели бы, да безбожник был брат ее. Который арестованный в районе сидит. И сестра такая же. Нет, батюшки не было, а люди были, много людей...

Василь все еще молчал.

Он опять подумал, что обратил внимание на эту девушку еще до того, как впервые услышал ее имя. Почему? Что в ней было такое? В круглом лице, которое он даже как следует не рассмотрел? Не по-деревенски бледноватом, с исплаканными глазами. Волосы, небрежно связанные сзади узлом. И какая-то значительность в невысокой фигуре. В движениях, в быстрой твердой походке... Что-то такое было, что заставило его подумать мельком, но определенно: «По важному делу была».

И когда уже в кабинете Косиора он узнал, по какому делу приходила Бойко, и связал все с увиденной раньше девушкой, то подивился, что так все заметил и определил. А сейчас у него появилась странная мысль: «Это я потому так заметил и определил, что она была за три дня до смерти... До самоубийства».

Вдруг Василь почувствовал, нет, не разум подсказал ему, а чувство: не могло быть самоубийства!

Все изменилось для Василя с этой минуты. Он ехал, чтобы выяснить обстановку, чтобы восстановить справедливость в деле Федора Бойко. Но странный, необъяснимый конец его сестры все спутал, перемешал, заставлял по-новому думать, искать иного подхода.

По-новому он посмотрел на своего провожатого: в голосе парня слышалось сомнение... В чем?

Он не мог заставить себя расспрашивать, чтобы узнать больше. Отложил все: узнаю на месте, в сельсовете... И сра-

зу же перерешил и попросил парня довести его до Софьиного дома.

Тот как будто обрадовался:

— Так это мигом.

Похолодало. И уже не было снега, чтобы скрасить картину, укрыть дорогу в глубоких колеях, накатанных по грязи. Не было снега, чтобы присыпать растрепанные соломенные крыши, черные плетни, бугристое, сиротливое пространство огородов с сухими плетями картофеля и тыквы — картина запустения, усугубленная этим скупым, неверным светом снова спрятавшейся за тучами луны.

Провожатый Василя чем-то был взволнован. Да и то! Ведет в хату, где горе, где только что похоронили молодую девушку. Василь уже знал, что в хате жена арестованного Бойко — Варвара, с двумя детьми. И мать ее, нестарая еще, работящая. А дети — маленькие, Федору Бойко еще и тридцати нет.

Василь был готов вступить в этот мир горя, потерь, навстречу, может быть, причитаниям матери, плачу детей, отчаянию жены Федора. И все оказалось по-иному, тяжелее: не было ни слез, ни причитаний, даже дети молчали. Было какое-то тяжкое, безнадежное недоумение.

На Василя обратились с немым вопросом темные глаза председателевой жены: вероятно, это была последняя капля в той чаше горя, из которой пила она так долго.

Василь сказал, что приехал по заявлению Софьи Бойко в ЦК партии.

Варвара понимающе кивнула:

— Разобраться, значит.— В ее голосе прозвучала безнадежность.— Как же мы теперь, без нее?

— Я потом поговорю с вами. А сейчас попрошу вас пройти со мной туда, на место, где она...

— Не могу,— вдруг решительно сказала Варвара, и в эту минуту Василь почувствовал всю глубину ее горя. Она

добавила, чтобы скрасить свою резкость: — Возьмите ключ, Степа.— Она кивнула на провожатого Василя: — Он же сразу был, как ее нашли...

Вдвоем они прошли по доскам, проложенным по жидкой грязи, в глубь двора. Здесь и стоял сарай, в котором разыгралась трагедия девушки, которую Василь запомнил так ясно, несмотря на то, что видел ее считанные минуты.

Но до сих пор, хотя о самоубийстве уже говорилось много раз как о непреложном факте, Василь все-таки никак не прикладывал его к образу, удержанному памятью. А может быть, созданному воображением?

Все в сознании Василя протестовало против такого конца. И потому ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы войти в распахнутую дверь сарая. Его спутник зажег «летучую мышь» и повесил фонарь на гвоздь, вбитый для этой цели у притолоки.

Василь осмотрелся. Собственно, он не знал, зачем пришел сюда, что ему могло сказать само по себе пространство между четырьмя стенами, заполненное с одной стороны сеном, аккуратно придерживаемым жердями, с другой — разваленной поленницей сухих березовых дров.

— Вот эта поленница,— сказал Степа,— она в аккурат до стенки доходила,— вон, видите крюк, на нем верши висели. А поленницу уже потом развалили. А она, покойница, ногами только два полешка столкнула. И все.

Парень говорил спокойно, словно заученно. А между тем что-то подсказывало Василю: все внутри него клокочет. Может, он любил ее?..

— Как вы думаете,— спросил Василь,— что толкнуло Софью Бойко на самоубийство?

— Как что? — Парень проговорил сухо и опять же словно заученно.— То ж известно, брат за хищения сидит, а она, сестра, само собой, причастна. Испугалась, значит, что и ее потянут. Срама убоялась. И тюрьмы. Вот и...

Эти слова странно не вязались с выражением лица парня: тоскливым и выжидающим.

— Почему же так судишь? Словно знаешь точно. А покойница-то с тобой не делилась...

Парень жалко усмехнулся:

— Известно, не делилась. А только дело такое: разъяснили нам.

— Кто же так хорошо разъяснил?

— Да Осип, что за председателя, уж он-то знает! — И опять в тоне парня прозвучало что-то... Словно он сам не верил ни Осипу, ни обстоятельствам.

— И что же, он тебе это говорил?

Парень пожал плечами:

— Почему мне? Не мне на особицу. Всем так говорил.

И в эту минуту одна эта фраза, одно это упоминание о председателе убедило Василя в том, что смутно жило в нем с того мгновения, как он услышал о самоубийстве. И сейчас он испытывал даже некоторое облегчение от того, что все подтвердилось: председатель сам пустил версию о самоубийстве. И то, что поторопились похоронить, не выждав даже трехдневного срока, и то, что не вызвали следователя, как полагалось бы в случае самоубийства,— все ложилось одно к одному, все направляло мысли в одну сторону... И этот парень незаметно тянул к тому же, молча говорил: «Не верьте»...

Василь зашел в хату и, подумав, решил начать с разговора с Варварой Бойко. Он сам не знал, чего ждет от нее, ему только надо было совершенно точно выяснить, что предшествовало гибели Софьи.

Об этом могла сказать прежде всего Варвара. Ведь она была кровно заинтересована в результатах поездки Софьи в Харьков. Поэтому Софья должна была с ходу сообщить ей, удачна или неудачна ее поездка. Какие результаты имело заявление, которое несомненно обсуждалось ими совместно... Узнав это, надо было определить время само-

убийства. Убийства?.. Василь знал, что труп Софьи нашли только утром, когда он уже остыл. Почему так получилось?

Как это ни было тяжело, Варваре придется ответить на эти вопросы.

И если раньше Василь колебался, должен ли он проявлять мучительный для близких интерес, то сейчас уже не сомневался, что обязан это сделать. И убедила его в этом фраза парня о том, что «всем так говорил председатель».

Трудный разговор с Варварой был необходим хотя бы потому, что она думала так же, как Василь. В ее мыслях никак не укладывалось, что Софья могла прийти к такому концу, и именно после своей поездки в Харьков.

Эта мысль, более ясная у Варвары, чем у Василя, поскольку у нее она опиралась на факты ему неизвестные, а только предполагаемые, выражалась у Варвары не очень связно, но точно. Она припоминала выражения, в которых Софья передавала свои впечатления от такого значительного для всех их разговора, свои надежды: «Приедет человек от самой высокой власти, он разберется»... Это само по себе говорило о том, что будет «пересуд», что он обелит Федора Бойко. И это было главное, что привезла Софья из Харькова.

Они, Варвара с Софьей, почти до утра просидели вдвоем на кухне, и все шептались, и все говорили, как это будет.

— Она была веселая, когда ложились спать под утро. И потом весь день... Как раз воскресенье было, и она затеяла тесто. Мы пекли пироги, как на праздник. И правда, праздник был для всего нашего семейства. И дети спрашивали: «А какой праздник сегодня?» А Софья сказала: «Такой праздник, что отец скоро будет дома». Целый день Софья никуда не выходила. Вечером мы с мамой стали собираться спать. А Софья говорит: «Вы ложитесь, а я еще тетрадки буду читать, а потом дров нанесу из сарая». Она

каждый вечер заносила дрова на кухню, чтоб подсохли маленько около теплой печки. Раньше это всегда муж делал, а вот без него — так она...

Мы с мамой легли. Умаявшись, я сразу заснула. А проснулась, в хате холодно, и я поскорее, пока дети не встали, пошла на кухню. Смотрю: дров нету, ну, думаю, значит, Софью сморило вчера, еще спит. Только мне удивительно стало... Я заглянула за занавеску, где ее постель, а она не разобрана...

Варвара замолчала, глаза ее наполнились слезами, но она не дала им пролиться, сглотнула и продолжала:

— Ткнулась в дверь, а она не заперта: значит, думаю, где-то здесь она, может, с вечера дров не нанесла, а сейчас хватилась... Открыла я дверь, а ночью пороша высыпала, замела двор и порожки крылечка. А на них...— Варвара подняла глаза, ужас проступил в них, и озноб прошел по спине у Василя.— На них — ни следочка, одна белая пелена... Кинулась я в сарай. А она висит на том крюку, на веревке, что у нас в углу лежала: еще муж припас, ведро в колодезь опускать. Я к ней, а она уже захолодала. Не помню, как я выскочила, как кричала на всю деревню. Набежали люди... Вот и все.

— Значит, не похоже, чтобы Софья сама на себя руки наложила? — спросил Василь, хотя спрашивать было нечего.

Варвара пожала плечами:

— Вот так, как я вам рассказала, верьте, так все и было. Я и спрашиваю: с чего ей было лишать себя жизни в самый такой момент, когда нам забрезжило?..

— А что говорят в деревне об этом?

Лицо Варвары стало жестким:

— Что говорят? То, что председатель сказал, то и повторяют.

— А кто настоял, чтобы похороны в тот же день?

— Да трудно сказать, только думаю: председатель. Он

посылал к нам людей, мол, завтра-послезавтра лошади понадобятся, некого будет запрягать гроб везти.

Варвара поникла. Тихо сказала:

— А Федор-то, Федор! Он же еще ничего не знает. Каково ему? — И опять она удержала слезы, мельком оглянувшись на дверь. Василь понял, что она не плачет не потому, что нет слез, а потому, что думает о детях. И о муже, которому будет еще горше, чем ей.

И Василь сказал то, что уже твердо решил там, в сарае:

— Будет следствие. Если понадобится, выроем покойницу, не похоже, чтобы это было самоубийство.

Когда он вышел на крыльцо, то, к своему удивлению, увидел давешнего своего провожатого. Теперь он рассмотрел его как следует. Парню было лет семнадцать, и он вовсе не выглядел таким забитым, как это показалось поначалу. И было похоже, что в этой его формуле: «Все ясно растолковали» — что-то крылось. Может быть, сомнение, которое он таил и хотел зародить в приезжем.

— Давай, Степа, веди в сельсовет. Есть там еще кто?

— А как же! — неожиданно весело ответил Степа.— Там все. Насчет колхоза. С обеда сидят.

Около сельсовета толпились ребятишки. Они то засматривали в окна, возбужденно делясь наблюдениями, а то попросту баловались, затевая тут же, под окнами, «кучу малу» и бегая наперегонки вокруг.

Завидев незнакомого, они тотчас побежали ему навстречу, объясняя наперебой:

— От обеда сидят! От колхоза никак не откричатся! А вы, дяденька, тоже уполномоченный? Там уже есть один!

Отмахиваясь от них, Василь переступил порог. В махорочном дыму, как в облаках тумана, перед ним предстала внутренность хаты. Здесь собралось не менее пятидесяти человек. Несмотря на то что печь не топилась, было жарко как в бане. Однако мужики все сидели в верхней

одежде, держа шапки в руках, а женщины, даже не опустив платки на плечи. Этим как бы подчеркивалось, что некогда им здесь рассиживаться, что дома дел невпроворот. И торчат они тут от самого обеда не по своей воле, а по чьей-то дурости...

За столом президиума, освещенные стоящей на нем керосиновой лампой, сидели, как понял Василь, местные власти: председатели сельсовета, комнезама, колхоза. Среди них была женщина, немолодая, с изможденным крестьянским лицом.

Справа и несколько впереди стола президиума стоял молодой человек, одетый по-городскому, и с повадкой привычного оратора говорил:

— Ну что ж, дорогие граждане, я свою речь высказал. Опять же товарищ председатель уже в который раз обращается к вам: кто желает вступить в колхоз? Или имеет что сказать по этому делу? А я вот по часам смотрю: уже боле пяти часов сидим, друг на друга смотрим, в молчанку играем. Это как же понять, уважаемые граждане?

Человек говорил устало и все же с напором. Василю, которому не доводилось еще бывать на таких собраниях, очень удивительным показалось, что столько времени собравшиеся здесь люди сидят и молчат. Ничего не говорят и не расходятся. Он догадывался, что большинство собравшихся переживают мучительный разлад, силясь уяснить, где лежит их выгода. С одной стороны, это можно было понять: в головах людей трудно укладывалась мысль о том, что вот этот слабосильный, маленький колхоз, это еще не испытанное временем единство неимущих людей, безлошадных, безынвентарных незаможников, может привести к благосостоянию. Никто не мог себе уяснить, каким образом этого достигнуть. На другую чашу весов ложилась надежда. Эту надежду питало искони присущее трудящемуся крестьянину убеждение, что миром жить легче. И это убеждение подкреплялось доводами рассудка и пристальной

оглядкой вокруг. Советская власть дала землю, дает кредиты на приобретение инвентаря, помогает посевным материалом, тягловой силой, обещает трактора для совместной обработки земли. А с другой стороны — страшно! Тем голодранцам, что уже в колхозе, тем страшно не было: коня на колхозную конюшню не вести, ни сеялку, ни веялку на колхозный двор не закатывать, посевного зерна в колхозный амбар не ссыпать...

— Ну, того-этого, приведу я в колхоз своего коня, сеялку, веялку, два хороших плуга, того-этого, отдам посевной материал. А голодранец Сидор чего принесет? Хрена? Четырех, того-этого, едоков приведет? Как же тогда мы будем урожай делить? Неужто поровну? — наконец выговорил хмурого вида мужик, запинаясь на каждом слове и теребя в руках шапку.

Вдруг вскочил молодой еще, смуглый человек с цыганскими живыми глазами:

— А ты как хотел? Кому вершки, а кому корешки?

Сейчас же закричали с места. Уполномоченный поднял руку:

— Спокойно, товарищи! По труду делить будем. Кто сколько выработает, тот столько и получит.

— Так что же, ты на моем инвентаре будешь вырабатывать, а я что получу за это? — вскочил усевшийся уже было хмурый мужик.

— Темнота ты! Ведь та сеялка, веялка и плуг, они же не только для бедняка, но и на тебя работать будут. Ты на кого уповаешь со своей сеялкой, на бога? А тут государство дает кредиты,— устало говорил уполномоченный.— И за батраков государство вносит для паевого взноса в колхоз специальные фонды, чтобы они прокормить себя могли до нового урожая,— добавил он.

— А корову-то сведут на колхозный двор! Да и кур, кажуть, заберут в колхоз! А чем детей кормить будем? — послышался сварливый бабий голос.

— Ишь раскричалась! Ты-то чего? Твои дети уже с усами. А мои в люльке качаются! — подхватил другой.

— А тебе, голодранке, какое дело? У тебя сроду коровы не было, все по чужим хлевам побираешься!..

— Заберете коров, так и детей забирайте, сами их в колхозе кормите! — подступила к уполномоченному молодица.

Две бабы сцепились в драке.

— Граждане, граждане, тише! Давайте по делу,— надрывался одуревший от дыма и собственных речей уполномоченный.— А ты что как воды в рот набрал? — накинулся он на председателя.

Тот откашлялся, и впервые прозвучал его неожиданно высокий голос:

— А ну, мужики, бабы, помолчим. Зараз я скажу.

Постепенно установилась тишина.

Председатель, обегая хитроватым взглядом притихшие ряды, произнес негромко и убедительно:

— Граждане мужики и гражданки бабы, слыхали, что сказал товарищ уполномоченный: колхозы — дело добровольное, никто вас не неволит, кто хочет — записывайтесь, а кто не хочет — не надо!

Он улыбнулся, широко раскрыв щербатый рот, и развел руками. Минуту продолжалась тишина, и вдруг раздался громкий хохот. Кто-то первый поднялся и направился к двери. За ним потянулись остальные. Собрание растаяло, как не было его...

— Ось бачте, з якым народом треба працюваты,— сказал председатель колхоза, обращаясь к уполномоченному с хорошо наигранным возмущением.

— А я разгадал тебя,— медленно и хрипло сказал тот, с ненавистью глядя на него.

Василь вышел из правления вместе с уполномоченным.

— Видали, что делается? С таким председателем сам партбилет положишь! Ничего, я свое возьму! Я им такую

«добровольность» покажу, навеки запомнят! — Уполномоченный был злой и решительный.

Они зашли в чайную, где, кроме кипятку и окаменелостей в форме бубликов, ничего не было. Но Василь имел в сумке банку рыбных консервов, а уполномоченный вытащил из кармана пальто женины припасы.

Уполномоченного звали Леонтием Приходько, работал он в райцентре, в редакции газеты.

— Верите,— пожаловался он,— за неделю только одну ночь и ночевал дома. Зато,— он оживился,— у меня без промаха! Не добью до семидесяти процентов — не уеду.

— А как же?

— Вот завтра посмотрите. Запишутся все, как цуцики. Это я сначала такой добрый.

— Не перегнете ли? — усомнился Василь.

— В полном согласии с инструктажем! — самолюбиво ответил Леонтий.

Василь спросил, что он слышал о самоубийстве учительницы.

— Так ведь она сама, говорят, запуталась с деньгами... вместе с братом...

— А кто говорит-то?

— Да тот же председатель... Пусть он мне только пикнет завтра, я его прищучу! — снова вскипел Леонтий.

Они переночевали в избе у солдатки, которая за небольшую плату пускала на постой приезжих.

Леонтий ушел спозаранку, только стало развидняться. Утро было хмурое, безрадостное. Низко висели тяжелые тучи, но снега не было. Василь вышел во двор, толкнув кого-то дверью. Оказалось, вчерашний проводник его — Степа.

— Ты что здесь? — Василь вроде бы и удивился тому, что нашел его здесь. И в то же время где-то в глубине было чувство, что так и должно быть, что есть какая-то недоска-

занность между ними. А что именно, не угадывалось никак.

На окрик Василя, от неожиданности прозвучавший грубо, парень съежился, как от удара... «Да ведь он мальчишка совсем»,— подумал Василь и, словно это открытие что-то меняло в положении дел, решительно сказал:

— Ну, заходи, раз пришел.

На загнетке стоял, видно припасенный для постояльца, глечик с молоком и хлеб, завернутый в полотенце сурового полотна.

— Садись, поснидаем.

— Не. Я — дома...

— Ну, давай, давай. А потом я послушаю, что ты мне хочешь сказать.

— Я? — У Степы сделалось такое страдальческое лицо, что Василю стало ясно: сказать ему есть что, но он все еще не решил, что скажет.

— Ты, Степа, не бойся ничего. Некого тебе бояться, понял?

Степа поднял на него глаза. Это впервые он так прямо посмотрел Василю в лицо и ответил тихо и вразумительно:

— Она вот никого не боялась...

От этих слов Василю не по себе стало: был в них укор и опасение чего-то. Этот укор Василь принял как адресованный ему. Как не бояться, когда такая страшная жизнь тут, у себя, в родном селе!

Все это Василь услышал безошибочно за словами: «А она вот никого не боялась»,— и уже твердо знал, что стоит совсем близко у краешка тайны, что осталась между четырьмя стенами, там, где рассыпанная поленница... И, чувствуя, как струйка озноба проходит у него между лопатками, Василь щемяще подумал: «А каково же ему, ее ученику, может быть любимцу»... И, на мгновение войдя в его внутреннее «я», в его душу, вдруг понял больше: это же не ребенок, а юноша. Он любил ее, свою молодую учительницу, сам того не зная...

В водовороте этих мыслей, хотя еще ни слова не было сказано, он ощутил новую близость к этому парню, стоящему на пороге жизни и уже так жестоко ушибленному ею.

— Ты, Степочка, не горюй так. Будь мужчиной. В жизни много всякого. Всегда надо быть мужчиной!

Результат последовал неожиданный: Степа заплакал горькими и обильными слезами, как плачут дети. Василь ждал, пока он выплачется, сейчас юноша обернулся совсем мальцом: прежние догадки Василя начисто смылись этими детскими слезами.

И опять неожиданно Степа умолк, и что-то упрямое, даже мужское проступило в его лице, когда он сказал с силой, удивившей Василя:

— От як воно було...

Василь не спросил, зачем Степа шел за учительницей до самого дома, а потом еще ходил под ее окнами, хотя они были занавешены и ничего не видать, кроме силуэта знакомой фигуры, то возникавшего, то удалявшегося. И так прошло совсем немного времени: часов у Степы не было, но, кажется, не более чем минут двадцать. Откуда-то вывернулся Иван Бобыль. Не сам старый Бобыль, тоже Иван, а его сын, который в прошлом году на красную горку женился, но скоро прогнал жену и подался в город. И недавно воротился опять.

— Подошел он ко мне и говорит: «Ты чего здесь?» А я отвечаю: «Ничего, так просто». «Вали отсюда!» — говорит он и хватает меня за воротник. «Не трожь, я сам уйду»,— говорю и отхожу. Отошел, а сам схованся за деревьями, что у кузнецовой хаты. И гляжу, подходит к Ивану человек. Я смотрю...

И опять Василю стало ясно: Степа смотрел потому, что ожидал увидеть избранника Софьи... Но не мог заподозрить его в Иване. Это исключалось.

Но и тот незнакомый, который подошел к нему, тоже... Немолодой, бритый, с явственно видным даже вечером косым шрамом на щеке. Увидя его, Степа успокоился: никто из этих двоих не мог прийти сюда «на свиданку». Нет, здесь что-то другое было... Но Степу это уже не занимало, и он ушел домой.

Василь понимал состояние парня.

Он понял и другое: что должен оставаться в Кривой Балке, пока не выяснятся досконально обстоятельства смерти Софьи Бойко. Он телеграфировал обо всем в Харьков, а сам занялся тем, что, казалось ему, он должен сделать до приезда следователя и экспертов. Он думал, что именно они скажут решающее слово. Он знал, что по характеру так называемой странгуляционной борозды на шее повешенного эксперты могут безошибочно определить, имеет ли место самоубийство или преступление.

Думать обо всем этом в связи с Софьей было мучительно, но необходимо.

И, ожидая приезда людей, которые скажут точно об этом, Василь для себя, в своей душе, уже вынес приговор кому-то пока неизвестному, но он верил, что убийца будет найден.

И не хотел сидеть сложа руки: прежде всего, казалось ему, он должен выяснить каждый шаг Софьи после ее возвращения из Харькова.

Конечно, Варвара уже достаточно ясно подвела его к решению. И все же он хотел еще каких-то доказательств. И получил их.

Оказалось, что Софья в короткий промежуток времени после приезда из Харькова встретилась со своей подругой Клавдией. Встреча была мимолетной, накоротке, у колодца. Но Клавдия бесхитростно передала настроение Софьи: «Вона була весела, повна надии. Це точно, бо вона дизналася, що брат скоро буде дома».

Потом Василь говорил со многими людьми для того, чтобы яснее выявить настроение Софьи. И все это укрепляло его предположения.

А затем приехал хорошо знакомый ему следователь Лавренюк с экспертами-криминалистами. И Василю пришлось принимать участие и в эксгумации — этим научным словом определялось отрытие трупа для исследования. И Василь это прошел во имя тех нескольких строк, в которых экспертиза безоговорочно определила свое заключение о том, что имело место убийство, что жертва была задушена, а затем последовала инсценировка самоубийства.

Предстояло детальное и длительное следствие.

Неожиданно делу был дан новый поворот: исчез из села молодой Иван Бобыль. Стало ясно, что он причастен к убийству. Но следы его не отыскались...

Уже было пересмотрено дело Федора Бойко, и он вернулся к семье. Вернулся и на работу. Василь никогда не видел его, но представлял его себе похожим на сестру. И думал, что когда-нибудь судьба сведет его с Федором. Он думал так потому, что чувствовал: Софья Бойко не скоро перестанет жить в его памяти. А может быть, и никогда не перестанет.

5

— Не взят старт! Не взят, как должно, старт,— повторил Косиор. Он помолчал секунду, в которую у него возникло представление иного ряда: спортивного. Когда решал вот этот миг броска, отделение от исходной позиции. Решающее в соревновании. Здесь шло соревнование глобального порядка. Скромный харьковский пригород Лосево привлекал взгляды не только друзей, но и врагов. Без преувеличения — всего мира.

— Почему я говорю о старте? Когда стоит такая грандиозная и небывалая задача: постройка Тракторного заво-

да... с такой мощностью: пятьдесят тысяч тракторов в год... В такой срок: полтора года.... тогда вопрос о темпах становится кардинальным. И момент старта — решающим. Я говорю об этом потому, что старт Тракторостроя затянулся. И так как понятие старта в данном случае сложное — в него входят многие элементы,— то следует и дифференцированно судить обо всем, что вызывает опасения... Я прошу у товарищей прощения за то, что буду излагать эти опасения, не выстроив их в порядке их значительности, а в том, в каком они у меня возникали...

Косиор своим характерным жестом горизонтально провел рукой по воздуху, как бы подводя итог.

Несмотря на открытые окна, в зале было душно и неспокойно, как обычно бывает на таких совещаниях, где собираются представители разных отраслей промышленности и ведомств. Люди расположились «кустами», и отчетливо просматривалось, как реагируют на слова оратора в том или другом «кусте».

Внутри общего вопроса о положении Тракторостроя существовало много других — конкретных. Они и вызывали волнение то в одном, то в другом углу зала.

Секретарь ЦК выезжал на строительство Тракторного столь часто, что приезды его и встречи с людьми принимались там как явление обычное. Совещания, наоборот, были редки.

Задумавшись об этом, Евгений Малых решил, что, пожалуй, это — в стиле работы Косиора, поскольку он всегда предпочитал решать вопросы на месте и немедля. Одновременно накапливались мысли, входившие уже в какие-то обобщения. И последние становились предметом рассмотрения совещаний или конференций. Сейчас Евгений отчетливо видел, какие именно наблюдения и выводы легли в основание речи Косиора. Весьма разнообразные, эти выводы касались в общем одного: как выполняются партийные директивы об оказании помощи Тракторострою.

...Впереди по шоссе двигался грузовик со строительным материалом, и водитель ловчился обогнать его по накатанному уже краю кювета. Но Косиор остановил его, приказав ехать следом за грузовиком. Евгений понял, что он хочет проследить путь машины с грузом к строительной площадке Тракторного.

И тотчас вспомнил жалобы на неритмичность грузопотока к стройке из-за простоев автотранспорта в пути. Евгений удивился тогда: какие могут быть путевые задержки? В своих частых поездках с Косиором на Тракторострой он не отмечал никаких помех.

Сейчас, когда их легковушка валко двигалась в хвосте грузовика, дело обернулось по-другому. Встречные машины то и дело заставляли грузовик замедлять ход и прижиматься к обочине. Происходило это на тех участках дороги, где велись работы по ремонту шоссе.

Дорожная бригада в такие моменты прекращала ремонт, охотно оторвавшись от грунта, рабочие выпрямлялись и дружно принимали участие в судьбе притормозившего грузовика.

Кое-где, заметив легковую машину, по всей видимости «с начальством», бригадир подавал знак продолжать работу, делая вид, что не замечает маневров легковушки.

На одной из вынужденных остановок грузовика Косиор вышел из машины. Евгений последовал за ним.

Руководящий работой на шоссе плотный человек в выгоревшей на солнце спецовке скинул кепку, узнав секретаря ЦК.

— Здравствуйте, Станислав Викентьевич! — Он улыбнулся как знакомому.

И действительно, Косиор сразу вспомнил:

— Сдается, Смирнов-второй?

— Так точно, товарищ секретарь. Вспомнили?

— А как же! «Война за бетон»! А тут каким образом оказались?

— Дирекция заводская распорядилась — с глаз долой! — скучно сказал Смирнов.

Они отошли в сторону и остановились. На глинистом взгорке при дороге Косиор раскурил трубку, а Смирнов затянулся самокруткой, деликатно выпуская в сторону дым.

— Значит, переквалифицировались на дорожного мастера, товарищ Смирнов? — спросил Косиор с иронической интонацией.

Тот ответил резко:

— Тут о квалификации уж говорить нечего! Это же...— Смирнов повел рукой в сторону своих рабочих: — Видите, медленно поспешают...

— Ну, темп от вас зависит.

Евгений подумал, что Косиор ждет от Смирнова чего-то, каких-то нужных ему слов.

— Мартышкин труд! — сказал Смирнов и даже отвернулся от вида своей бригады, копающейся на шоссе.

— Я тоже так думаю,— сказал Косиор.

По лицу Смирнова скользнула усмешка, и сейчас стало видно, какое это энергичное и умное лицо. С горячностью он пояснил:

— Я почему так сужу, Станислав Викентьевич? Замерьте рулеткой ширину шоссе на этом повороте, возможно беспрепятственное движение грузопотока? Да ни в коем разе.

Он хотел продолжить, но Косиор перебил его:

— Это без всяких замеров видно. Какие же выводы, товарищ Смирнов?

Тот пожал плечами:

— Выводы начальство делает,— уже погаснув, вяло заметил он.

— Я вас другим знал, товарищ Смирнов. Борцом, коммунистом.

Косиор не докончил, собеседник его с маху набросил на бритую голову кепку, которую держал в руках, словно

желая за низко надвинутым ее козырьком скрыть свой взгляд. Но все равно было видно, что лицо его сложилось в болезненную и яростную одновременно гримасу.

— Исключили меня. Из партии исключили,— повторил он не горестно, а ожесточенно и вместе с тем как бы с удивлением, как человек, до конца еще не поверивший в случившееся.

Евгений увидел, как расширились глаза Косиора и в их светлой голубизне что-то холодно сверкнуло.

— Это что же? — тихо спросил он.— По тем же делам? За бетон?

— Ясно — за бетон, а записали так: «За беспринципную склоку!» — Он горько добавил: — Вы говорите, товарищ Косиор, знали меня борцом. Разве ж я не за принцип как раз и боролся? За рабочий принцип. Чтоб производительность повысить. От веку бетон замешивают не торопясь. Так-то было хорошо, покуда торопиться было не к чему. А когда я со своими ребятами показал, как можно ускорить... тут и началось! Да вы это все знаете, Станислав Викентьевич.

— Значит, не все знаю, о вашем исключении не знал,— с нажимом сказал Косиор.— Обжаловали?

— Нет,— вздохнул Смирнов,— так все подвели...— Он с внезапным порывом подвинулся ближе к Косиору, что-то озорное и, видно, свойственное ему проявилось в его взгляде, когда он сказал: — Я, конечно, дал жизни инженерику тому, если помните, что все показывал мне формулы... из учебников. Вот и подвели под склоку... Эх!

Грузовик на дороге, качнувшись, сдвинулся. И, уже спускаясь к машине, Смирнов продолжил:

— Не иначе, обратно в «беспринципную склоку» встряну. Стоит тут шоссе латать? Вы думаете, они как мухи сонные тут копошатся, потому что лодыри? Не-ет. А потому, что дéла тут не будет. Смотрите, как шоссе закругляется. Все равно будут выбоины.

— А вы что предлагаете?

— Я ничего не предлагаю. Мне это не положено... А предложил бы, если бы меня спросили: тришкин кафтан этот забросить, а шоссе расширять. И рельеф местности разрешает.

Косиор сосредоточенно смотрел на дорогу и даже снова поднялся на взгорок, чтобы увидеть дальше.

— Согласны, Станислав Викентьевич? — спросил Смирнов. Сквозь его напускное равнодушие Косиор уловил надежду.

— Нет. Не согласен. Масштаб стройки другого требует: нового шоссе. И оно будет проложено. Впрочем, может быть, это не исключит расширения старого. Тут уж специалисты свое слово скажут... Кто ваше партийное дело решал?

— Заводской партком.

— И больше вы никуда не писали?

— Духу не хватило, товарищ Косиор.

— Я вас очень хорошо помню, товарищ Смирнов,— сказал Косиор, глядя в глаза затуманившемуся человеку.— И вмешаюсь в партийный ваш конфликт... Только духа терять не надо. Вам — особенно. Вам — особенно! — повторил он, вкладывая какой-то понятный им обоим смысл в эти слова, и протянул Смирнову руку.

Тот не нашел что сказать, смотрел вслед машине, по приказу Косиора выбирающейся в обгон грузовика.

Водитель уже успел протереть смотровое стекло, и сейчас быстро побежала под колеса асфальтовая лента шоссе.

Косиор долго молчал, потом спросил у Евгения:

— Вы помните это бетонное дело?

— Вспомнил, Смирнов ведь тогда бригадиром был...

Косиор перебил:

— Вот его сейчас и надо — на Тракторострой. Там, на фронте работ другого масштаба, там виднее будет: чем крупнее цель, тем виднее...

Они молчали всю дорогу, пока машина не достигла границы строительного участка. Она обозначалась нагромождениями теса, кирпича, то бесформенными, то уложенными в штабеля, перемежающимися насыпными холмами песка и глины. Эта картина разворачивалась широко, обнаруживая в перспективе незаконченное строительство рабочих бараков. Отсюда не было видно, а только угадывалось движение вокруг них.

Представление о непрерывном движении складывалось при взгляде в сторону станции, откуда тянулись подводы с грузами и долетал смешанный гул человеческих голосов.

Косиор остановил машину, сказав водителю, чтобы он ехал к бараку, где помещалась дирекция.

— А мы пройдем по территории,— он скользнул взглядом по высоким сапогам Евгения. Хромовые головки косиоровских сапог погрузились в глинистое месиво дороги.

В этот раз Косиор интересовался снабжением бурно растущего рабочего населения стройки. В прошлый приезд выяснилось, что работали только шесть торговых точек, и то не на полную мощность. Сейчас торговля вроде оживилась.

Они завернули в промтоварный магазин харьковской рабочей кооперации. Внешний вид — ассортимент товаров на полках — производил благоприятное впечатление.

— Кажется, научились...— бегло заметил Косиор,— посмотрим поближе.

Женщины осаждали прилавок с мануфактурой. Нетрудно было определить, что это вчерашние жительницы деревни, завороженные открывшимся им ситцевым разнообразием.

— Из чего видно, сколько мы недодаем селу...— сказал Косиор.

Они прошли по длинному помещению магазина, бойко и без заторов торгующего, в обычном шуме людного места,

пронизанном негромкими звоночками кассы, всплесками смеха и восклицаний.

Это был, по существу, упорядоченный и организованный украинский базар с его контрастными красками, гармонией народных цветосочетаний и форм, яркими ситцевыми волнами по прилавкам, украинскими орнаментами посуды. Но всего этого было мало, слишком мало... Скромная выставка сапог, башмаков и тапочек вызывала мысль о тысячах ног, топчущих землю стройки, и мизерности предложения.

Между тем толпа потенциальных покупателей кружилась вокруг.

Евгений не мог удержаться от восклицания:

— Картина безотрадная! Какая бедность предложения при таком спросе.

Косиор ответил:

— До изобилия далеко, но оно будет. И скоро! На сегодня и это — достижение.

Они прошли дальше к полкам детских товаров: пальтишки и костюмчики выглядели удручающе однообразно, все темных тонов и грубо сработанные.

Косиор огорчился:

— Такое впечатление, что все это — плод убогой фантазии людей, которые ни своих детей не имеют, ни на чужих не заглядываются.

Выйдя из магазина, они пересекли площадь, похожую одновременно и на деревенскую, перед каким-нибудь сельбудынком, и на городскую, поскольку она была огромна и частично асфальтирована. Островок асфальта вонзался в буйный разлив весенней грязи на другом берегу пустыря, где маячила вывеска хлебного ларька.

Когда они подошли ближе, женщины в небольшой очереди притихли. Не потому, что узнали секретаря ЦК, это было видно, а просто из своеобразного патриотизма, побуждавшего не выносить сор из избы перед явно приезжими

людьми. Но шустрая молодая продавщица, уловив движение очереди, высунула из окошка голову в белой марлевой косынке и закричала высоким звонким голосом:

— Здравствуйте, товарищ Косиор!

Он ответил на приветствие, приблизившись, но и сейчас не узнавал эту веселую дивчину в синем халате.

— Не вспоминаю,— улыбаясь, сказал он, глядя, как быстро и ловко продолжает она отпускать товар.

— Как же вам вспомнить? Нас, наверно, больше тысячи было, в цирке Миссури. Мы же тогда добровольцами записались на Тракторострой, вы нам такие слова говорили: про мировую стройку, про почет... Только мы шли строить, а не торговать.

— А подруги ваши строят?

— Они-то строят... А я уж и плакала, и ругалась, куда там!

Услышав слова продавщицы, женщина, принимавшая у нее из рук связку баранок, заметила:

— Вы, товарищ начальник, Настю не трожьте. А то поставят хлибом торговать або якесь мурло, або ворюгу, а Настя и дивчина акуратна и нарид привичае.

— А почему торгуете черствым хлебом? — спросил Косиор, мигом усмотрев половинку серой буханки, нырнувшую в сумку покупательницы.

— Мы и забыли, когда свежий ели! — подала голос одна из женщин.

Как будто это был сигнал, из очереди, заметно удлинившейся, закричали:

— Що це за дило, щодня вертаеш до дому, а в торби — не хлиб, а полино!

— Бачили очи, що купували,— ижте, хоч повилазьте,— уточнил кто-то.

— А вы, женщины, видите, вон кирпич привезли. Знаете, что это строить будут?

— Да тут много чего строят. Разве все узнаешь?

— Будет там хлебопекарня. А Настю, если отбиваться не будет, поставим заведующей,— уже отходя, проговорил Косиор.

Они зашли еще в столовую, где запах сырой штукатурки смешивался с ароматами жареного лука и кислой капусты, но приятное тепло шло от круглых железных печей. На окошках стояли горшки с цветами, в помещении было чисто, готовились к приему посетителей.

Столовая только что открылась, и тут же оказался заведующий отделом рабочего снабжения, который, узнав приехавших, настоятельно обратился к ним:

— Прошу, снимите пробу, товарищ Косиор! В стенгазету напишу, что вы сегодня первый обедали у нас.— Толстяк снабженец прямо-таки жаждал похвал. Действительно, украинский борщ того заслуживал. Но меню было бедное.

— У вас кислой капустой пахнет,— сказал Косиор,— а где капуста?

— Имеется. Вон в бочке. Подаем ко второму. И капусту, и соленые огурцы завезли,— обрадовался снабженец.

Когда они выходили из столовой, к ним подбежала молодая румяная женщина, разбрызгивая грязь резиновыми сапогами.

Она запыхалась, на ходу поправляя волосы, выбившиеся из-под платка. Ее городское пальто тоже было все в грязи.

Косиор поспешил поздороваться первым:

— Здравствуйте, доктор, я все равно зашел бы к вам. У вас что-нибудь случилось?

— Каждый день случается! Очень прошу ко мне...

Они прошли в уже знакомый им деревянный дом, выстроенный одним из первых специально для медпункта. Несмотря на то что само помещение было временным — строились больница и поликлиника,— здесь царила атмо-

сфера обжитого и ухоженного места. В крошечном кабинетике, выгороженном из приемного покоя, врач тотчас же показала график движения больничного транспорта.

— Вы смотрите: хорошо, дали санитарный транспорт, а дороги где? Мы же вынуждены в каждом серьезном случае отправлять больного в Харьков, так? Травмы — каждый день! А санитарная машина за сутки обернется, дай бог, два раза.

— Это можно себе представить. Сейчас только наблюдали движение грузовиков. Слушайте, доктор, а если наладить железнодорожным транспортом, а? Закрепить за вами места. Это выход на первое время?

— Пожалуй, но главное — наладить движение машин. Ведь что происходит? — чуть не плача говорила женщина: — Я со всей заботой в прекрасную санитарную машину укладываю больного с тяжкой травмой, а его всего перетрясут на ухабах, шоссе-то попорчено.

— Товарищ Силина! Я этот вопрос поставлю в первую очередь, одновременно с прокладкой нового шоссе будет срочно, большими силами восстанавливаться старое,— ответил Косиор.— Вам послан вагон больничного оборудования.

Силина наконец улыбнулась:

— Вчера разгрузили... Только там чуть не половина — для родильного дома.

Все засмеялись.

— Пригодится вам, не сомневайтесь, народ молодой, а поселится прочно,— сказал Косиор, прощаясь...

Впечатления этой последней поездки представали сейчас, в ходе речи и реплик Косиора, в обобщенном виде, но смысл заседания открывался отнюдь не в подведении итогов сделанного: это давало бы некий успокоительный тон. Заседание же протекало бурно, в столкновении взаимных претензий, а они вызывались и обострялись тем, что Косиор

вытаскивал на свет нерешенные вопросы старта как раз на их стыках, в их взаимозависимости.

Обсуждение сфокусировалось на главном требовании: вывести из прорыва строительство основных производственных корпусов.

«Что мешает?» — звучало в каждой реплике Косиора. Он требовал от собравшихся: давайте честный и исчерпывающий ответ. Но тут же и сам выдвигал свои соображения.

Может ли быть решена задача при такой низкой производительности труда? Тут оглашались данные...

Из чего же складываются причины этого отставания? Выявлялась одна из них, опять же оглашались цифры — массовые опаздывания на работу. Почему они происходят? Например: неупорядоченность работы транспорта, подвозящего рабочих на стройку. Те самые «дачи» — пригородные поезда, выбрасывающие тысячи людей к рабочему месту. Выбрасывать-то они выбрасывают, но совсем не тогда, когда надо! Что, у нас тягловой силы не хватает? Вагонное хозяйство в упадке? Да нет же! Дело опять-таки в организации. И не надо долго присматриваться, чтобы выяснить: расписание рабочих поездов и не подумали приспособить к потребностям стройки!

Так что же это, не в нашей власти его приспособить?

Мы не умеем использовать данную нам власть, не умеем — или ленимся? — использовать преимущества планового хозяйства. Все же в наших руках. Все возможности увязки, организации такого движения, при котором не отрывалось бы ни одно звено. И такой незначительный, можно сказать, канцелярский узел — расписание — тормозит ритм стройки...

Но это один из многих фактов. Есть не менее вопиющий. Нет свободы грузопотоку к строительной площадке! Та животворящая река, которая должна питать стройку, уходит в песок. Каким образом? Наипростейшим. От стан-

ции на строительную площадку проложены железнодорожные пути. Они вполне могут обеспечить подвоз грузов. Но они ровным счетом ничего не обеспечивают, будучи не более как декорацией... А что такое недействующая линия? Это глохнущая линия. Это картина разорения, неухоженные пути превращаются в свою противоположность — в бездорожье.

Но самое главное: почему же они глохнут, а не работают?

Потому что для ввода их в эксплуатацию надо переставить стрелки на станции. И эта, по существу, в общем масштабе, незначительная операция и послужила причиной безотрадной картины, знакомой каждому из вас... По весенней грязи тянется гужевой транспорт, словно это не наипередовая стройка социалистического государства, а возведение пирамид во времена фараонов...

Однако копнем чуть глубже: что же мешает привести в соответствие с требованием строительства злосчастные стрелки? Мешает... согласование! Согласование, которое уходит к таким «высотам», как правление Южной дороги. Неделями решается вопрос. Ну а кто персонально придерживает мощной рукой поворот решающей стрелки, мы тоже сейчас узнаем...

Каждое имя, произнесенное в этой связи, вызывает новый взрыв эмоций слушателей.

Заседание не было «выстроено». Возникающие то и дело реплики с мест вводились в общее русло обсуждения почти незаметным нажимом, всякий раз ставящим точку, когда взаимные претензии уводили от основного вопроса. Поэтому в кажущемся нагромождении вопросов совещания все явственнее открывался железный стержень его организации.

Когда Станислав Викентьевич вернулся к себе в кабинет, секретарь доложил, что звонил товарищ Карлсон.

Косиор провел рукой по лицу, словно снимая усталость:

— Попросите товарища Карлсона приехать.

Он откинулся на спинку кресла, расслабился перед тем, как войти в круг новых вопросов, уже подготовленных работой его мысли, которую он как-то сам шутя назвал «мыслью-многостаночницей».

Карлсон еще и порога кабинета не переступил, как ощутил глубинное настроение Косиора.

Среди множества разнообразных государственных дел не было сейчас более важного, чем подготовка к севу.

И не было дела более срочного, потому что в самые ближайшие весенние дни следовало обеспечить сев уже в основном силами колхозов.

Что речь пойдет именно об этом, Карлсон понял бы, если бы даже и не видел на столе секретаря ЦК последней сводки об обеспеченности семенами, о ремонте колхозного инвентаря, о готовности к севу по всем округам Украины. Сводка была ему хорошо знакома. Неутешительный итог Карлсон держал в памяти: плохо шла засыпка семенного фонда.

В свою очередь, понимая осведомленность собеседника, Косиор как бы продолжил невысказанную мысль: сокращается посевная площадь, не стимулируется заинтересованность крестьян работой в колхозе...

— Со всех сторон слышу о нехватке товаров для села, какая-то вялость и запутанность товарооборота, если не сказать паралич,— проговорил он быстро и запальчиво.— Куда деваются товары, предназначенные для села? Что это?.. Наше неумение маневрировать? Или злая воля? Чья? Кулака, спекулянта, перекупщика? Где наша кооперация, которая должна же доходить без препятствий, без всяких препятствий до деревенского потребителя?..

Станислав Викентьевич говорил горячо и нервно. Набросав вопросы, он заходил по комнате и, не дождавшись ответа, сказал:

— Я собираюсь выступить на Пленуме ЦК, хочу предварительно послушать ваши соображения. Вам передавали, по какому вопросу я пригласил вас?

Карлсон слабо улыбнулся. Он улыбался редко, и это меняло его лицо. На нем проступали мягкость и легкая ирония, вообще-то ему не свойственные.

— Если бы и не сказали, Станислав Викентьевич, нетрудно было догадаться, что именно вас интересует. Весь наш аппарат нацелен на вскрытие причин, тормозящих сев...

— Срывающих, срывающих сев! — нетерпеливо прервал Косиор.

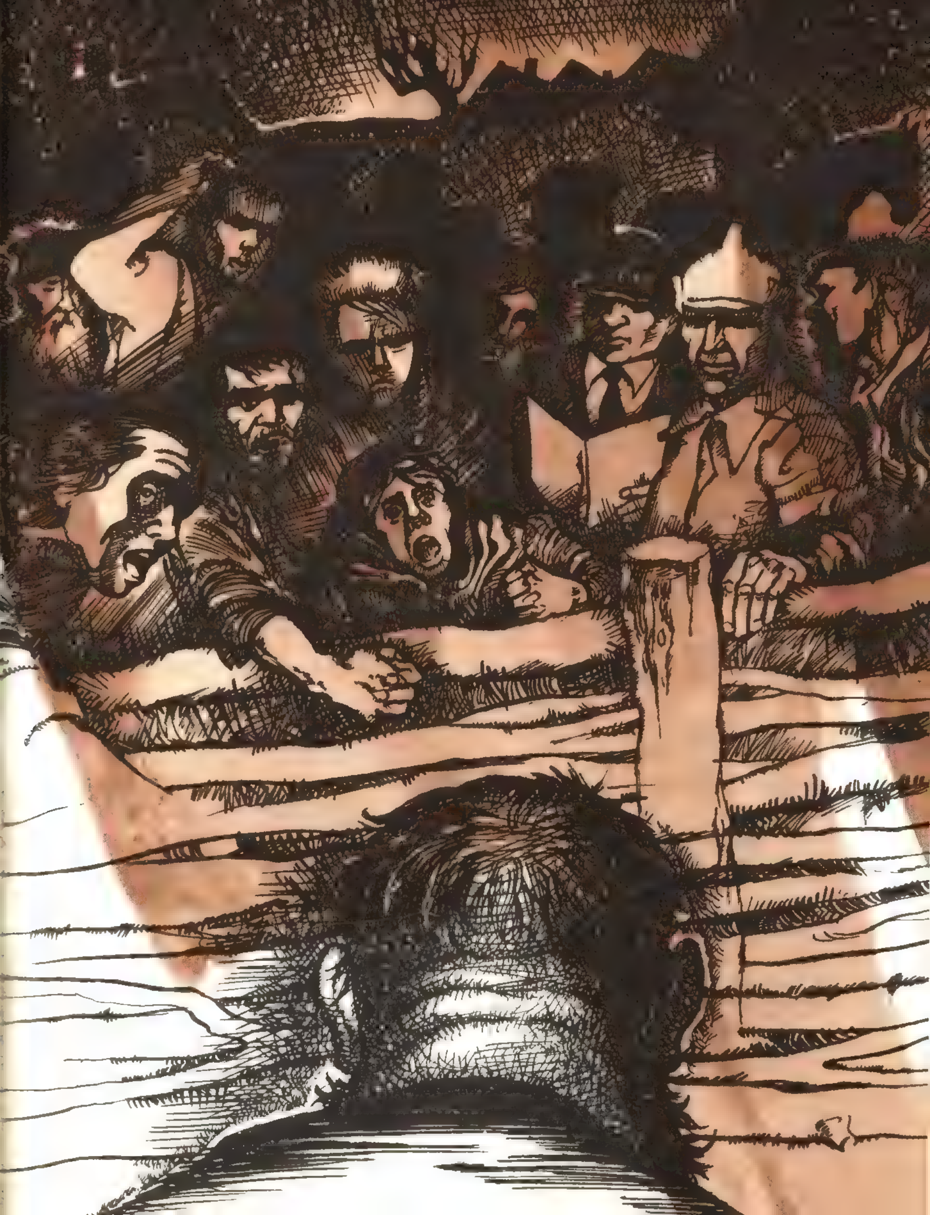
— В отдельных местах и срывающих.

— Слишком много таких мест, Карл Мартынович. В том-то и дело, что явление это не локальное.

— Так,— согласился Карлсон.— Вот что получается по нашим данным: помимо причин местных, а эти причины весьма разнообразны, я сейчас о них говорить не буду, есть причины общие. Мы начали свой анализ с глубокой периферии, исследуя состояние кооперативной торговли на местах. Вскрылись некие общие явления. Мы обратили внимание на одно из них: нет товаров! У крестьянина нет уверенности, что, когда он снимет урожай, он сможет получить за него нужные ему товары. Он так рассуждает — у нас в деревне большая нехватка во всем: и в обуви, и в одежде, и в сельскохозяйственном инвентаре, в косах, в пилах. Где это все взять? А между тем не только в деревне, но и в райцентре полки магазинов пустые или, того хуже, забиты вовсе не нужными деревне товарами. Словно назло. Вот и задумывается крестьянин: «Ну по осени продам я хлеб, получу деньги, а во что они превратятся? В прах!»

— Это что же, нерасторопность, леность кооперации?

— К сожалению, Станислав Викентьевич, не только это. Мы проследили путь товаров, предназначенных для



деревни. Как правило, они застревают в городах. При этом поразительным образом не учитывается сезонность товаров. Мало того, львиная доля их попадает в руки перекупщиков....

Лицо Косиора передернулось.

— Это как же? — Он замолчал, уставясь на Карлсона нетерпеливым взглядом. Но тот продолжал спокойно и неторопливо:

— Таких фактов слишком много, чтобы считать их следствием неумения или лености. Поиски привели к самой головке, к Вукоопспилке, к руководству всей потребительской кооперацией Украины.

— Здесь? В центре, у нас под носом? — На этот раз голос Косиора звучал раздумчиво, словно он взвешивал услышанное.

— Именно. Аппарат Вукоопспилки засорен политически неблагонадежными людьми, бывшими петлюровцами, эсерами, махновцами... Трудно предположить, что такой букет расцвел стихийно. Вернее всего, он подобран опытной рукой...

— Вы располагаете данными? — Косиор остановился, повернувшись на каблуках.

— Пока — далеко не исчерпывающими, но можно считать установленным, что в руководстве Вукоопспилки хозяйничают враги.

Косиор молчал, и Карлсон добавил:

— Мы продолжаем работу в этом направлении.

— Вам есть на кого опереться, вы уверены в своих людях?

— Дело очень тонкое. Пришлось прибегнуть, так сказать, к чрезвычайным мерам... Я имел в виду, Станислав Викентьевич, доложить вам более детально... Мне кажется, это тот случай, когда оперативные мероприятия приобретают большое политическое значение.

— Я слушаю вас, Карл Мартынович.— Косиор сел в

свое кресло. На него как будто успокаивающе подействовала интонация собеседника.

— Буду пользоваться некоторыми записями. Для точности,— Карлсон вытащил из портфеля блокнот.— То, что мы раскрыли дело СВУ, так это прошло по тем петлюровским кадрам, которые осели главным образом в научных учреждениях. Но какие-то их ветви остались и еще живут и действуют в наших хозяйственных организациях, особенно в тех, которые по роду своей деятельности связаны с селом.

— Есть конкретные сведения? — встрепенулся Косиор.

— Да. В аппарате Вукоопспилки работает экономист Максим Черевичный. Это племянник Остапа Черевичного. Остап Черевичный при Петлюре занимал административную должность. Он был очень близок с генералом Змиенко. Сейчас Змиенко во Львове готовит и засылает к нам агентуру. И Остап Черевичный там около него крутится. Как сообщают наши люди, именно он содержит конспиративную квартиру, на которой Змиенко встречается со своей агентурой из Советской Украины.

— А племянник?

— Племянник связи со своим дядей не имеет. Это способный молодой человек, вполне советский.

— С таким-то дядей? — В лице Косиора Карлсон уловил живой интерес ко всяким человеческим коллизиям, который был так для него характерен.

— Да ведь дядя покинул Украину еще в двадцатом году. Племяннику было семнадцать. Формирование его личности проходило в наших условиях в течение десятка лет. А месяц назад этот молодой человек явился к нам.

— С повинной? — оживленно спросил Косиор.

— В какой-то мере. Но гораздо интереснее другая часть его заявления. Максим Черевичный попал на судебное заседание по делу СВУ. Он узнал в подсудимом Ефремове человека, которому некогда, по поручению дяди, передал паспорт умершего Игнатенко. Это привело Максима в боль-

шое беспокойство... И с этим открытием молодой человек отправился сначала к своему непосредственному начальнику в Вукоопспилке.

Косиор слушал крайне заинтересованно. И Карл Мартынович понял, что ему нет нужды торопиться. Он все время испытывал некоторое беспокойство, не придется ли ему скомкать свой доклад за недосугом Косиора.

— Так вот самое интересное произошло после того, как Максим Черевичный все без утайки рассказал Сергею Платоновичу Рашкевичу.

— Рашкевич? — вспомнил Косиор.— Мы в ЦК утверждали его в составе какой-то коллегии.

— Да, он самый, партиец, член правления Вукоопспилки. Рашкевич, к удивлению Максима Черевичного, велел ему никому не рассказывать о своем открытии и дал понять, что знает его дядю, имеет с ним связь, а на него, Максима, надеется в будущем.

— Вы ждете дальнейших новостей от племянника?

— Не совсем. Он человек флегматичный по характеру. Мы же, наоборот, не склонны к пассивному ожиданию.

— Думать надо! — воскликнул Косиор.

— Максим Черевичный пользуется доверием у Рашкевича настолько, что, когда он порекомендовал на работу в Вукоопспилку своего друга, Рашкевич охотно согласился взять его на пробу. И сейчас не нахвалится.

Косиор засмеялся:

— И вы тоже?

— И мы тоже. Тем более что это известный вам Василь Моргун.

— Вот оно что... Ход конем!

Оставшись один, Косиор прошелся по кабинету и остановился у окна, продолжая думать о только что услышанном. И вдруг словно бы выпал из этого разговора. И из времени тоже.

Он снова оказался в городе, который запомнился ему крепче и ярче других в длинной веренице городов его жизни.

С разными местами связывались разные периоды, и каждый имел свое звучание. Киевский был как туго натянутая струна...

На них тогда обрушилась ярость жовто-блакитной банды. И хотя окончательный исход произошел только через два года, уже тогда, в восемнадцатом, в разгуле гетманской власти на Украине чудилось нечто лихорадочное, предсмертное... Да, так оно и было.

Только конец пришел не так скоро, как они надеялись. И не так легко!

Он уже не помнил, в первый свой приезд или во второй он скрывался у рабочего-большевика, арсенальца, вернее, у его тещи в загородном домике, совершенно пустом, потому что теща ушла на богомолье. Следовательно, надолго.

...Ну, конечно, в первый! Значит, еще был гетман... При гетмане развели пышность. Гетман еще не чувствовал себя временщиком: за ним стояли немцы. Гогенцоллерновская Германия. И ничто не подсказало гетману Скоропадскому, что Вильгельм II вот-вот отправится выращивать тюльпаны в Голландию... Для гетмана тогда немцы были немцами, именно теми немцами, с которыми он общался. Не обтрепанными солдатами передовых позиций, которые уже братались с русскими, а лощеными офицерами высших рангов. В фуражках с высокими тульями или во фраках... Эти знали дело. И знали, для чего им нужен гетман Скоропадский вместе с Украиной, богатой сахаром, салом, а что важнее всего — пшеницей.

И когда именно в это время Косиор прибыл в Киев, город выглядел действительно как столица. Может быть, от обилия флагов или от пестрой публики, высы-

павшей на улицы. И немцы вышагивали в своих блестящих «парадных» касках и серых пелеринах, как у себя дома...

Он прибыл в Киев как член недавно избранного Центрального Комитета недавно созданной Коммунистической партии большевиков Украины. Партии, родившейся в тяжелые дни страны и сразу же возглавившей восстание против оккупантов на захваченной ими украинской земле.

Те горячие июльские дни, когда происходили съезд коммунистов Украины, избрание Центрального Комитета, когда уже поднялись на всеобщую забастовку все железнодорожники оккупированной Украины, так близко придвинулись в его сознании, словно происходили вчера... Косиор прибыл в Киев именно на этом этапе: разворота восстания.

Среди шумного праздника временщиков, совсем неподалеку от Крещатика с его сверканием, с его толпами и флагами на хмельном пиру победителей, совсем неподалеку собрались делегаты пяти губерний на подпольную конференцию. И стоял на повестке дня один вопрос: о вооруженном выступлении против оккупантов.

Рабочие были настроены драться — печатники, арсенальцы, химики. Изгнать немцев и гетмана с Украины. Да, тогда казалось: вооруженному восстанию обеспечен успех. Раздувать его огонь, помогать повстанцам в губерниях — все было устремлено только к этому.

И он очень хорошо помнит, как приехал на сахарный завод близ Киева под вечер. И разыскал по заученному им адресу весовщика Ерему. Он сейчас, конечно, забыл его фамилию, а Ерема — это был пароль, но до сих пор помнит те сумерки и приторный запах жома — отходов и резаной свеклы. Весовщика он нашел в его будке при весах, он там и жил. Солдат. Без правой руки. «Четыре года в окопах, жинка родами померла и ребенок тоже...— сказал он.—

Стал большевиком, чтобы гнать всю эту сволочь с нашей земли да чтоб тикали без оглядки».

Пришел механик, он был делегатом конференции, и Косиор еще тогда отметил его собранную, устоявшуюся решимость. Механика звали Иван Иванович.

Впрочем, и это была кличка... Но лицо запомнил, гордое очень. Невероятно гордое в ту минуту, когда они привели Косиора на склад механической мастерской, а там в ящиках из-под оборудования — оружие... Навалом. И ружья, и карабины, и «смит-вессоны», и немецкие тупорылые пистолеты. И эти двое: Ерема и механик, смотрели счастливыми глазами. Он тоже был счастлив. Такой подъем был, такая вера в удачу! Внезапность удара должна была парализовать сопротивление оккупантов...

Подготовку проводили с помощью Москвы, оттуда приходила литература, а листовки печатали сами, и не на каком-то пустяковом множительном аппарате — в типографиях! И на немецком языке — тоже. Для австрийских и немецких солдат.

Это была взрывчатая среда. И вообще, запах пороха пронизывал те дни. Он очень радовался тому, что знает немецкий язык и что может сам встречаться с тем австрийским солдатом, который — он теперь уже забыл его имя — рассказывал ему, и так образно, толково, об обстановке на передовых позициях в австро-венгерской пехотной части... Когда однажды четыре австрийца вышли навстречу русским солдатам у ручья. И воткнули винтовки штыками в землю в знак того, что они не будут стрелять. И, каким-то способом понимая друг друга, договорились, что будут убеждать своих товарищей последовать их примеру.

Вооруженные выступления рабочих и крестьян в Киевской, Подольской, Полтавской губерниях были подавлены огромной организованной силой противника. Но глубоко законспирированные организации партии частью уцелели.

Он тогда перебрался через линию фронта, это уже в сентябре. И вернулся снова. Уже прочно осел в подполье, потому что был утвержден секретарем Киевского областного комитета КП(б)У. И должен был, обязательно должен укрепиться на нелегальном положении.

Тот товарищ, который встретил Косиора на вокзале, как было условлено, и усадил на извозчика, был очень молчалив, что, собственно, и диктовалось условиями. Но мог бы все-таки поболтать, вкрапливая в болтовню какие-то нужные вещи... Но, видимо, не имея сноровки в этом деле, предпочитал отмалчиваться. Ему пришлось самому распространяться насчет погоды и милых родственников, иносказательно выясняя обстановку.

Обстановка... Она не сделалась яснее, когда провожатый доставил его в «меблирашки», как называли тогда меблированные комнаты, сдававшиеся разному несостоятельному люду, чаще всего студентам.

Они были вдвоем в неприветливом жилище семьи технолога «товарища Семена» — киевского большевика. С ним он и начал... Через него разыскивал других, связывался, заново сколачивал организацию. Что это значило в тех условиях?..

И тут уж потекли воспоминания, отрывочные, бессвязные, картины времени, не притушенные чередой прошедших лет, может быть, именно потому, что время было непрочное, опасное и деятельное.

И работа развернулась по-настоящему, потому что потянулись на зов подпольного обкома и коммунисты, и просто рабочие... А это же был Киев со своим славным пролетариатом, уже принявшим боевое крещение в дни Октября.

Начало революции в Германии подняло настроение масс. А он сам тогда, казалось, поспевал одновременно всюду: совещался с руководителями военно-повстанческой работы, приводил в боевую готовность партизанские отря-

ды Киевщины, Подолии, Черниговщины, чтобы затем начать боевые действия.

Подпольная большевистская газета «Киевский коммунист» призывала к оружию, поднимала массы на борьбу за Советскую власть. И он успевал участвовать в подготовке каждого номера газеты, которая поднимала самые насущные, самые неотложные вопросы революции. Газета печаталась не на каком-то множительном аппарате, а в настоящей типографии, владелец которой, несмотря на то что каждый день обмирал от страха, не мог устоять перед большими деньгами из кассы подпольного обкома... А потом удалось наладить и собственную типографию.

И в те же самые дни он писал текст обращений к населению, прокламации, которые сразу из-под пера размножались типографским путем. Уже выковался «летучий десант» распространителей этих листков, наводнивших киевские заводы.

И все же силы киевского пролетариата были недостаточны для противодействия создавшемуся блоку буржуазно-националистических партий...

Наступили времена пресловутой Директории. Свирепого правления украинских националистов. Зимним утром, с невероятным шумом и помпой, под жовто-блакитными стягами вошли в Киев петлюровцы. Тогда и начались самые большие трудности, потому что контрреволюция укреплялась, окапывалась, устраивалась надолго.

Директория — буржуазно-кулацкая диктатура, дорвавшись до власти, расправлялась жестоко, громила организации, выслеживала и уничтожала не только большевиков — всю периферию сопротивления. Расправы без суда и следствия были возведены в степень закона. «Расстрел на месте» — эта формула тогда выплыла и укоренилась. И пуля в затылок — это было просто... Мертвыми находили товарищей где-нибудь на улице. Может быть, прикончеными

прямо здесь каким-нибудь ретивым служащим охранки. А может быть, выброшенными из нее...

Террор не знал границ. Стихия ужаса объяла город. Стихия произвола. Но больше, чем когда-либо, ощущалось, что это предсмертные судороги временщиков. Это общее рассуждение могло поддержать дух, но не могло утешить, когда гибли свои люди.

И он вспомнил, что встречался тогда с человеком, который выполнял его самые опасные и серьезные поручения, потому что сидел в сердце петлюровского Киева, именно в канцелярии информационной службы осадного корпуса, которым командовал тогда этот бандит, вешатель рабочих-арсенальцев полковник Коновалец.

Инженер Кононенко был удивительный человек. Вообще-то говоря, большую часть своей жизни он был далек от революции. Технолог, окончивший Киевский политехнический институт, он ничем не интересовался, кроме химии.

В нем проявилась страсть неофита, когда он пришел в революцию с бесповоротностью, продиктованной его характером.

Пришел еще до Октября. Как? Косиор был обязан выяснить это, ведь ему предстояло работать с Кононенко. Он лично встречался с этим человеком и, следовательно, вверял ему не только свою жизнь, но и больше того: в какой-то степени успех дела. В том, что он установил личную связь с Кононенко, был элемент риска... Да во всем тогда был элемент риска! И не элемент даже: все просто состояло из этого самого риска...

И о Кононенко он, конечно, знал заранее, но в самых общих чертах. Действительно, судьба его была необычной, да ведь в ту пору все было необычно... Перед самой революцией этот инженер-технолог — уже человек с положением, уже директор сахарного завода под Киевом, пользующийся всякими привилегиями, даже близкий к самому

Терещенко — сахарозаводчику первого ранга. И через него вхож в круги, которые интересуются не только свеклой и сахаром, но и политикой. И все идет у него так, именно так, как должно идти у человека этого круга. И женился Алексей Кононенко выгодно, на девице тоже, кажется, из этого сахарного мира...

Тогда-то он, конечно, знал все эти подробности биографии Кононенко, это ему очень нужно было для дела. Потому-то он так и запомнил все. А теперь многое уже забылось. Перед самой революцией, в один из своих приездов в Киев, Кононенко знакомится с девушкой. Совершенно случайно. И все отступает: выгодная жена, беспечное существование, все!

Вдруг Косиор вспомнил удивительно отчетливо, удивительно, если подумать, что с тех пор прошло двенадцать лет... Вспомнил, как рассказывал ему Кононенко историю этой любви. Очень как-то целомудренно он о ней говорил, а они тогда сидели, двое молодых мужчин, в каком-то совершенном вертепе... И бог знает что вокруг творилось. И Кононенко рассказывал о девушке, которая тогда уже была его женой, но чувства, чувства остались!.. А девушка оказалась дочкой политкаторжанина, большевика. Через нее Кононенко попал в совершенно другую среду. И тогда произошел этот взрыв в его жизни, потому что он всегда тяготился своим положением, своим благополучием, чего-то искал... Это были нравственные поиски. Нравственные, а не политические. И так случилось, так слилось все, что нравственный поиск привел его в политику, да ведь это часто бывало, особенно тогда... Часто, но не с представителями такой интеллигенции. А он ведь был именно из таких, кто близок к классу капиталистов. Кто существует, по Марксу, на прибавочную стоимость... А вот тут «надстройка» и «надстроечные» мотивы сыграли... Но в партии были умные люди, хорошие конспираторы. И через девушку они хорошо распорядились Алексеем Кононенко.

Ему удалось сохранить свое положение, использовать его для партии.

Тот вечер запомнился еще потому, что в этом самом кабаке, где они встречались,— в фешенебельных ресторанах можно было легко наскочить на людей, среди которых вращался Кононенко: Киев того времени все-таки был провинцией... В кабаке в этом смысле было спокойно. В этом смысле — да, но как раз там они и угодили в облаву... Потом их долго смешила ситуация: облава была в основном на торговцев кокаином — спекулянтов наркотиками развелось великое множество! И петлюровская полиция в своих опереточных шапках со шлыками и с трезубами и какими-то оранжевыми шнурами все-таки прицепилась к ним, заподозрив в них потребителей соблазнительного порошка... Но, конечно, документ Кононенко свою роль сыграл сразу. А Косиор, хотя документ у него был «железный», ухитрился все-таки не вынимать его из кармана. Меньше всего хотелось, чтобы было зафиксировано его свидание с Кононенко...

Через Кононенко Косиор узнал о готовящемся разгроме большевистского подполья. Узнал не вообще о разгроме, а что было важнее всего — он держал в руках копию предписания произвести обыски и аресты по определенным адресам. Копию передала Кононенко преданная ему машинистка, заложившая лишний экземпляр при перепечатке...

И сейчас холодок пробежал у него по спине, когда он вспомнил свое тогдашнее состояние: в списке адресов было несколько устаревших, но были и действующие! Где жили подпольщики, где хранились материалы, отпечатанные листовки... Возникла непосредственная опасность потери людей, с великим трудом сохраненной техники. А на принятие мер — срок катастрофически короткий!

В сумятице мыслей, обуревавших его тогда, была одна — главная: в его руках оказался сигнал — редкая уда-

ча, единственный шанс. Теперь все зависит от столь же удачного и быстрого вывода из-под удара людей и техники. Он мог положиться сейчас только на себя. Такой пришел момент. И тут речь шла не об удаче, но о выдержке и воле.

Наступала ночь, киевская жовто-блакитная ночь с конными и пешими патрулями, с безлюдными улицами среди уснувших или притаившихся домов.

Пока он добирался до Подола, где была основная квартира подполья, у него дважды проверили документы. Выручили солидный вид и уверенная манера — в соответствии с документом. От третьего патруля ему удалось укрыться, перепрыгнув через ограду какого-то сада.

Квартира располагалась во флигеле в глубине двора. Это была летняя кухня барского дома, сейчас опустевшая,— удобное место, казалось, надежнейшее.

Как хорошо, что он все же подготовил другое, на случай провала.

С разбуженным хозяином квартиры быстро договорились о способе «эвакуации». Ранним утром следующего дня с обычным в Киеве протяжным возгласом: «Стары вещи, стары вещи, берем, покупаем!» — бродячий скупщик старья, с пустыми мешками слоняющийся по улице, был приглашен в деревянный флигель в саду. И вышел оттуда — с грузом. Благодаря тому, что было подготовлено резервное убежище, переброска прошла без потерь. И еще потому, что в ту же ночь ему удалось подготовить товарища на роль старьевщика.

На исходе той же ночи он сумел предупредить товарища Матвея, жившего в качестве домашнего учителя в доме акцизного чиновника. И здесь все вышло удачно, потому что посланец Косиора явился якобы от матери учителя, внезапно заболевшей. Тем был оправдан и поздний визит, и спешный отъезд учителя. И к концу той, показавшейся бесконечной, ночи он добрался до своей постели с чувством сделанного дела, важнейшего на этом этапе...

И все-таки из осторожности, из той же потребности перестраховки он вскоре переехал на другую квартиру. И даже переменил документ.

Нет, все было правильно тогда, если даже с вышки сегодняшнего дня поглядеть на то время, а оно рисуется так выпукло, словно в стереоскопе. Так рельефно все видно: и пейзажи, и люди...

Пейзаж: киевская зима. Мягкая, снежная... На Владимирской горке пустынно оттого, что опала листва. Малолюдно. В самом воздухе есть что-то грустное. Грустное и все же не унылое, потому что была уверенность в близкой победе, совсем близкой. А уверенность питалась тем, что за близкими рубежами стеной стояла крепкая уже Советская власть.

Но в кровь вошла осторожность, он подстраховывал каждый свой шаг. И, право, все было организовано далеко не примитивно, по всем правилам партийной конспирации. Он проштудировал все, что о конспирации писал Ленин, входя даже в детали. Как Владимир Ильич умел поднять на высоту самое практическое дело, все его подробности, всю кухню конспирации! Мастерство перевести в ранг искусства! И тут было еще одно, еще один психологический нюанс. Ему ведь приходилось уже тогда, в 1918 году, заниматься практикой. И вся эта кропотливая работа с конспиративными квартирами приобретала великое значение в свете ленинских слов о роли самых мелких деталей в таком деле, как конспирация.

Да, явочные квартиры в Киеве были разбросаны так, что во всех районах имелось место, где можно было встретиться с товарищами. И партийцы служили в самых нужных местах, занимали такие высотки, с которых многое было видно. И это помогало не только правильно анализировать положение, но и предупреждать аресты, принимать меры, быть мобильными...

И все же гибли люди, лучшие люди. И тотчас другие брали на себя их работу...

Проваливалась квартира — имелась резервная. Он удачно нашел тогда ту квартиру на косогоре, на странной горбатой улице в удивительном доме, выходившем одной стороной как раз на крутой косогор на уровне первого этажа. А другие окна квартиры оказались на высоте четвертого...

Ему всегда запоминалось рядом со страшным смешное. Из этого периода жизни он запомнил, как встречался с товарищем, поднявшимся в квартиру на четвертом этаже... Он проводил его на другую половину, и вдруг его гость увидел, что шалун мальчишка приплюснул нос к стеклу окна... Даже сейчас он вспоминал, как округлились глаза гостя, кажется, его звали Антон, а может быть, это была подпольная кличка... И как они хохотали, когда все выяснилось. И Антон никак не хотел поверить, что Косиор вовсе не имел намерения его разыграть! Да и не до шуток было тогда: как раз усилилось активное преследование.

А хозяйка квартиры, профессорская вдова, сдавала всего-то две комнаты, как тогда называлось, «комнаты со столом в приличном семействе». Он нашел ее по объявлению в газете. Так надо же, чтобы из двух комнат одна досталась ему — руководителю большевистского подполья, а другая — франтоватому молодому человеку, выдававшему себя за оркестранта киевской оперетки. Почему-то он сразу усомнился в амплуа соседа. Черт его знает почему! Просто какой-то нюх, что ли, тогда выработался... Или, может быть, показался сосед слишком значительным для такой роли. Как-то не вязалась его осанистая фигура с оркестровой ямой... И хоть он время от времени что-то наигрывал на кларнете, но как-то непрофессионально. И что-то такое еще в нем было... Слишком чиновничье, слишком «казенное» для артиста. А потом Кононенко без особого

труда выяснил, что сосед не кто иной, как любимый агент начальника петлюровской охранки...

Да и вообще весь этот период проходил в каком-то единоборстве с этим самым Змиенко. Почему, собственно, и возникли воспоминания. А Змиенко был опытным контрразведчиком... И теперь, судя по информации Карлсона, занимается разведкой. Это все логично. Тогда вылавливал большевистских подпольщиков. Теперь засылает свою агентуру на Советскую Украину... Вот так на судьбе человека отражаются кардинальные перемены в обществе!

Воспоминания не оставляли его. Все не хотелось уходить из своей молодости, из той квартиры, где под носом у фатоватого «оперетчика» он встречался с друзьями. Впрочем, один из них был действительно артистом оперетты и, конечно, никогда в глаза не видывал соседа Косиора. И больше всего они боялись, чтобы мнимый артист не разгадал настоящего.

Эта ситуация смешила их, как, вероятно, не могла бы рассмешить сегодня... Потому что годы есть годы! Да нет, не только годы, не столько годы! Груз государственной власти, сложность этого кормила, этого руля, у которого стоишь, это ведь придает не только зрелость, это в какой-то степени старит... Да, конечно, мудрость украшает, слов нет, но и не очень совмещается с той легкостью восприятия, которая была когда-то... В этой квартире у профессорши он писал листовки. Листовками были просто наводнены рабочие районы. Распространители их приобрели навыки, умели избегать наблюдения. Помнится, листки провозили в цехи на тележках с запасными частями... Жены рабочих, даже мальчишки проносили в узелках с пищей, которые таскали мужьям, отцам «на смену» — на завод. Ведь сложились уже тогда мощные рабочие коллективы... Цвет пролетариата — арсенальцы!

А Кононенко погиб нелепо, случайно... Он узнал об этом от человека, который чудом спасся, выпрыгнув из

окна конспиративной квартиры. И мог ведь спастись и Кононенко, но он слишком понадеялся на себя, на свое положение. По его делу не было следствия. Его расстреляли без суда.

Косиор вспоминал его только таким, каким запомнил в работе: всегда как бы на гребне, всегда победительным...

Однажды на заре февральского дня полки Таращанский и Богунский, лихие конники с обнаженными клинками, ворвались на окраины Киева. Это была свобода. Это был конец подполья.

Он вышел из него совсем не тем человеком, каким вошел. Слишком большие потери, слишком тяжкие уроки.

И он отступил в своих воспоминаниях еще дальше назад, куда-то уже совсем к истокам... К образам, милым сердцу, образам уже далекого прошлого, но сохранившим свою силу и красоту. Эти воспоминания принадлежали к той корневой системе, которая питала его жизнь — жизнь пролетария, начавшуюся задолго до Октябрьской революции. Это был свой мир, который расширялся закономерно по тем временам. И те, кто жил в этом мире, они остались жить; но даже те, которых давно уже не стало на земле, они были всегда рядом, утверждая сегодняшний день, иногда объясняя, иногда споря.

Через десятилетия, через пеструю вереницу последующих лет, через полувековую толщу времени проросли зерна. Он вдруг вспомнил слова Ленина: пример Герцена учит даже тогда, когда целые десятилетия отделяют сев от жатвы... Тогда было время сева.

Иногда образы прошлого приходили особенно ясными: конец века и рабочий поселок, который жил под сенью и под властью большого по тем временам металлургического завода — гигантом он казался тогда! Он кормил и давал тепло, и хотя всего этого мало было и жили скудно, но ощущение труда-кормильца существовало каждый день. Он

вырос в среде, где только труд был источником немногих благ жизни.

Это сознание пришло с младенческих лет. И невозможно было бы вспомнить, как и от кого именно. Прежде всего, вероятно, от отца. Викентий Янович Косиор, может быть, и далее продолжал бы бедствовать на родине, на нищенском наделе под Венгровом, в Польше, с большой своей семьей. Но, вернувшись из долгой томительной солдатчины, посмотрев все же мир, так жаждал человек лучшей доли, что в поисках ее поднялся с места, поднял семью и отправился на поиски счастья, как отправлялись многие в то время великих переселений трудового человека.

Есть в этом что-то еще не до конца познанное — не только отец и мать пронесли через всю жизнь любовь к родному краю и тоску по нему, навсегда и без надежды возврата к покинутому. Но и сыновья, отделенные от родных мест уже не только расстоянием, а государственными границами, сохранили сильное и нежное чувство к тому клочку земли, на котором родились, и мечту о свободе и благе его.

Самое младенчество связывалось с неизъяснимо приятным, шелестящим и журчащим, словно листва и вода, звучанием родного языка, воспринятым вместе с первыми материнскими уроками жизни. И может быть, потому, что он всю жизнь говорил с матерью только по-польски, органично соединялись в его сознании образ Родины и матери. Родители не были людьми образованными, но, как рано он понял, были внутренне интеллигентны. Их стихийный интернационализм, присущий рабочему человеку, не исключал, но обогащал обостренное чувство Родины, причастности к ее судьбе.

И если в раннем детстве эта судьба воплощалась в рисунках из толстой старой книги, изображавших то жаркий бой, который ведут воины с крестьянскими лицами, полными решимости и отваги, то привал усатых солдат в не-

виданных высоких шапках... То позже Родина явилась в образе воителя за свободу, что значит — за правду, против угнетения, которое и есть самое большое зло на земле...

И сказочным, почти чудом, казалось то, о чем поведал тихий голос матери: там, у родного их города Венгрова, что в Подляском воеводстве, однажды, много-много лет назад, собралось тысячное войско повстанцев. Отважные косинеры бросались на врага, превосходящего силой и вооружением, и гибли, презрев смерть во имя свободы. А еще позже Родина предстала в строках исторического документа, в строках, волновавших до самых глубин души... Это был голос воззваний, призывавших под знамена свободы всех сынов Польши, без различия веры, племени, происхождения и сословия; голос декретов, объявлявших землю достоянием крестьян, о наделении землей всех повстанцев, «халупников, загородников, комарников, батраков»...

Но прошло много времени, пока к заветным словам присоединились другие — могучий призыв революционной России, голос Герцена, провозгласивший: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию... Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих».

Родина жила в песнях матери, в отрывочных дальних воспоминаниях о каком-то большом-большом (а может быть, он казался таким) луге с ромашками. О кусочке дороги с теплыми от солнца колеями, с почерневшим распятием над колодцем... Родина жила в самом его имени: Сташек... Так звали его в семье.

Так звала его и сейчас жена — Елизавета. Так она обращалась к нему еще невестой, в письмах. Тех, что он жадно читал и перечитывал тюремными ночами, когда мысль отрывалась от дневных занятий. Письма Елизаветы возвращали его в мир юности, потому что она писала очень свободно, умела поддержать в его памяти пережитое ими вместе.

Он считал особой своей жизненной удачей то, что судьба послала ему такую спутницу жизни. Он находил в ней понимание своих стремлений, своего характера. Понимание и терпимость, потому что он был часто несдержан, порывист, непоследователен. Это потом он много работал над воспитанием характера, что трудно ему давалось.

Земля донецкая стала второй родиной Косиорам. Это была не та земля, которая рисовалась в рассказах перехожих людей, не молочные реки и не кисельные берега, о нет! Но, не склонный отрываться от реальной жизни, отец Станислава в общем нашел то, что искал: работу.

Он примкнул к огромной армии пролетариев, которые без вздохов и сожалений ушли от земли: она не дала ему ничего, даже возможности хоть кое-как поднять сыновей. И если в те годы, в конце века, значительная часть русского рабочего класса сохранила связи или хотя бы тягу к земле, тяготилась рабочей долей, то отец Косиора не имел ни этих связей, ни этого влечения. Он вошел органично в рабочий класс, стал его частицей и ощущал себя ею.

Поэтому и не обошла отца ни одна забастовка, что он и старший сын Станислав, с самых ранних лет, уже были плоть от плоти славного отряда русского рабочего класса, который в те годы уже подымался на земле Донбасса, земле горняков и металлургов.

Весь мир юности был связан для Станислава именно с Донбассом. Бедный ландшафт Донецкого края имел для него особую прелесть, как имеет то, что связано с молодостью, все тяжелое воспринимается легче, а с годами приобретает особую привлекательность.

Детские годы запомнились семью тополями под окном дома в горняцком поселке. Тополя выделялись в степи, казались живыми, тихо шепчущими о потаенном. И был «ставок» — попросту покрытый ряской нечистый пруд, но большой, по которому ребята плавали в примитивных плоскодонках. И все же там рос камыш у берегов, тот камыш,

которого много на Украине — темно-зеленые стебли и коричневые бархатные высокие шапки, словно боярские. И были ивы-плакучки, купающие ветви в воде. А степь, она вовсе не казалась голой, сотни мелких невзрачных растений при внимательном взгляде обнаруживали себя: и миловидный тысячелистник, и бело-розовый кипрей, и скудные полевые скабиозы, и мелкие цветочки конского щавеля. А трава степная — совсем особая, не сочная, но настойчивая, и далеко-далеко видное пространство затянуто ее низеньким и негустым ковром.

Ночи были богаче дня, потому что показывали особое небо, очень высокое, с большими яркими звездами. Ночь была щедра звуками: шелестом коростелей в траве, трескотней цикад.

А на опушке небольшой рощи поодаль от поселка водились светляки. Их были просто миллиарды. Казалось, что небо со всеми звездами упало на землю. Девушки сажали светляков на свои волосы, и они украшали их, как драгоценные камни. Светляки были молчаливы, но как пело, говорило, шептало все вокруг! Сотни звуков смешивались, сплетались в степном шуме: в нем слышался голос ветра, цикад и даже пение соловья. И слова песни, которую он знал с детства, а потом сам пел своим небольшим, но, как говорили, приятным баритоном:

Ой, гиля, гиля, гиля!
Гей вы, гусеньки, на став!
Добрый вечир, дивчина,
Бо я ще не спав.

«Не спа-а-ав»,— долго тянулось на высокой ноте, так долго, пока не растаивало в утренней дымке.

Очень рано у него возникло представление о труде как о главном в жизни. Отец вел семью, он работал и кормил их всех.

С работой отца сопрягались важные слова: «доменная печь», «мартен», «металл», особенно — «огненный цех»...

Отец был свой в мире, который и манил и пугал: мир великанов, громад, извергающих пламя и гром.

Когда отец возвращался с двенадцатичасовой смены, от его одежды пахло гарью, это был запах «огненного цеха»...

Но романтическое представление о царстве огня и металла рушилось от жесткого прикосновения жизни: ему было только четырнадцать лет, когда завод сглотнул его, как удав кролика. Втянул в круговорот однообразных дней, до краев наполненных трудом, придирками механика, тумаками мастера, обсчетами и штрафами конторщиков, несправедливостью, ставшей обыденностью. Эта обыденность разрывалась трагедийными событиями. Пугающе врывался в обычные звуки гудок, вещающий о беде, и расползалось кровавое месиво в пролете цеха, там, где только что стоял человек... Которого ты встречал каждый день, которого уже не мог забыть... «Несчастный случай», «авария», «катастрофа» — это были слова, смысл которых раскрывался в причитаниях соседок, в горьком плаче сверстников, с которыми связывало тебя детство... А теперь они стали называться страшным словом: «сироты»...

И тогда появилось щемящее чувство своего бессилия перед врагом, которому еще не было названия. Оно пришло позже, извне... Из другого мира, из которого долетела однажды к нему первая прочитанная им листовка, первый сигнал к бою... Но это было позже.

Позже в нем возникло представление о труде не как о ярме, а как о смысле жизни. И вместе с этим о препятствиях на пути к любимому труду. Раньше чем были поняты обстоятельства жизни, она уже продиктовала ощущение их, ощущение неправильности, уродства человеческих отношений, возникающих не случайно, а из характера общественного строя.

Раньше чем мысль обратилась к теоретическим объяснениям, к обобщающим словам, родились впечатления, они

еще никак не объяснялись, но были прикреплены к определенным фигурам, которые стали ясными позже. На заводском дворе получались первые уроки жизни. Ее разнообразие и особенности, ее ухабы и рытвины персонифицировались в фигурах. Ма́стера, от которого зависело благополучие, достоинство, будущее... Полицейского, с кем сопрягалось чувство страха и от которого зависело самое дорогое: свобода, может быть, жизнь...

Станислав с детства пристрастился к чтению. Увлекали его поначалу необыкновенные приключения, страницы, полные событий, он зачитывался романами Жюля Верна и Майн Рида, наивно принимая на веру благородство конкистадоров и бесстрашных завоевателей.

Его не заботило несоответствие книжной мудрости и реальной жизни. Тогда — нет.

Но наступил момент, когда священное для него понятие рыцарства получило иное преломление и смысл: рыцарство революции. И то, что оно было связано с глубокой тайной, с риском для благополучия, свободы, жизни, увлекало безоговорочно.

Со временем через частое сито жизненного опыта просеялось многое, но понятие рыцарства, связанное так тесно с понятием справедливости, оно осталось...

И потому в годы зрелости, когда он уже руководил людьми, и учил, и оценивал поступки подчиненных ему и верящих в него, он так резко и бесповоротно отсекал несправедливость, исправлял ошибки, искоренял заблуждения.

Но когда же все-таки произошел взрыв? Когда собственный опыт, опыт обыкновенной рабочей жизни с ее горькой обидой и обманами, неизбежной нуждой, безнадежностью, слился с опытом других? И в этом слиянии родилось новое: ощущение силы совместных действий, а позже силы организации?

Нет, еще до этого была листовка. Она звала пролетариев к объединению. Вот она и была пропуском в новый мир.

В этом мире нашлось место для пятнадцатилетнего слесаренка, хорошо грамотного: из начального народного училища за три года обучения он взял все возможное, хотел учиться, очень хотел, но знал, что большее не дано... Такой был нужен организации.

В пятнадцать лет все чаще стали называть его не Сташеком, а Станиславом, потому что ему доверялось уже распространение листовок. И для связи тоже удобно было использовать такого шустрого и маленького ростом, незаметного рабочего паренька, который знает на заводе все ходы и выходы и не тушуется ни перед кем.

...Не раз потом, много позже, он отдавал себе отчет в том, что это и была юность настоящего пролетария и потому путь жизни был избран как единственно возможный.

И вот уже не отчий дом, а заводской двор стал средоточием его интересов. Они выплеснулись за стены дома, хотя все же оставались в черте того же заводского поселка. И в кругу тех лиц, которые как бы выделились из общей массы, придвинулись ближе. И не было общности крепче и надежнее той, которая возникла. Он теперь знал, где рождается запретный листок. И кто тесно исписал его мелкими нечеткими буквами. Он узнал сладостное чувство запретности и удовлетворения от слов вольности, протеста. И пришло первое понимание простой вещи: в этих словах правда, и за эту правду люди часто несут тяжкое наказание. И отсюда — ощущение тайны, тайной рабочей солидарности. Чувства, еще не осознанные, которым будет дано расти, развиваться, пополняться.

И все это пришло так рано, что, казалось, существовало всегда.

В заводском поселке при свете тусклой керосиновой лампы, освещавшей только небольшой круг стола, над ко-

торым наклонились головы молодых шахтеров, читали «Манифест Коммунистической партии». И однажды в подвале под трактиром, где собирались социал-демократы, Косиор прочел товарищам вслух статью Ленина в газете «Искра». Статья была не переписанной, подлинный газетный листок трепетал в его руках. Он был зачитан, захватан многими прикосновениями и говорил яснее слов о длинном пути, пройденном через множество рабочих рук. Так постигалась не только истина сказанного, но и значение этой истины для людей, накрепко соединенных трудом и устремлениями. Общностью класса.

Правда, обретенная в летучих листках, в слове приезжего пропагандиста, в мудрости ленинского обобщения связывалась для Косиора с заводской действительностью, знакомой ему от младых ногтей. Он прятал и распространял нелегальщину, расклеивал листовки, даже говорил... Он не подражал приезжим пропагандистам с их несколько книжным, хотя и обкатанным опытом общения с рабочими языком. Вероятно, дар преподносить сложные положения словами, понятными каждому, уже тогда облегчал ему, молодому, возможность доходить до сердца слушателя.

Возмужание, политическая зрелость связывались уже с другими местами, с другой порой. С порой первой русской революции. Знаменит был в промышленном мире России алчевский Донецко-Юрьевский металлургический завод. Молодой русский капитализм набирал силу. Гигант завод объединял и сплачивал массы рабочих. Здесь, в Алчевске, в бурный 1905 год оказалась семья Косиоров, вынужденная локаутом компании бросить родной завод. Здесь, в Алчевске, уже равноправно вошел Станислав в строй рабочих-революционеров, стал забастовщиком, стал участником рабочих маевок, шел под красными знаменами в колонне демонстрантов и тайно, обдуманно, осторожно собирал деньги — деньги партии, в кассу партии.

И продолжал все это делать, когда наступил кровавый финал событий 1905 года и началась долгая полоса власти мертвого царства. Время подвига мгновенного уступило место подвигу каждодневному, кропотливому. Часто объектом пропаганды были люди колеблющиеся, взыскующие правды, но идущие к ней нерешительно, через ошибки и сомнения. Надо было обладать терпением, выдержкой, чтобы сеять семена добра и протеста. Добро и протест — он уже тогда ставил эти понятия рядом. Они были объемны, включали в себя очень многое, и только их соединение высекало искру настоящего дела.

Алмазно-Юрьевская партийная организация, которая в 1907 году принимала Станислава Косиора в свои ряды, уже знала его до последней жилочки, семнадцатилетнего — всего лишь семнадцатилетнего,— но уже организатора и пропагандиста, горячего агитатора... И вообще верного человека.

Начало жизни было началом деятельности. Так сложилось, и не было уже потом разрыва между ними. И потому он охотно обращался мыслями к прошлому, черпая в нем уверенность и понимание каких-то процессов, корни которых таились еще там, за громадами лет...

Косиор отошел от окна. Переменив положение, он как будто отключился от своих воспоминаний. И в это время раздался телефонный звонок.

Звонил Григорий Иванович Петровский. Сказал, что у него сидит Иван Моргун. И Влас Яковлевич там...

— Я сейчас приду,— тотчас ответил Косиор, не скрывая того, что обрадовался.

У Григория Ивановича мягкий голос. Такой бывает у певцов. Да, как-то он рассказал, что в молодости на своем родном заводе на Екатеринославщине считался первым певцом... Можно себе представить! Вообще странно: Григорий Иванович среди них всех самый солидный по внешности, между тем очень легко вообразить его совсем моло-

дым. Что-то в нем сохранилось с молодых лет... У других такое проявляется изредка, а у него присутствует всегда, но особенно, когда он говорит...

В темных глазах за стеклами очков часто вспыхивает огонек, губы складываются в хитроватую усмешку, даже пальцы, поглаживающие бородку, играют свою партию в оркестре... Григорий Иванович — блестящий рассказчик. И юмор... Юмор у него особенный, с прочной народной основой. И богатство интонаций... Кажется, он и на сцене когда-то играл.

С Моргуном они очень сладились. Иван Иванович тоже склонен к насмешке, иногда злой... Он человек непримиримый. Так, пожалуй, можно одним словом определить. А Василь похож на отца. Только сдержаннее. Приучен. Там у них, в ГПУ, жестковато: дисциплина — не армейская, нет, тут другое. Воспитание негромкости... Да, пожалуй, так. Оставаться всегда в тени, не выпячиваться. Кто-то из них сказал однажды: девяносто процентов болтунов вырастают на почве, удобренной лестью. Кто ищет хвалы, тот на ней поскользнется...

Было приятно отдалиться от привычных забот, оставив их в кабинете, идти по тротуару, уже подсушенному весенним солнцем,— парок подымался над асфальтом, словно где-то на деревенской улице.

Толпа обтекала его, иногда с ним здоровались, и он прибрасывал ладонь к фуражке. Он остановился и раскурил трубку. Он начал курить, когда выпал из спортивных кадров. С досады. То, что было потом: теннис, гребля, это уже по-любительски. Из неистребимой потребности к организованному движению. А Иван Моргун помнит его завзятым футболистом. Да, центрфорвард, не шутка... Хорошо, что Иван приехал. Надо, чтобы Лиза была дома, обед сообразить. Дочку и мальчишек Иван Иванович, пожалуй, не узнает, вытянулись. А худущие...

Однако Иван приехал конечно же по делу. Ох, Старо-

бельщина... Если вычертить диаграмму кулацких выступлений на Украине, она даст чуть ли не самый высокий пик. А Иван приехал к Петровскому, ясно, по делам комнезама...

Он прошел уже тот отрезок Сумской улицы, который отделял здание ЦК от площади Тевелева и на котором городское оживление достигало высшей точки, чтобы затем медленно спадать, разливаясь по рукавам звездообразно расходящихся от площади Розы Люксембург боковых уличек.

Как всегда, он остановился здесь, любуясь открывшейся ему картиной. Площадь была обширна и величественна. Это впечатление исходило не только от строгих линий окружавших ее зданий, от протяженности покрытого асфальтом пространства между приземистым и вместе с тем как-то подобранным зданием ВУЦИК и вытянувшейся вверх громадой гостиницы «Красная». В плавном спуске к многоэтажному зданию «Астории», в перспективе улицы, убегающей дальше, к Москалевке, в Основянский район, в стройных кущах деревьев, в особой, нарядной чистоте этого места ясно просматривалось утверждение нового. Все чаще входящие в пейзаж столицы автомобили и добротная одежда прохожих... И витрины магазинов... «Живой, живой город. Столица»,— сказал он себе. «Держава»,— добавил он, потому что как раз в этот миг ветер раздул во всю ширь красный флаг с серпом и молотом на шпиле здания ВУЦИК...

Часовые отдали честь винтовками, когда он порядка ради развернул свое удостоверение.

Он прошел медленным шагом первый марш лестницы, а затем почти бегом устремился по коридору к кабинету «всеукраинского старосты» Григория Ивановича Петровского. Самого популярного человека на Советской Украине.

Григорий Иванович сидел за круглым столом, покрытым вышитой украинской скатертью, в комнате для неофи-

циальных приемов, смежной с кабинетом. Вид у Петровского был самый домашний... Нет, не в том смысле, что он как-то «распустил себя», был как-то небрежен в словах, позе, манере... Это вообще не совмещалось с его образом. Но было у него несколько обличий, он их менял легко, без натуги, даже весело... Одно — для «своих людей». Это значило: вообще для своих людей. Таким Григорий Иванович был и на заседаниях ВУЦИК в качестве его председателя и таким же точно у себя на даче, в Померках, играя с внуками.

Если кто-то вызывал его гнев, он в обстановке серьезного заседания, так же как у себя дома, выражал свои чувства без околичностей, с душой, слова не подбирал, они у него сами вырывались и гремели, и гремели... И он бушевал, пока не убеждался, что догремел до сути, до нутра виновного...

Но было другое обличье, оно не было тягостно Петровскому, он являлся в нем так же просто, как и в первом. В среде дипломатов, иностранных гостей, аккредитованных и неаккредитованных, Григорий Иванович был государственным мужем, облеченным властью... И доверием. Но не как равный среди равных... Ну нет! Как-то умел он — ведь пышности-то никакой! «Двора» никакого! Церемониалу — тем более!.. А умел окружить себя атмосферой... авторитета, что ли?.. Умел внушить нечто такое... Так что говорили о нем иностранцы: «загадочная русская душа», «сановная простота», «крестьянский пророк» и всякие другие глупости... Не прост был «всеукраинский староста» Григорий Иванович Петровский.

Председатель Совнаркома Влас Яковлевич Чубарь выглядел моложе своих тридцати девяти лет. Всегда подтянут, строен, лицо почти без морщин. Четырнадцатилетним вошел он в революционное движение, многие годы отдал изучению марксистской теории. То была пора посева. Сейчас пришло время жатвы: свой революционный опыт и

знания Влас Яковлевич отдавал государственному строительству.

Как и Станислав Викентьевич, Чубарь был среди тех, кто слушал речь Ленина на Финляндском вокзале в Петрограде третьего апреля 1917 года. И для него также с этого момента открылся новый и самый значительный этап жизни — этап активной борьбы за власть рабочих и крестьян. Влас Яковлевич стал умело и продуманно строить народное хозяйство молодой республики с первых дней ее существования.

Сдержанность, иногда принимаемая за суровость, была его отличительной чертой. Не сразу открывалась его мягкая, склонная к глубоким чувствам натура...

И он предвкушал встречу, заранее настраиваясь на ее тон: раскованности и доброго товарищества.

В так называемой малой приемной шло чаепитие, до которого и сам хозяин, и его гости были большие охотники.

На самоварном столике шумело допотопное медное чудовище, не так давно принадлежавшее вещному миру эпохи, «ушедшей на свалку истории», как было принято выражаться. Но благоразумно возвращенное повседневности ввиду своих непревзойденных качеств.

Так, по крайней мере, объяснял Григорий Иванович. Что касается Моргуна, то он выразился короче и афористичнее:

— Який же то чай без самовару; добрый борщик да поганый горщик...

Пока Косиор обменивался с Моргуном вопросами-ответами о семейных делах, Григорий Иванович разлил чай в большие пузатые чашки с украинским орнаментом и красноречиво указал пальцем на старобельские гостинцы — мед в сотах, кружок знаменитой домашней колбасы. Были там еще «цикавые коржики з маком» — это уже продукт «частного сектора» — лично Параскевы Никифоровны Моргун.

Ивана Моргуна Косиор нашел «в доброму стани». Надолго и крепко был сделан этот человек. Все так же, как много лет назад, казался он несколько медлительным, скованным в движениях, чуть сутулился, как многие старые шахтеры. Впечатление скованности исчезало, когда он говорил. Речь была быстрой, непринужденной, блистала народными оборотами и речениями, иногда такими, которые были незнакомы даже изощренным на этот счет собеседникам.

Кроме того, приезжая в Харьков, Иван Моргун привозил как бы мешок вопросов, которые он высыпал перед друзьями, не предлагая своих решений, но и не выражая готовности принять чужие.

Этот его характер определял ход беседы, и по молчаливому согласию между собой и Косиор, и Григорий Иванович воспринимали рассказы Моргуна словно о чем-то знакомом. Да в большинстве случаев это и было знакомо им: не только на Старобельщине проходили процессы, о которых говорил Моргун.

Но иногда моргуновская интерпретация освещала новым светом уже известные факты.

Сейчас шла речь о делах церковных.

— Наши попы, як быки на красное, так и кидаются на слово «сплошная». Коллективизация — то це справа не обовязкова, така справа, може, стороной пройдет, як хмарна туча од витру... А як кажуть «сплошная», то нема вже такой дырки, щоб вид ней укрытысь...

— Как говорят на Востоке, для труса мышиная нора сто рублей стоит,— засмеялся Косиор.

Моргун стал рассказывать о внутренних раздорах церковников на Старобельщине. Автокефальная церковь объявила себя распущенной. Дескать, ее вроде уже и нет. А что толку? Куда она подевалась? Те же попы-петлюровцы, бывшие офицеры. На нем ряса, а он вышагивает строевым, как на плацу, все люди видят...

Отделили церковь от государства. Добре. Мы в их дела не вмешиваемся, но они-то вмешиваются. Они как раз в государственные дела вмешиваются, поскольку наше государство им ни к чему. Хлебозаготовки — государственное дело? Твердые задания по хлебозаготовкам — государственное дело? Коллективизация — государственное дело? Так без них же, без слуг божиих, ничего не обходится. Да и вообще, о чем говорить, когда из кожи лезут, чтобы свергнуть Советскую власть! И в этом деле опираются на силу за рубежами. А что они говорят с амвона? Вот это самое: подыматься против Советской власти!

Моргун похлопал себя по карману, вытащил помятый блокнот, перевернул страничку.

— Вот что говорил поп Григорий с амвона Терновской церкви на вербной неделе: «Воспомните, братие, притчу о виноградарях. Был некий хозяин, который насадил виноградник. И он отлучился. Слуги его начали безобразия творить и забыли, что есть хозяин. А хозяевых посланцев мукам предавали»...— Тут поп Григорий дает волю голосине своему, а у него бас, как у Паторжинского в Госопере... И этим басом он речет: «Тот хозяин, что сидит за рубежом, возвернется, и будет великое наказание нерадивым слугам»... и тому подобное.

— А он откуда взялся, этот поп? — спросил Петровский.

— Известно откуда: бывший петлюровский офицер. Так это что! Имеется у нас бывший министр при Петлюре, ныне торгует в киоске капустой. Так это он, когда сидит в киоске,— бывший министр. Но у себя дома с гостями так он уже не бывший, а будущий министр! Так его и понимают. Они, почитай, все — черные вороны, только в светской одежде. И уж до того дошло, что один в мундире с погонами приехал на день ангела к бывшей жене бывшего исправника... Что же это, товарищи власти? Мы никому мстить не хотим, но когда на глазах собирается нечисть...

Собирается не для того, чтобы рюмку водки выпить, а чтобы поднакопить силы да ударить по Советской власти... Так я полагаю, что тут нам церемонии разводить не к чему.

— Ты что же, за разгон автокефалии? — Петровский снял очки, отчего лицо его стало сразу моложе и в карих глазах обнаружилось веселое любопытство.

— А почему нет? Ведь известно, что папа римский спит и во сне видит прибрать под свою руку автокефальную церковь.

— Из чего, между прочим, ясно видна правильность марксистского положения: «Бытие определяет сознание»,— сказал Косиор.

— Ясное дело. Бытие: папа желает иметь доходы с автокефальной церкви. Сознание: плевать ему на то, что автокефалисты вовсе не католики!..— подхватил Моргун.

Все засмеялись.

— Разгонять подряд всех — это не дело. Надо отделить «чистых от нечистых», давайте будем поступать по писанию...— сказал Григорий Иванович.— «Чистые» имеются? На Старобельщине, я разумею?

— Имеются, Григорий Иванович, поп Варфоломей такой, навещает меня...— Моргун засмеялся: — Уж очень старый, но голова работает. Вижу, говорит, что все идет, хотите вы, большевики, или не хотите, по божеским законам... В смысле: легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в царствие божие...

Григорий Иванович махнул рукой:

— В священных книгах полно противоречий, допускаются толкования. Если Варфоломей толкует царство небесное как рай земной, он недалек от истины...

Косиор сказал задумчиво:

— Наверное, в православной церкви еще будут расти свои противоречия... Но что какая-то часть духовенства будет к нам приближаться, это, я считаю, точно. То есть как приближаться? На основе патриотизма... Ведь разно-



гласия их внутренние — чисто политические, а не собственно церковные...

— Конечно. Вот этот Варфоломей — старик правильный. И притчу о виноградарях толкует так: хозяин — это народ. А зловредные слуги — те, кто мешает народу растить виноградник, то есть поднимать Родину.

— Отлично! — воскликнул Косиор.

Разговор естественно перебросился на тему, занимавшую умы каждодневно и предпочтительно перед всеми, даже самыми важными вопросами дня. Вопрос о ходе строительства Днепрогэса и заводов — будущих потребителей ее энергии — был предметом обсуждения в ЦК партии, неотступно находился в поле зрения Политбюро ВКП(б). Связанные с основными проблемами строительства задачи разрешались в первую очередь.

Сейчас в разговоре Влас Яковлевич передавал свои впечатления от недавнего выезда на Днепрогэс.

— Там уже сложились совершенно новые человеческие отношения. Ведь работают там советские люди чуть ли не всех национальностей. Ну треть примерно — русские. А остальные — со всех концов страны. И они привносят в свой труд особые национальные черты... Удивительна физическая тренировка дагестанцев!

— Еще бы, молодые люди из страны ущелий и пропастей,— отозвался Косиор.

— А узбеки... Рассудительны, даже важны в речи и движениях.

— От аксакалов ихних важности набрались,— заметил Моргун.

— Ну и горячий темперамент кавказцев, и спокойная выдержка трудяг сибиряков...— Чубарь, увлекшись, вскочил с места.— И неистовая жадность до знаний, до культуры коми, марийцев, поднявшихся к жизни из полубытия. Они усваивают азбуку в буквальном смысле вместе с азбукой строительства. И ни тяжесть труда, ни трудно-

сти быта не останавливают кипучий поток народной энергии...

— Влас Яковлевич как заговорит про Днепрогэс, так становится поэтом...— заметил Петровский и, хитро сощурившись, сказал: — А я вот письмо получил про Днепрогэс. В стихах. Не совсем грамотно, но живописно. Вот подождите, прочитаю вам.— Григорий Иванович достал из ящика стола папку, протер очки: — Видали? Это все письма с Днепростроя... И, значит, такие стихи: «Рожден я утренней зарей моей страны, как степь широкой...» — Григорий Иванович прочитал с подъемом до конца.

— Кто таков автор, вы узнали? — спросил Моргун.

— А как же! Я его вызвал. Хороший мальчишка оказался. Шестнадцать лет. Второго разряда слесарь в экспериментальных мастерских. Очень стихами увлекается. Бойкий такой парень, без смущения. «Я,— говорит,— в себе силу чувствую поэтическую!» Посоветовал ему студию при клубе...

Самовар давно умолк, неслышно вошедший секретарь опустил белые шторы на окнах, за которыми уже синел вечер.

Часть вторая

1

— По округу отмечается массовый выход селян из колхозов. Происходят столкновения в связи с этим, усугубляемые провокациями кулаков. Люди уводят лошадей из колхозных конюшен, разбирают семенной фонд...

Евгений перевел дух и приготовился докладывать дальше, но Косиор коротким движением руки остановил его:

— Позвоните товарищу Карлсону.

Карл Мартынович отозвался тотчас же.

Отрывисто поздоровавшись, Косиор спросил:

— Что у вас есть по Ивашковскому округу? Я тут знакомлюсь со сводными данными нашего сельхозотдела. Особое неблагополучие на Ивашковщине. Как обстоит дело по вашим материалам?

Косиор положил локоть на стол и приготовился слушать. Из неплотно прижатой к уху трубки вырывались отдельные слова Карлсона, из которых Евгений мог понять, что тот дает характеристику положения в округе и что она не радует. Об этом можно было догадаться и по выражению лица Станислава Викентьевича.

Евгений так хорошо изучил это своеобразное лицо, подверженное мгновенным изменениям, отражающимся не только во взгляде, как у большинства людей, а в каж-

дой частице, особенно в изгибе губ, выразительно сомкнутых, или слегка кривящихся, или полураскрытых в улыбке.

Косиор долго слушал молча, и Евгений даже удивился, зная, что Карлсон обычно немногословен.

В знакомой манере Косиор коротко и резко спросил:

— А в чем выражаются незаконные действия? Запугивание селян, запрещение отпускать товары в кооперации не колхозникам?.. Ага, значит, жалобы имелись...— Он послушал еще минуту и сказал: — Я могу понять вас так, что события в округе вызваны, во-первых, возросшей активностью кулачества и, во-вторых, неправильными действиями советских и партийных органов. И еще: суды не всегда принимали к производству обоснованные жалобы на злоупотребления...

На это Карлсон ответил коротко и, по-видимому, утвердительно, потому что Станислав Викентьевич быстро продолжил:

— Понятно, что кулачье тут же использует эти неправильности. Попрошу подробную записку о положении по вашим данным. И немедленно. До свидания.

Станислав Викентьевич положил трубку и еще мгновение не снимал руки с нее, словно не мог оторваться от услышанного. Не мог — или не хотел? — принять его, освоить. Или уже, приняв и освоив, не мог включить работу мысли, которая всегда направляла его на быстрые энергичные действия.

«Потому что он сам так много отдал как раз этому округу, да, да, ведь пестовал, выхаживал с самого начала ростки коллективизации... А как радовался им!» — вспомнил Евгений.

С болью раздумывая об этом, он искал подтверждения своим мыслям в лице секретаря, не угадывая в нем того, что стояло за огорчением, за озабоченностью, не мог проникнуть в глубину его душевного состояния, которое вклю-

чало в себя сложности уже иного порядка, как бы глобальные...

Евгений закончил доклад, и, когда он собирал бумаги в свою сафьяновую папку с надписью: «На доклад товарищу Косиору», тот сказал:

— Поедете со мной в Ивашковский округ. Нам надо выехать не позднее... Сейчас мы выясним точно!

Он позвонил секретарю. Андрей Дугинец вырос на пороге как из-под земли. Его покрытое красноватым весенним загаром лицо выжидательно обратилось к Косиору.

— Что у нас на этой неделе? Посмотрите в календарь.

— Я и так помню, товарищ Косиор. Завтра в двенадцать ноль-ноль выступление на совещании работников культуры.

— Сообщите товарищу Скрыпнику, что я выступлю в последний день совещания.

Далее выяснилось, что назначены к приему нарком-здрав, делегация иностранных журналистов, председатель спортивного общества «Динамо».

— Все отменить,— перебил Косиор и обратился к Евгению: — Мы выедем завтра в ночь. С нами поедет... товарищ Немченко из отдела сельского хозяйства.— Он подумал: — И еще кто-нибудь из республиканской прокуратуры... Скажите товарищу Михайлову, чтобы выделил из наблюдающих за деятельностью местных судебных органов. Пусть выезжают немедля и ждут меня в окружном центре.

Он прихлопнул ладонью по столу и — Дугинцу:

— Машину готовьте голубцовскую...

— Так ведь тряская очень,— заметил Андрей.

— Зато не станет по дороге. Прогноз — на дожди... Ох, хорошо бы! Маловато дождей.

Косиор смахнул с лица минутное расслабление:

— Вызовите ко мне Нефедова...

Андрей повернулся, чтобы идти выполнять, но Косиор крикнул ему вдогонку:

— И Луцкую тоже!

Поскольку Нефедов руководил агитработой, а Луцкая была его главным референтом, Евгений, все еще не получивший разрешения уходить, понял, что Косиор будет их «мотать» по поводу идеологической работы на Ивашковщине.

Евгений радовался предстоящей поездке, как мальчишка воскресной прогулке. Если каждодневное общение с секретарем ЦК обогащало его опытом государственной и партийной работы, то совместные выезды давали еще и другое: опыт жизни. И само присутствие вблизи Косиора, не кабинетное, а в каких-то иногда неожиданных обстоятельствах, среди людей новых и разных, сама обстановка дороги, хотя по большей части в знакомых, но все же чем-то новых местах, улыбались ему.

Оставшись один, Косиор подошел к окну. Зрелище дома Госпрома, всегда, даже неосознанно, благотворное, скользнуло мимо, не смягчив ощущение как бы удара. Удара внезапного, хотя сведения об «откате», о каких-то, казалось, неизбежных потерях были и раньше. Да, неизбежных: при таком резком устремлении вперед... Откатывается же чуть назад автомобиль перед тем, как взять разбег на гору... Это как отдача при выстреле: ты и не почувствовал толчка в плечо, весь поглощенный поражением цели. Но поражена ли в данном случае цель?..

Так что же? Разве не достигнута или, во всяком случае, максимально не приближена цель: могучее преобразование деревни, не только политическое и экономическое, но и нравственное, духовное? Потому что оно означало конец «патриархальной тупости и забитости сельского населения».

Бой, что шел сейчас, был классовым. И своеобразие его заключалось в том, что осужденный историей класс в своем бешеном сопротивлении увлекал за собой близлежа-

щую «периферию», всех тех, кого народ метко назвал «подкулачниками», всех, кто хоть и «под», но на решающем повороте уже «с» — с теми, кто ближе им, чем от веку презираемая «голота». С кулаками. А просто обманутые? Просто косные?

Да, все так. Но ведь не сигнал о простом откате, допустимом и безусловно предвиденном, услышал он в докладе о положении на Ивашковщине. Так могло преломиться услышанное в голове работника района, округа даже. Но он, генеральный секретарь ЦК, должен мыслить другими категориями. Перед ним лежала вся страна. И эта страна была Украина! Такое важное звено в крепкой цепи советских республик... А крепость этого звена зависела и от успешности хода преобразования деревни.

Все эти бесспорные мысли составляли только фон, сложившийся не сегодня, а существовавший с самого начала. Из него же, словно языки пламени, вырывались другие, обжигающие его лично и ранящие мысли о себе. События в стране давно стали фактами его собственной биографии. На той высоте, на которую он волею партии был вознесен, каждый шаг его пробуждал далеко разносящееся эхо. Что же, где-то сделал он неверный шаг? Он шагал вперед. Только вперед. Но, может быть, слишком безоглядно? Слишком самонадеянно? Слишком упоенно...

Да, было упоение результатами, разбег, от которого на какой-то миг перехватывало дыхание... А в этот миг, именно в этот, когда терялось представление о подлинном соотношении сил, миг безоглядности, решались судьбы человеческих масс. И судьбы самого движения.

Еще в 1929 году Пленум ЦК ВКП(б) предугадывал трудности колхозного строительства. Именно ввиду этих трудностей была создана комиссия Политбюро ЦК ВКП(б). Он вошел в нее вместе с другими руководителями партии и правительства, представлявшими крупнейшие края и области. Эта комиссия была призвана исследовать эконо-

мическую обстановку в разных районах страны, чтобы подготовить проект постановления о темпах коллективизации. Косиор принимал тогда деятельное участие в работе комиссии и сейчас думал о том, что многое было предусмотрено и все же жизнь подкидывала новые обстоятельства и требовала дополнительных решений.

Все еще стоя у окна, не чувствуя, что холодный воздух охватывает его всего, он вспоминал... Какой подъем, какая гордость, какая уверенность были в нем, когда каждый день приносил сводки об успешном ходе коллективизации, когда он, трезво и придирчиво оценивая их, подписывал свои доклады в Москву. Даже в официальных бумагах он не мог скрыть своего торжества! И оно не омрачалось соображениями об издержках, которые казались неизбежными. Почему же теперь тень от них упала на безоблачные страницы тех докладов? Потому, что отлив из колхозов оказался не случайным? Потому, что он доказывает поспешность, непродуманность? А где-то, может быть, и преступный нажим, пренебрежение принципом добровольности... О котором говорил Ленин. И напомнил Сталин...

Разве правильность общего курса оправдывает ненужные, необязательные жертвы? Когда где-то вместе с кулаками «раскулачивались» середняки? Когда вместо разъяснения колеблющимся их отталкивали от колхозов.

Он был одним из тех, кто вел. А разве не на ведущего возложен исторический и нравственный долг: оглянуться, не теряет ли он кого-нибудь на крутом повороте. Не просто «кого-нибудь», а союзника...

И здесь появлялись горькие и знакомые размышления, укладывающиеся в короткое и разящее слово «ошибка»! И уже к себе, только к себе обращал он все тяжелые мечи и тонкие иглы, что содержались в этом слове.

Тогда в Питере, в самом начале, в упоении первых боев за революцию, первых побед, решался вопрос о войне и

мире. По существу, основной вопрос дальнейшей судьбы Советского государства. И был тогда Ленин. Он видел дальше их всех, кто стоял близко от него и принимал его слова как мудрость самой революции.

Необходимость заключить мир с немцами на тяжелых условиях была необходимостью жестокой. Но вместе с тем и единственным выходом в сложившейся исторической обстановке. И Ленин увидел это. Ленин рассмотрел возможность передышки и был готов вырвать эту передышку ценою жестокого мира, потому что было необходимо собрать силы, укрепиться. Продолжение же войны в условиях, когда кайзеровские войска угрожали Петрограду, означало гибель революции.

Косиор понял значение этого шага не сразу: потом. Он был тогда молод годами, но ведь уже с опытом — нечего тут прятаться за молодостью,— уже с опытом борьбы за плечами. С тюремными «университетами»... И годами ссылки. И рабочая закалка, и марксистская подготовка тоже... Был опыт борьбы с самодержавием. Но не было опыта партии, стоящей у власти, опыта решения судеб революции в сложном переплетении мировых проблем.

Косиор не принял тогда ленинского решения. Поддался на красивую левую фразу о «революционной волне», о развязывании революции на Западе. В этой оглядке на Запад было нечто авантюрное, опасно завлекательное, органично чуждое Ленину с его глубоким и честным взглядом на трудность положения.

Но Косиор не понял этого. И тень этой ошибки следовала за ним как урок и предостережение.

Были ли сегодняшние ошибки сродни той, давней, искупленной многими годами строительства новой жизни? Нет, теперь было другое: пренебрежение арьергардом, безоглядность, магнетизм победительных фактов. Иногда даже забвение того, что за фактами скрываются процессы

жизни, и они не всегда укладываются в стройном порядке и сопротивляются, когда их втискивают насильно.

И снова с упреком, тем более тяжким, что он обращал его к самому себе, Косиор вспомнил длинные столбцы победных сводок, такие убедительные, такие плотные, что через них не пробивались сомнения и оглядка.

И он, по своему обыкновению, энергично обратился к мыслям: как исправить? Экономическая выгода коллективного хозяйства для крестьянина-бедняка и середняка бесспорна. Но эта бесспорность не стала ясной для всех бедняков и середняков. Значит, ее не сумели ни доказать, ни показать. А доказывать и показывать надо не тому, кто уже проникся этой мыслью и составил опору партии на селе, а тем, кто остался за чертой. И в этом главная задача кропотливой, повседневной партийной работы на селе.

Усилия в этом направлении ослабели,— это факт! И соответственно усилилось давление враждебных сил. И в сфере организационной, и еще более в сфере идеологической следовало в каждом случае искать причину прорыва. И устремлять в прорыв боевые порядки партии...

Тогда, когда шла речь о Брестском мире, это был вопрос о судьбах Советского государства. А теперь? Разве опасность разрыва с середняком, потеря этого главного союзника, разве это не вопрос о судьбах государства?

Но об этом ведь и говорил Сталин, и опирался он на слова Ленина об отношении к крестьянству.

Мысли о Сталине никогда не были отрывочными. Здесь существовала какая-то закономерность: они включали в себя множество сопутствующих главному деталей.

Так и сейчас, вспоминая свою последнюю встречу с ним, Косиор восстанавливал в памяти все предшествующее. Да, пожалуй, с той минуты, когда он въехал в Кремль.

Нет, нет, еще раньше, когда раздался телефонный звонок и спокойный, даже какой-то безличный голос произнес: «С приездом, Станислав Викентьевич! Пожалуйста,

будьте на месте. Товарищ Сталин в течение ближайшего часа вас вызовет».

Потом, меньше чем через полчаса: «Вы у себя, Станислав Викентьевич? Скоро вам позвоню»... Как будто Косиор находился не поблизости от Кремля, а где-то на другом конце города. Но так уж заведено. В привычности этого порядка есть что-то значительное.

Чуть замедлив ход, машина въехала в Кремль через Спасские ворота. Часовые козырнули.

Холодное февральское утро, ледяные корочки лужиц, даже на взгляд хрупкие, иссечены тонкими паутинными морщинками. По обочинам аккуратнейшим образом разметенной улицы еще живет зима в невысоких голубоватых сугробчиках, знакомо обозначающих плавный поворот на Ивановскую площадь.

Знакомый подъезд. Не так давно он бывал здесь ежедневно. Днями и ночами. Длинный и широкий коридор тоже был хорошо знаком ему со своими высокими, как в музее, дверями. На повороте коридора дежурный, вытянувшись, сдвинул каблуки:

— Здравия желаю, товарищ Косиор! —Четыре года тому назад, еще курсантом, он стоял на внешнем посту в Кремле.

Мельком Косиор отметил, что молодой человек раздался в плечах и во всей его фигуре проявляется пройденная школа. Почему-то от этого яснее ощутилась дистанция времени.

Пройдя еще шагов двадцать, Косиор снова повернул,— здесь все было ему знакомо до мельчайших подробностей, до замина дорожки на повороте. Таким все и запомнилось. Не могло не запомниться. Потому что было связано с самыми серьезными событиями в его жизни — жизни партийного деятеля: в декабре 1925 года, на XIV съезде партии, когда решался кардинальный вопрос индустриализации, он, вооруженный опытом практической работы

и теоретическими трудами Ленина, отражал атаку оппозиционеров, отрицавших возможность построения социализма в СССР. И после съезда был избран секретарем ЦК ВКП(б) и членом Оргбюро. Тогда и началась его работа в Москве, в Центральном Комитете, в главном штабе теоретической и организационной работы партии. Это была великая школа строительства коммунизма во враждебном окружении и великая школа глубокого понимания соотношения классовых сил во всем мире.

Более двух лет он с головой был погружен в горячую атмосферу этого партийного штаба, учившего решению вопросов в масштабе всей страны, в соотношении с проблемами мира...

Все припомнилось, потому что порядок в Кремле и путь по коридорам — это было все много лет назад таким же точно. И настроение перед разговором со Сталиным, напряженное, немного даже настороженное и вместе с тем подъемное, было то же.

С этим настроением он открыл дверь в очень большую комнату, в которой просто тонули три письменных стола, хотя были тоже велики. За ними сидели молодой военный и два референта, которые одновременно поднялись при появлении Косиора.

Это и была приемная Сталина. Дверь налево, как он знал, вела в его кабинет.

Невысокий мешковатый человек поздоровался с Косиором. Говорил он так же негромко и бесстрастно, как по телефону: без эмоций, без эмоций! Так уж здесь заведено.

Косиор вошел в кабинет Сталина, дверь за ним закрылась без стука.

Сталин поднялся навстречу Косиору, и они встретились уже на середине кабинета. Обменявшись рукопожатием, оба уселись за длинным столом, покрытым зеленым сукном. В двух-трех шагах от них, в глубине, но не у стены комнаты стоял письменный стол, за которым работал Ста-

лиц. На нем и сейчас лежали в большом порядке папки с бумагами. Рядом, на расстоянии протянутой руки, был столик с телефонами.

Над письменным столом висел портрет Ленина, а на боковой стене — портреты Маркса и Энгельса.

Все это было так и прежде.

Но сам Сталин показался Косиору другим, не таким, каким он его знал, когда работал в Кремле. Он был сосредоточен, спокоен. Не подчеркнуто спокоен, как можно сказать о некоторых, а просто спокоен. Сосредоточенность его была такого рода, что говоривший с ним проникался абсолютной уверенностью, что Сталин его слушает внимательно и как бы творчески, то есть что идет работа мысли, которая следует за твоей речью, не перебивая ее. Было ли так в действительности, Косиор не мог бы сказать, но у него рождалось ощущение: Сталин очень сосредоточен на словах собеседника.

В эту последнюю встречу Сталин был хмурый. Трубку он держал в руках набитую, но еще не зажженную. Когда он закурил, то хорошо знакомым Косиору машинальным движением другой руки придвинул к себе пепельницу. Косиор же курить не стал.

Сталин слушал доклад о положении на Украине. Минут десять Косиор говорил не останавливаясь, но и не торопясь. Сталин не перебивал его. Но с первых же слов поднялся и заходил по комнате, медленно и бесшумно переступая в своих мягких кавказских сапогах.

Странным образом то, что он двигался во время твоей речи, никогда не создавало впечатления какой-то рассеянности его. Наоборот, сосредоточенность все время чувствовалась.

Может быть, это происходило оттого, что Сталин и на ходу обращал лицо к собеседнику, как бы полнее этим выявляя свое внимание к его речи. Эта манера Сталина — Косиор был уверен в этом — была не выработанной, не ус-

военной, абсолютно естественной, как, впрочем, все было естественно в этом человеке. Невозможно было в применении к Сталину допустить даже тень мысли о каком-то наигрыше, о каком-то выработанном стиле общения с людьми, о какой бы то ни было позе. Он наверняка никогда не смотрел на себя со стороны. Возможно, это проистекало от сверхуверенности в себе и несклонности к самоанализу.

Косиор не чувствовал робости в обществе Сталина, хотя волнения было достаточно! Но то была не робость: что-то иное, более сложное. Один партийный работник, человек не робкого десятка, из тех, кто не был вхож лично к Сталину и попал к нему впервые, рассказывал Косиору, что не мог скрыть своего волнения. И Сталин, задав ему какой-то вопрос, сказал:

— Да вы не волнуйтесь, товарищ. Чего волноваться!

И этот партийный работник ответил:

— Товарищ Сталин, личное свидание с вами — это ведь большое событие в жизни человека, тем более партийца.

На это Сталин чуть-чуть усмехнулся, как будто сказав: «Да, пожалуй...» — и продолжал спокойно слушать.

При всем этом была в Сталине, постоянно была какая-то жесткость, которую он не старался, а может быть, и не хотел смягчать. Она была тоже присуща ему, неотъемлема и непреходяща, как следы оспы на его лице.

Косиор подумал, что хорошо знает лицо Сталина. Он ведь часто и подолгу с ним общался... Но вот уж что он точно сформулировал — про себя, разумеется,— Сталин был человеком, к которому нельзя привыкнуть. Да, уж что-что, а привыкание здесь исключалось!

В этот раз, как чаще всего бывало, Сталин сидел рядом с Косиором — не совсем рядом, потому что стульев было много и стояли они чередой,— через два-три стула, так что можно было разговаривать в свободной позе и негромко. Впрочем, здесь никогда никто не говорил громко. Сам Сталин — тоже.

Утро разгоралось, и солнце хорошо освещало лицо Сталина с мелкими оспинами на носу и на щеках и с жестковатыми на вид усами, заметно пожелтевшими.

Сейчас, вспоминая эту последнюю встречу, начиная с первых слов, после вопроса Сталина о семье, о жене и детях и кончая его заключительными словами: «Желаю успеха!» — Косиор помнил не столько дословные выражения Сталина, сколько мысли, им выраженные.

То, что через короткий срок после этого было сказано в статье Сталина «Головокружение от успехов» — это уже в начале марта,— не было повторением сказанного тогда в кабинете.

Естественно, что с Косиором Сталин говорил о том же самом, но на другом уровне, чем он сказал миллионному читателю своей статьи. Суть была та же, но в разговоре она являлась в форме более обобщенной, потому что какие-то понятные им обоим истины не нуждались в разжевывании.

Главным же пиком беседы было: опасения за нерушимость союза с середняком. За то, что искривления партийной линии в проведении коллективизации на местах — меры принуждения вместо разъяснения — могут ослабить союз с середняком.

В этой беседе Сталин не употребил слова «головокружение», хотя речь шла о том же. Косиор понял, что это слово было найдено Сталиным специально для статьи, как метафора, наиболее понятная массам. И даже народная, потому что «закружилась голова» — это было понятно каждому. И несомненно, выражение: «С похвал вскружилась голова» — было выхвачено баснописцем из народной речи. В беседе же с Косиором Сталин говорил о «самомнении» и «зазнайстве». Эти слова сохранились в статье.

Сталин употребил также выражение: «Опасные и вредные для дела». И хотя в беседе он этого не детализировал, но подводил к той мысли, что именно сельскохозяйствен-

ная артель с ее обобществлением основных средств производства и необобществлением приусадебной земли, мелкого скота, птицы и есть основное звено колхозного движения.

В беседе — это потом повторилось в статье — Сталин говорил о вредности забегания вперед, об опасности потерять массы и оказаться в изоляции.

Это было странно, но Косиор не мог поручиться, что Сталин произнес застрявшие в его голове слова о «первопроходцах» и об «одиночестве»... Нет, он не мог точно сказать, что то были слова Сталина, но знал, что именно разговор со Сталиным возбудил у него эти мысли: «Мы первопроходцы»... В огромной стране, абсолютно одинокой в мире. То, что миллионы людей за рубежом обращены к нам лицом, поддерживает нас. Да, конечно, поддерживает, но не исключает нашего одиночества... Великого одиночества среди государств с другим строем. Такого глубокого одиночества, в каком может быть разве только затерявшаяся в галактике звезда. Нет, еще более глубокого, потому что галактики бесстрастны. А эти, среди которых мы летим с космической быстротой, они опасны, враждебны!.. В таком одиночестве, в таком положении первопроходцев неизбежны ошибки — особые ошибки — ошибки первопроходцев. И мы, первопроходцы, за них отвечаем перед историей. Только мы. А те, которые потом придут, они таких ошибок не сделают. Мы их на себя приняли... Чтобы им потом было легче идти по нашему следу. Как на лыжне... Да, одинокая страна, взмывшая как комета из мрака. Она не могла погаснуть. Она должна зажечь другие миры.

Когда этого не случилось, когда она осталась одинокой в бушующем вокруг нее море ненависти, первопроходцы приняли это, как принимали многое другое на свои плечи. Потому что идея Ленина о победе социализма в одной стране была для них путеводной звездой.

И вот здесь и началось... Все, все, кто ненавидел этот авангард, эту орлиную стаю, поднялись, чтобы потушить одинокую звезду.

Но она не погасала.

И была большая периферия, хвост этой кометы, который оторвался. Были люди — носители сомнений, они ловили их, собирали, и тогда рождались всякие «теории». Они бросались под ноги идущим, они ложились на прямую дорогу препятствием, которое преодолевалось, но при этом терялись силы и ослаблялось движение вперед...

Какая бурная, драматическая и счастливая жизнь прожита и государством, и каждым его гражданином, а ведь впереди еще столь многое!..

И вероятно, оптимизм — явление очень сложное, диалектически противоречивое. Оно ведет из бездны на высоту через пропасти.

Странная мысль: пусть все есть в жизни. И драма непонимания, и вражда... Но и со всем этим жизнь интересна, и никогда не прекращается в человеке ее веселая и неизбывная жажда.

«Мы не имеем опыта в истории,— горестно и горделиво думал Косиор.— Да, конечно, была французская революция — так это буржуазная... Коммуна... Наконец, 1905-й, «генеральная репетиция»... Но это же не то... Не то, что удержать власть. И не только удержать, но и держать... Держать на своих плечах диктатуру... Такую диктатуру пролетариата! В союзе с крестьянством. Да, с той его частью, которая уже выкристаллизовалась, как наша опора и союзник... Но этот процесс кристаллизации... Он, кажется, даже в химии — бурный... А тут посложнее, и дольше, и мучительнее. Все — через человеческие судьбы, через жизни... Все сложно, многослойно... И величественно!»

Он ощутил приближение этого своего состояния, похожего и на вдохновение, и на прозрение, что ли... Когда

внутренним взглядом он охватывал новую даль, новые горизонты. И хотя это было, конечно, внутреннее, душевное состояние, но вместе с тем и в какой-то мере физическое: глубже становилось дыхание и дышалось словно бы озоном, и каждый мускул наливался силой и молодостью. Даже кожа как будто омывалась свежим ветром.

Сейчас он так заключил ход своих не очень стройных рассуждений: видел ли Сталин, знал ли, что есть в «перегибах» не только политическая, но и нравственная опасность?

2

На деревенской площади стояло в ряд несколько телег. Выпряженные лошади переминались у коновязи. Приземистое кирпичное здание старинной кладки виднелось издали недавно покрашенной ярко-зеленой крышей. Над ней полоскался по ветру серый султан дыма.

— Не иначе, бывший кабак,— сказал Косиор.

Евгений в своих очках уже прочел вывеску: «Чайная райпотребсоюза».

— Чайная так чайная. Как там у нас с харчишками?

— С харчами порядок, Станислав Викентьевич,— заверил водитель.

Трое приезжих городского вида обратили на себя сдержанное внимание посетителей чайной. Их было человек десять. Все немолодые, в затрапезной одежонке — по погоде и будням. Хотя в помещении стояли свободные столы, сгрудились за одним в каком-то общем разговоре. Центром внимания был невзрачный мужичонка с узким костлявым лицом, на котором просто написано было, что обладателю его пальца в рот не клади. Он сидел во главе стола, а крайние чуть не ложились на столешницу — как бы не пропустить чего!

Обернувшись на вошедших, говоривший умолк, но, так

как новые посетители, заказав чай, углубились в еду, разговор за столом возобновился.

— И вот подступает ко мне председатель колхозу,— продолжил свой рассказ ядовитый мужичонка.— Ты, говорит, Юхим, конюх: то есть при конях, значит. Твое дело сполнять мой приказ. Кому, значит, коня для какой надобности — тебя не касаемо. Не, говорю я, при старом прижими оно, може, так и було. А зараз, говорю, я есть управляющий конюшней, на правах хозяина, поскольку кони обчие, колхозные, и мне обязан каждый докладать, куда и для какой надобности потребно коня... Чи ты сдурел, Юхим, говорит он и ногой дрожит — хвылюеться! — Кто это будет тебе подотчетный? А тот, говорю, подотчетный, кто бывшего своего коня, которого на колхозный двор свел, теперь обратным ходом в свой двор ведет... И таких, говорю, случа́ев недалеко, говорю, искать. Петр Кривой своего коня вывел и в свой сарай поставил. Ленка Пискуха с сыном кобылку вывели? А другим я не дал. И ты, председатель, хучь пиши сто записок, я живое тягло должон сохранить в целости, или давай мне справку, сколько заработал, и я в полевую бригаду уйду. Только пробачте, товарищи, все как есть отпишу в самый ВУЦИК до Григория Ивановича Петровского...

— Во дает! — не то одобрительно, не то осуждающе обронил кто-то.

Юхим, ободренный вниманием слушателей, сделал обеими руками как бы приглашающий жест, все придвинулись ближе, стало тише, и не слышно было уже дальнейшего.

Зато за соседним столиком примолкшие было бабенки возобновили страстным шепотом интересный разговор.

Та, что постарше, в городском платье с шелковой косынкой на плечах, самозабвенно выкладывалась:

— А то, что сап идет то ли из Персии, то ли из Ашхабада, так это точно. В Харькове на Благбазе сама слы-

шала. Говорили, что трех человек забрали: сапных. А одну женщину, люди говорили, у них на глазах из трамвая вытащили и прямо в черную машину...

— Это зачем же? — спрашивала молодайка, глаза ее, круглые, испуганные, впивались в рассказчицу.

— Куда же, раз сап? В больницу и прямо на электрический стул! Чтоб заразы не осталось.

— Жах який! — кидало в дрожь молодку.

— Да, вот потому-то и объяву повесили,— загадочно произнесла старшая.

— Какая такая еще объява? — слабым голосом спросила молодая.

— Объява такая: все, кто ел мясо на той неделе в пятницу и субботу, должны явиться на регистрацию...

— Ох, батюшки, что же в том мясе?

— Чего не знаю, того не знаю...

Женский шепот потонул во вновь разгоревшемся разговоре за большим столом. Все тот же Юхим преувеличенно громко, словно хотел, чтобы его услышали и приезжие, тянул свою линию:

— А что вы, мужики, говорите: мол, резону нет... Так это что ж? Ваша правда. В сельпо пустые полки — опять же правда. Горшка — борщ сварить — не дождешься. А насчет одёжки, обувки — не думай, не мечтай...

Кто-то за столом подал реплику, и Юхим подхватил ее с азартом и опять же громче, чем, собственно, требовалось:

— Твоя правда: куда реманент подевался? Сеялки, к примеру, зачем у Чумаревых? У брательников Чумаревых и так двор полнехонек. Чисто тебе машинопрокатная станция... А станешь говорить — куда там: «культурное хозяйство»! А того не взять в расчет, что самое культурное поихнему хозяйство — кулацкое. Те же брательники, слава те господи, знаем их как овцу облупленную, как они «культурное» хозяйство подымали — на батрацких спинах!

Евгений, с невольной улыбкой слушая речь интересного мужика, следил за выражением лица Станислава Викентьевича. Они давно уже закончили свое чаепитие, но Косиор внимательно слушал, и Евгений подумал, что для него характерна манера слушать напряженно, словно впитывая, вбирая в себя не только слова, но и интонацию говорящего. В то же время шла работа его собственной мысли, то сливаясь с услышанным, то отталкиваясь от него. Евгений угадывал это часто на пленумах или совещаниях в репликах Косиора, но чаще — в заметках, которые он делал своим четким разборчивым почерком и потом передавал Евгению. Он научился их читать и класть в основу проектов решений, писем ЦК или повестки каких-то новых форумов.

Сейчас, сидя спиной к ораторствующему Юхиму, Косиор, видно, не пропустил ни слова из сказанного. Короткой сильной рукой он горизонтально подрезал воздух и поднялся. За столом замолчали, и все взгляды обратились на него.

Он подошел к столу и не успел еще сказать чего-то, что, видимо, собирался, как Юхим, поднявшись и картинно отступив в сторону, произнес с хитроватой интонацией:

— Здравствуйте, товарищ секретарь Центрального Комитету,— и посторонился, давая место.

— Здравствуйте, товарищи колхозники! — Станислав Викентьевич обвел взглядом лица, выражавшие каждое посвоему внимание и некоторое удовлетворение, но отнюдь не удивление. Как бы говоря: «А вы думали, мы лыком шиты? Сразу узнали!..»

— Хочу вам два слова сказать... Сказал бы больше, да времени мало. Слушал я вас тут, и такие у меня мысли: все вы правильно судите, слов нет. Одно только неправильно: не почувствовали вы себя хозяевами. Это — нет. В чем сила зажиточного селянина? Он у себя во дворе хозяин! За свое добро он зубами и когтями держится.

И даже государству нашему со всей его силой приходится власть употребить, когда надо. А вы, вы хозяева в своем большом доме: в колхозном. За вашей спиной — вся страна. Все для вас в нашем Советском государстве. Не для худшего, а для лучшего мы позвали вас в колхозы. Доказывали. До хрипоты разъясняли... Но уж когда пошли вы, создали колхоз, то будьте в нем хозяевами, а не наймитами. Держитесь за свое добро. Сами, сами должны хозяйновать. А мы поможем, подопрем, поддержим. И рабочий класс подсобит. Мало разве посылаем мы на село кадровых рабочих — сильных организаторов? Советуйтесь с ними, принимайте в свою колхозную семью. Трактора даем, помогаем сортовыми семенами, дадут вам нужные для колхозов товары! Вот так, громадяне! А про что здесь говорено, то правильно...

Все сразу заговорили, окружили Косиора, и он, подозвав поближе Евгения, велел ему тут же записать претензии селян.

Идя к машине, довольный разговором, Станислав Викентьевич сказал:

— Хороший у нас народ. С государственным сознанием. Навыков еще нет, навыков колхозного строительства. Самостоятельности. Это все придет, как же иначе? Главное, чтоб народ понял свою пользу.

Он помолчал и добавил:

— А заставлять, силой принуждать такой народ — преступление! Просто преступление.

Машина все еще не налаживалась. Косиор решил пройти по дороге пешком. Хотя прогулка эта затянулась, он, видимо, ничего против этого не имел.

— А Гаруна аль-Рашида из вас, Станислав Викентьевич, не получается,— сказал, смеясь, Евгений, когда они уселись в догнавшую их машину.

Солнце склонялось к горизонту, и между черными стволами близлежащего леса просвечивало багряное, густо

заштрихованное серо-синими тенями небо. Дорога шла по опушке, огибая лесок. С другой стороны тянулся овраг, один из тех оврагов, что составляли горе края: оползни, трещины, гибель, гибель плодородной украинской пашни.

— Видите,— обернулся Косиор к Евгению,— представляете, какие проклятия несутся в адрес наших прославленных мелиораторов, черт бы их побрал! Сюда бы их. А то боятся зад поднять со стула!

— Станислав Викентьевич,— тихо сказал Евгений,— а мелиораторы-то кто? Почитай, все из кулачья.

Косиор с горечью подхватил:

— А землемеры? Но Наркомзем должен отвечать за то, что пустил на самотек подготовку кадров! Лопухи они там, лопухи, что ни говорите.

И хотя Евгений ничего не говорил, Косиор прибавил еще пару крепких выражений по адресу наркомземовских бюрократов, допустивших не только засоренность именно этой прослойки, которая так близко соприкасается с жизнью села, но и возможность свить там гнезда контрреволюции.

Дорога была пустынна, но на повороте вдали увиделась одинокая фигура невысокого мужика с тощим мешком за плечами.

— А ведь это давешний, из чайной. Оратор,— сказал Косиор и велел остановиться.— Вы куда, товарищ?

— Да к себе возвращаюсь, в Сосновку.

— Садитесь,— пригласил Косиор,— подвезем.

Юхим вежливо помялся, после чего полез в машину и уселся рядом с Косиором.

Сначала он односложно отвечал на вопросы Станислава Викентьевича, но потом каким-то образом Косиору удалось повернуть разговор на недавнее прошлое: осенние хлебозаготовки, которые, как оказалось, проходили в Сосновке весьма бурно и долго.

— Наша Сосновка — село невеликое, но и не из самых

малых. На сегодняшнее число сто два двора, не считая трех заколоченных. Из двух домов кулак Хромов со старшим сыном выехали. Скотину порезали, добро распродали, а сами подались, кто говорит, в Харьков, а кто говорит, даже в Сибирь на стройку, и, заметьте, товарищ секретарь, что у нас-то мы еще и не слыхали про раскулачивание, а они уже почуяли... Откуда им тем ветром подуло? А? Выходит: ин-фор-ма-ция! — Юхим подмигнул, поскреб щеку и раздумчиво продолжал:

— Раньше кто-то на самом даже верху говорил, что, мол, «обогащайтесь», то добре! А для кого то было добре? Для нас, незаможников, то было не добре. Для куркулей воно было добре. А чому ж нам при Советской власти и дальше под куркулями ходить? Но еще до дела, до колхозов не дошло, а смотрим: Хромовы уже шелевками в двух хатах окна зашивают. А насчет третьей хаты, что забита, то наоборот: Сенька Вощенко, наш комсомол, в гору пошел, в округ его взяли. А мать одна в селе осталась, в Красной Армии у ней два сына полегли, а отца их еще на германской газами удушило. Ей только и свету в окошке, что Сенька. Забрал он мать к себе.

Прошлый год осенью прошел слух: едет уполномоченный по хлебозаготовкам. Приехал. И кто же он есть, тот уполномоченный? Сенька Вощенко. Три дня сидели, кричали насчет твердого задания по продаже хлеба государству, поскольку наши куркули и не чесались хлеб государству продавать, а, наоборот, по ямам сховали. А брательник того самого Хромова, что из села сбежал, так тот ухитрился спустить в пруд, что за мельницей, десять мешков пшеницы. И никто про то не знал. И комар бы носу не подточил, кабы не рыболов Конон Ледащий, по прозванию Кончик, до работы неохочий, а все сидит с удочками. Але ж бач, закинув Конон удочку, а вона ни туды ни сюды, вытягнуть не може. Скинув вин штаны и нырнув. Бач, а крючок зачепився за мешок. Ну Конон хоч и ду-

рень, а догадався: видразу в сильраду. Бегом бежал. Як почали ти мешки доставать, так народ умаялся, бо зерно водой набухло. Але ж не пропало. Так верите, той хромовский брательник з досады напывся пьяный в дым, та в том же пруду утонув! Бо полиз дурень у воду, мабуть, думав, що його мешки ще там.

— А как же собрание? Вощенко слушали?

— Та ни, хто слушав, у того хлиба не було, а у кого был попрятан, так те молчком молчали три дня, будто онемели чи воды в рот набрали. И тильки пид кинець третього дня встал сын куркуля Танцюры и кричит: «Три дня сиднем сидим, что же вы, громадяне, хотите, щоб мы, як Илья Муромец, тридцать три года сидилы». Тут видразу поднимается Гапка Онойченкова, вдовая солдатка. Руки в боки упирает и обратно кричит: «Ты, Илья Муромец, три дня сиднем сидишь, а три ночи яму копал пид сараем, куда зерно свалил, а потом ту яму дровами заложил!..» Такой гомон поднявся! Председатель сельрады прямо надорвався, кричавши: «Граждане, тише!» А жонка Танцюры как завизжит: «Что же ты, сучья дочь, раньше молчала, а теперь напраслину взводишь!» А Гапка, вдовая солдатка, говорит: «Богом клянусь, что правду сказала». Председатель приказывает: «Гапка, выйди к столу» — и спрашивает: «Что же ты куркуля боялась, молчала?» — «Не куркуля, а бога, бога боялась»,— отвечает Гапка.— «А теперь не боишься?» — «А теперь не боюсь, нечего мне бога бояться! Потому что вы не божьи люди, а дьяволовы слуги. Народ кругом голодает, а вы хлеб прячете!» — и плюет на Танцюру.

Что здесь поднялось! «Врет, врет она»,— закричала Танцюра и лезет в драку. А Сенька Вощенко и говорит: «А ну, мужики, давайте разнимать баб, а то они покалечатся сдуру». Опять же Сенька говорит: «Чего зря народ баламутить, пойдем да побачим, чи е там в танцюровском сарае, в яме хлеб чи нема его».

— Ну и как, нашли хлеб-то? — спросил Евгений.

— А як же. Та Гапка три года у Танцюров батрачила, она сама ту яму рыла, з ними разом. Это теперь она сознания набралась, а в ту пору заткнули ей рот: дали трохи зерна. А надолго ли хватит с тремя детьми! Вот она и пришла в сознание.

Юхим передохнул, взял предложенную Евгением папиросу, помял ее, полюбовался, сунул в рот и с наслаждением затянулся.

— Духовитая та самая «Сальва».

Евгений засмеялся:

— Бери выше: «Казбек».

— А-а, той, що в бурке. Курил, знаю.

Он снова затянулся и продолжал:

— Однако той Гапке был перепуг великий. Увезли Танцюров хлеб, в хате вой стоял, бабы до самого вечеру выли. А вечером собрались две невестки Танцюры, да подкулачникова жонка Настя — здоровенная баба, да утопленника Хромова две девки-перестарки и жена кривобокая, только голосом берет. Вот такая компания собралась. Обче-ство. Послали девчонку Анютку, чтобы она вызвала Гапку на улицу, мол, в сельсовет ее требуют. Как Гапка вышла, кривобокая закричала: «В колодец ее, стерву, в старый колодец!» Набросились и потащили. Гапка не своим голосом орет, выскочили ее дети с плачем. А Хромова кричит: «И щенков туда же, в поганый колодец!»...

Я аккурат в это время во дворе сбрую ладил. Вдруг мой кобель как взбрехнет! Цыц, говорю ему, а он — пуще. К воротам кидается и мне хвостом показывает: иди, мол, сюда. Слышу крик. Думаю, бабы свару завели, однако слышу слова про поганый колодец да узнал голос утопленниковой жонки. Выскочил я на улицу, гляжу: цельный клубок баб. Ну чистые ведьмы! Тащут Гапку за волосья вниз по улице да ногами, ногами поддают! Ох, стервы! Гапка голосит, а девки Хромовы уже детей похватали... Я, как был с уздеч-

кой в руках, заорал во всю мочь, бегу за ними, а сам кричу: «Караул, мужики, рятуйте!» В эту пору у Демченки справляли крестины. Мужики выпивши были. Как выскочили они на улицу, так сразу хмель с них сошел. Ну и наподдали куркульским бабам! Вырвали Гапку у них, можно сказать, из рук. И детей. А девки убежали. Им и не попало. Нет.

Юхим снова затянулся, послюнив палец, потушил папиросу и спрятал в карман.

— Кабы не кобель, я б на улицу и не выбег. А не выбег бы, то не скликав бы народ. Утопили б воны Гапку в поганом колодце — факт.

— И что же,— спросил Косиор,— бабам так и сошло?

— Зачем сошло. Отписали в суд, нас свидетелями выставили. Вызывали всех, все по закону. Как же, как же. Два раза ездили в округ. Один раз на следствие, другой — в суд.

— Чем же кончилось?

— Да ничем.

— Как ничем? Были же свидетели.

— То в расчет не взяли. А суд постановил, что имелась драка. Дескать, бабы подрались, невеликое дело. Все виноваты, и нет виноватого. Вот, значит, такая ре-золю-ция.

Евгений много ездил с Косиором и любил эти поездки, несмотря на сложность их именно для него, Евгения. Хотя материалы по округам для таких поездок подготавливались, но на месте получался какой-то новый аспект, и выступление Косиора всегда было неожиданным, повернутым к жизни округа, как он ее увидел в поездке по районам.

Так и сейчас в Ивашковском округе первоначальные тезисы, которые подготовил Евгений для выступления на пленуме окружкома, обросли огромным количеством фак-

тов и наблюдений, которые не входили в противоречие с намеченными тезисами, но углубляли их, а иногда и уводили в сторону.

Евгений имел большой опыт в систематизации материалов, но на этот раз он потонул в них. И откровенно пожаловался на это.

— А вы вот что...— Косиор положил руку на стол ладонью вверх, как бы взвешивая на ней значительность собранного материала,— вы подберите факты по основным каналам: партийное руководство на основных этапах — при проведении коллективизации, здесь момент создания колхозов, все нарушения принципа добровольности, с одной стороны; с другой, растворение в стихии недоверия и нерешительности. И второе: момент консолидации колхоза — поддержка или пуск на самотек. Вот вам грубая схема, разбросайте по ней факты, фактов много!

Евгений усердно работал: сроки были предельно сжатые, работал ночью.

Гостиница окружного центра оказалась на уровне почти столичном: бывшее здание земельной управы, хорошо и красиво переоборудованное, было гордостью местных властей. Секретарь окружкома Борисенко, из молодых партийных кадров, шумливый, востроносый, деятельный, водил по всем трем этажам, показывал гостиницу...

Вдруг Косиор предложил:

— Ну теперь давайте в Дом колхозника.

— А что? — воодушевился Борисенко.— Хиба мы не маемо? Пидемо! — И был очень доволен, когда осмотрели добротное здание.

Посмотрели еще новые бани, школу, кинотеатр. Председатель исполкома, тоже из молодых кадров, покраснел от удовольствия, когда Косиор заметил:

— Красиво живете.

В такой обстановке благополучия Евгений, однако, опытным взглядом улавливал признаки близкой грозы.

Несмотря на экстренность созыва, пленум окружкома был подготовлен очень тщательно.

Евгений любил обстановку этих заседаний и их «диалектику», как он про себя называл этот процесс как бы разворачивания по спирали, которую Косиор неизменно вносил своим вторжением.

И всегда было так. Начиналось заседание чинно, торжественно и мирно. В тишине спокойные, словно деловитое жужжание пчел, переговоры членов окружкома, шелест бумаги, бесшумные шаги технических работников, раскладывающих материалы по столу, вежливое передвигание стульев.

Постепенно обстановка накалялась, речи — сильнее, напряженнее лица, дым от курева столбом, графины с водой пустеют — скрещиваются мнения!..

Доклад Борисенко был то, что называется: «факты и цифры». Они утверждали средний процент коллективизации по округу — шестьдесят. Борисенко заметил, что имеется некоторый «отлив», тут же добавив: «Видимо, неизбежный... Были искривления»,— Борисенко заглянул в свои тезисы, и голос его зазвучал жестко:

— Тебе скажу прямо, Коцюба, как секретарю Гнездинского райкома: допустили в Самохваловке какую вещь? Коммунист Яроцкий дал контрольную цифру, и то завышенную. И когда селяне набросали вопросов, то им сказали: «Контры вы все, в Соловках вам место, а не в нашем селе!» Не так разве было?

Коцюба оказался на вид вовсе юным — бывший секретарь комсомола. Видно было, что присутствие секретаря ЦК его стесняет, он опасливо поглядел в сторону президиума, но через несколько минут заговорил уверенно и по-комсомольски задиристо.

— Товарищ Борисенко привел тут факт... Действительно, имело место: облаяли селян ни за что ни про что. Да ведь кто облаял-то: товарищ Кучерявый, Дмитрий Борисович, уполномоченный окружкома!

За столом засмеялись. Борисенко схватился за колокольчик, но Коцюба продолжал быстро и настырно:

— Мы своевременно созвали наш актив, внушали каждому, в рот не только что слова вкладывали, а каждый чох предвидели...

Все опять засмеялись.

— Но согласитесь, товарищи, когда представитель окружкома задает тон, нам трудно перешибить создавшееся настроение. А настроение селян, которые еще в раздумье, еще на распутье, составилось такое: «Ну, раз мы — контра, тут уж ясно — не по-доброму». И что же, товарищи, получается? Вбит клин между нами и трудовым селянством!

Коцюба все больше распалялся, молодой голос его зазвучал звонко и уверенно.

— А в Красном Куте что? В Красном Куте газету со статьей про «головокружение» запросто спрятали. И комсомол зажали... потому что комсомольцы «пропавшую грамоту» вытащили.

Перекрывая шумок, Коцюба закончил свою речь под аплодисменты. Они смолкли, как только поднялся все время молчавший и не выражавший никаких эмоций редактор местной газеты Стебун.

Евгений догадывался, что молчал он до сих пор не потому, что ему нечего было сказать, а по той основной причине, что главные свои соображения он уже отписал в газете.

Чем-то Стебуна словно подстегнуло упоминание Красного Кута. С оттенком горечи он напомнил секретарю окружкома недавний спор именно по поводу Красного Кута. Секретарь окружкома взял под защиту уполномоченного по коллективизации, наломавшего дров в этом селе.

Стебун говорил без запинки, видно было, что этот материал достаточно намозолил ему глаза:

— По нашим данным, о которых я сообщал окружкому, в конце февраля в Красный Кут приехал уполномоченный по коллективизации товарищ Кучерявый...

За столом заседаний произошло движение, послышался смешок. Стебун игнорировал это и продолжал серьезно и с напором:

— Кучерявый собрал в сельсовете активистов. Он куда-то торопился и потому с ходу дал свою директиву, изложив ее в следующих словах...

Стебун вытащил из портфеля блокнот, развернул на заложенном месте и прочитал:

— «Товарищи активисты! Процент коллективизации по вашему селу недопустимый: двадцать — это не цифра! — Стебун оглядел всех, словно призывая оценить цитату...— Не цифра, дорогие товарищи. Прямо скажем, там,— на этом месте Кучерявый поднял палец вверх,— не-до-воль-ны...»

За столом даже не улыбнулись. Секретарь окружкома поерзал в кресле, но сохранял видимость спокойствия. «Тертый калач!»,— подумал Евгений.

— «Я сейчас еду по другим селам, не вам чета, там полный порядок. Для опыта еду,— читал дальше по блокноту Стебун,— когда вернусь с опытом, дня через два, чтобы у вас тоже был порядок. Семьдесят процентов, не меньше. От тогда мы и будем район сплошной коллективизации!»

Стебун помолчал, и секретарь окружкома поспешно спросил:

— Но активисты-то ведь не согласились нагонять процент?

— Активисты, в общем, помалкивали, только одна женщина, вдова,— Степун опять посмотрел в блокнот,— Христина Лихонос, спросила: «Та воны не хочуть, що з ними зробыш?» На что Кучерявый ответил: «Хай на себя пеняют, не хотят идти в колхоз, значит что? — значит, они

таки самы, як куркули. И з ими один разговор — раскулачить!» С тем Кучерявый и уехал.

Стебун закрыл блокнот и сел.

Секретарь окружкома сделал такое движение рукой, словно ему стал тесен воротник гимнастерки, и сказал примирительно:

— Товарищ Стебун давал нам сигналы в свое время. И были приняты меры. Кучерявого я вызывал. Но за его словами действий не последовало. Так — сотрясение воздуха...

— От такого сотрясения зашатать может,— уронил кто-то.

Вот с этого момента и начался накал настроения Косиора, ясно видимый Евгению и, вероятно, остальным.

Поднялся толстяк уже в летах, похожий больше на деревенского дядька, чем на секретаря райкома. Орден Красного Знамени на его груди был давний, с облупившейся в одном месте эмалью.

— Майборода сейчас отчибучит,— шепнул Евгению инструктор окружкома.

Оправив коверкотовый пиджак, в который было втиснуто его крупное тело, Майборода поглядел в потолок, потом на лист бумаги. Перевернул его кверху чистой стороной и, снова уставившись в потолок, словно отвлекаясь от окружающего, начал высоким, не по комплекции голосом:

— Мени здаеться, товарищ Коцюба — як той молодой бычок, что первый рогами наподдает и тын шатает... А за ним, и я, здоровый бугай, боком кинувся, глянь — и тын вже падае...

Раздался смех, но Майборода и не улыбнулся.

— Колхозы растут на процентах, як та опара на дрожжах, а в это самое время нас под бока толкает активность кулака и подкулачников. А колхозники... что колхозники?

Ждут помощи, а ее нету! Нету помощи кадрами! Агронома обещали — нема! Зоотехника прислали, так он коровы в глаза не видел! Я, говорит, в узком профиле специалист — по пушному делу... За ветеринаром скачи на край земли,— как тут животноводство развивать? Оно известно, как в телеге едешь, оглядайся на задние колеса! А воны не крутятся. И возьмет нетерплячка... Ну и,— Майборода сделал такой жест, словно взваливал мешок на спину,— раздавай семена! Отдавай корма! А товарищ Кучерявый... Да чего же вы смеетесь? Кучерявый, так он, мабуть, в одно время в десять сел поспевает! Як той призрак... Так вот, приезжает Кучерявый...

— Товарищи, товарищи, прекратите смех! — Борисенко тряхнул колокольчик,— продолжайте, товарищ Майборода!

Евгений исподтишка наблюдал за Борисенко. Тот держался достойно, видно было, однако, что он на пределе... И не будь здесь секретаря ЦК, он бы дал жизни «критикам». Это уж точно.

— Продолжаю. Приезжает, значит, товарищ Кучерявый мрачнее тучи. Садись — приглашаю ужинать. «Нет,— говорит,— не до ужина. Сколько процентов на сегодняшний день в вашем районе?» Тридцать пять — говорю. «Как тридцать пять? — Кучерявый за голову хватается: — И в прошлую пятницу было тридцать пять!» Так что ж, говорю, не кура-несушка, что по весне каждый день по яичку прибавляет. А он по горнице бегает, убивается, глядеть страшно: «Собирайте районный актив!» Собрали. Кучерявый начисто ночь не спал, готовился. Ну зато развернулся... Секретаря партячейки из Долгунцов в правые оппортунисты зачислил, обещал партбилет отобрать за то, что не довел до «цифры»... Контрольной, значит. А тому пальца в рот не клади! Встал и кричит: «Не вы мне партбилет давали, не вам его отбирать. И вообще вы самозванец». А тут еще кто-то голос подает, «Лжедмитрий»,— кричит.

А Кучерявого же Дмитрием звать. Уж тут он совсем взвился!

Перекрывая шум и смех, Майборода продолжал:

— От таких налетчиков-уполномоченных...— он покосился в сторону председателя и твердо выговорил,— окружкома больше вреда, чем от куркуля с подкуркульником вместе!

Борисенко, которого перекосило уже при слове «контрольная», схватился было опять за колокольчик, но удержался. Майборода закончил речь и под аплодисменты сел, утирая пот со лба.

После перерыва выступил Косиор. К этому моменту что-то изменилось в настроении собравшихся. Какую-то напряженность как будто сняло. Но вместе с тем из речей улетучился тон как бы вызова, адресованный Борисенко. Обнаружилось другое, более серьезное — накал разногласий между некоторыми секретарями райкомов и окружкомом. Разногласия сфокусировались на вопросах об искусственном повышении процента коллективизации, но сейчас уже прочно вошли в высказывания опасные слова: «искривление линии»...

Хотя уже было ясно, что пленум сегодня не закончится, Косиор взял слово, как понял Евгений, для того, чтобы завтра ввести прения в нужное русло.

Хотя Станислав Викентьевич смеялся вместе со всеми, в перерыве со многими разговаривал, вообще держался свободно и не «нагнетал», все же Евгений, так хорошо его знавший, улавливал ледяную струю в настроении секретаря ЦК. И ждал, что она выплеснется в его речи.

Косиор, однако, начал спокойно, почти академически...

— Всем известно, что линию нашей партии на коллективизацию сельского хозяйства мы отстаивали в жестокой борьбе. Прежде всего с правыми уклонистами. В этой борьбе отточилось наше партийное оружие, наша пропаганда, наше партийное слово, обращенное к советскому

селянству. Надо сказать, что многие наши окружкомы проявили негибкость, размагниченность, а главное — самодовольство, успокоенность на процентах, правильно говорили здесь... И позвольте мне, товарищи, в порядке большевистской самокритики обратиться к практике вашей работы. Коснусь в основном роли окружкома как организатора процессов, решающих судьбу села...

В кабинете стояла тишина. Было слышно, как под окном на площади прошелестел велосипед, процокала копытами лошадь, как надрывается в плаче детский голос...

— Вот инструктивное письмо окружкома,— Косиор поднял толстенькую пачку листков.— Очень хорошо, что, не дожидаясь первых итогов по ходу коллективизации, окружком обращается к райкомам со своим словом... Словом руководящего органа, словом, которое должно быть убедительным и веским. И все оно так и идет: принцип добровольности, разъяснительная работа... Все предусмотрено в этом письме. Однако все это как мелом на доске: написано — и стерто! Одним заключительным тезисом: «Даешь семьдесят процентов!»

Вот вам и «добровольность»! И смею вас заверить, что в районах, дочитав до этих строчек, начисто стерли — в уме! — все предыдущее. А что отсюда следует? Отсюда проистекают вот такие факты: на собрании селян председатель сельсовета Усольцев треснул кулаком по столу и объявил: «Не мытьем, так катаньем, а чтоб цифра была!» И вот эту цифру подымают, словно кнут над спинами... А жить под кнутом наш человек отвык, товарищи! И не для того он распрямился, чтоб такие, как Усольцев, на него замахивались! Усольцев имеет в кармане партийный билет вовсе не для того, чтобы командовать над селянином, словно сотский какой-нибудь... Но окружком прошел мимо этого факта. Как и мимо многих других...

Вот здесь сидит член окружкома по работе среди женщин Клавдия Прохоровна Саенко. Ее активистки на селе

огромное дело делают, смело подымаются против кулацкой агитации...

Вы, товарищи члены окружкома, в первую очередь секретарь окружкома, недооцениваете, отмахиваетесь от женской активности.

Вспомните дело в Грачевке. Вот вы все дыхание даже перевели, товарищи... Потому что оно на нашей партийной совести. Вместо того чтобы низкий поклон отдать женщинам-активисткам, а особенно партийкам, принявшим на свои плечи самую тяжелую ношу, работу в самых отсталых слоях деревни, вместо этого в Грачевке допустили травлю активистки! Застрельщиками выступили кулаки! А вы-то где были?..

В маленькую паузу вместились растерянное покашливание Борисенко, астматическое дыхание Майбороды, поскрипывание стульев под переменившими позу людьми... В эту же паузу вошло для Косиора воспоминание о Софье Бойко...

— Товарищи! В Сормине братья-кулаки Лепко собственными руками подожгли колхозный амбар с посевным материалом. Колхозники не дали сгореть, отстояли! Это хорошо. Поджигателей поймали с поличным, отдали под суд... А отца Лепко, фактического организатора, селяне постановили выслать как классового врага. Правильно я говорю?

Так вот, решение это сельсовет принял, да продержал под сукном два месяца. Постановление — продукт скоропортящийся! Лепко распродал имущество, и хлеб, и скот, и машины... Как видите, грубейшие ошибки мы совершаем не только в своей деятельности, но и в бездеятельности! Могу еще прибавить факт из вашей, товарищ Борисенко, так сказать, практики...

В Кисловке член партии Баев выступил на собрании по коллективизации так: «Если кто не хочет в колхоз, тот, значит, против Советской власти»... Вот такая политгра-

мота преподается сельским коммунистам! И хоть, как говорится, яйца курицу не учат, но, выходит, не всегда так. Потому что комсомольцы отповедь дали. А окружком, имея такой сигнал, не реагировал. Плохо не только то, что Баева к порядку не призвали, но и то, что на этом деле не воспитывали, не поддерживали молодежь...

А что же это Кучерявый? Разъезжает у вас по районам, словно коммивояжер, только распространяет не предметы, а идеи. Идеи весьма сомнительные. И беззастенчиво навязывает людям то, что им вовсе не ясно, вместо того чтобы разъяснять... Результаты получаются обратные: люди отшатываются от такой, с позволения сказать, коллективизации. А окружком ссылается на то, что Кучерявого некем, видите ли, заменить. Какой незаменимый пропагандист нового способа производства! И что за гранитная фигура сам Кучерявый, что его не берет и партийная директива!

Тишина в зале как бы сгустилась, когда Коспор стал рассматривать практику работы Ивашковского окружкома в свете директив Центрального Комитета. В смысле темпов коллективизации Центральный Комитет решительно предостерегал от забегания вперед, несмотря на то что Украина стояла далеко не на первом месте в этом вопросе. В Ивашковском же округе не только стали на путь форсированной коллективизации любой ценой, но в отдельных районах допускали такие вопиющие искривления, которые уже являлись нарушением советских законов.

Сейчас Станислав Викентьевич оперировал теми фактами, которые накануне докладывал ему прибывший в округ помощник генерального прокурора. Запугивание крестьян, не вступавших в колхозы, провокационное раздувание конфликтов с селянами-единоличниками, отказывающимися от коллективизации. Он говорил о том, что извращения линии партии, пиком которых явилось «рас-

кулачивание» середняков, играют на руку открытым и замаскированным врагам партии. На этой основе распространяются слухи о поражении партии в деле коллективизации. А за пределами нашей Родины враги представляют дело так, что коллективизация провалилась, а исправление ошибок трактуют как отступление от генеральной линии.

— Таким образом, даже отдельные ошибки служат нашим врагам. И каждая такая ошибка должна решительно исправляться и пресекаться. Виновные же должны нести наказание. Без этого мы не докажем народу, каково подлинное отношение партии ко всякому насилию над волей крестьянина-середняка. Главная задача на данном этапе — организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Человек стремится выйти из нищеты, это ясно, значит, он потянется к коллективному хозяйствованию, если увидит в нем средство выйти из нужды. Надо нашу работу по коллективизации вести методами убеждения, разъяснения, показа выгодности коллективного хозяйства, которому государство сейчас дает огромные льготы, освобождая их на два года от налогообложения на скот, предоставляя семенной материал, снабжая колхозные хозяйства техникой и кредитами...

По каким-то едва уловимым признакам можно было заметить, когда слова Косиора наиболее остро задевали присутствующих. Такой болевой точкой все время было напоминание о притуплении самокритики у местных работников. Какое-то облегчение почувствовалось в аудитории, когда была сказана фраза: «Все разговоры о стрелочниках нужно решительно отбросить»... Но тут же оттенок снисхождения был снят категорическим заявлением, что за ошибки низовых активистов судить нельзя, но за безобразия надо привлекать к ответственности.

— Очень важное дело — собрание по коллективизации. Это тонкий инструмент, не то что слово, интонация

иногда поворачивает настроение, как руль лодку. Разъяснять, вести, а не командовать учит партия. Доказывать, показывать преимущества колхозной жизни. Не могут пройти единоличники мимо того факта, что колхозные земли обрабатываются МТС. Уверяю вас: миллионы крестьянских глаз обращены на работу машин, а мы, Украина, пионеры в этом деле. Первая в Советском Союзе машинно-тракторная станция заработала у нас. И я вам скажу: это главное, что привлекает в колхоз. И потому работу машинно-тракторных станций коммунистам и передовикам следует популяризировать и показывать. И есть еще один аспект вопроса: в МТС создаются кадры сельскохозяйственного пролетариата. Очень важное обстоятельство, товарищи, не только экономически и политически,— идеология формируется...

Когда Косиор сел, наступила минута как бы задумчивости. Никто не трогался с места, не было ни аплодисментов, ни обычных вопросов, вообще разрядки, которая следует в конце заседания. Напротив, казалось, всех сковывает чувство ожидания. Это не означало, что в речи секретаря ЦК содержалось нечто неопределенное или непонятное, а лишь то, что вопросы, которые возникнут на следующий день пленума, будут решаться на более высоком уровне, чем прения сегодняшнего дня.

3

О том, что приехал секретарь Центрального Комитета и участвует в работе пленума, сообщалось в газетах, и к Косиору стали поступать самые разные просьбы, заявления, докладные записки. Одни сводили счеты с соседями, родственниками, излагались тяжбы из-за имущества. Мелкая возня вокруг мелкого стяжательства. Но было и нечто настораживающее: в неброской и горест-

ной форме жалобы на несправедливые решения «власти».

Жалобы, в свою очередь, были разные: на отказ выделить приусадебный участок, дать лошадь отвезти старика в больницу, «а на свадьбу председателева сына три колхозные подводы возили гостей из соседних сел, а свадьбу гуляли три дня!». Комсомольская ячейка взялась отремонтировать хату старухе бобылке, а сельсоветчики тесу не дали: «И две балки пожалели, только всего и расходу!»

Во всех этих заявлениях было что-то симптоматичное, особенно в частом повторении ситуации: молодежь хочет уехать из колхоза. На стройки, в Донбасс, в Криворожье. А сельсовет не пускает, документы не дает. Группа школьников-старшеклассников писала: «Что же нам, без документов? Убегать, как мальчишки когда-то к индейцам? Так мы же не Монтигомы!»

А в общем было ощущение, что не все до конца вскрыто. И потому Евгений не удивился, когда Косиор велел ему позвонить в Харьков и сказать, что он задерживается в округе.

— Елизавете Сергеевне тоже. Впрочем, нет, вы меня только соедините, я сам поговорю,— добавил он.

Косиор отказался от ужина в окружкомовской столовой, и они поехали в гостиницу. Станислав Викентьевич поднялся на второй этаж в свой номер. А Евгений, которому не хотелось спать, да и нервы были вздернуты, ткнулся было в ресторан, но он оказался закрытым: было уже близко к полуночи.

Он опустился в кресло в маленьком холле, если можно было применить это слово к крошечному, но чем-то привлекательному закутку, где стояли старые кресла, которые когда-то были, видимо, кожаными, а теперь обиты свежим дерматином, издававшим характерный казенный запах клея. Около доски с ключами сидела за столиком

миловидная женщина в накрахмаленном белом халате. Когда Евгений поздоровался с ней, она спрятала в ящик книгу, которую читала. И он подумал, что его присутствие стесняет ее. А подыматься к себе ужасно не хотелось. Вот как сел в этом теплом и чем-то приятном углу, так бы и остался. И потому он сказал:

— А вы продолжайте свое чтение, наверно, у вас там что-нибудь интересное. И вам ведь все равно ночь не спать.

Женщина улыбнулась и достала потрепанную книжку из ящика. Это была брошюра «Мать и дитя», что-то о гигиене.

— Это интересно? — несколько растерянно спросил Евгений.

Она опять засмеялась:

— Для меня — да,— и доверительно сказала: — У нас в городе очень плохо с детскими яслями.

— Мало их?

— Что вы! И те, какие есть, пустуют. Нет доверия яслям, детишки в них болеют без конца. Понабрали девок, которые из деревни поубегали.

— Чего же поубегали?

— Да кто как! Одни за женихами, других отцы в город отправили, боятся раскулачивания. Еще загонят куда, так уж лучше пусть в городе пеленки стирает.

— Что ж, это все кулацкие дочки?

— Да нет,— она перешла на украинский язык.— Хиба ж тильки куркули трясуться? Вон у нас нянечка Оксана из села, так у батька десять га земли и сроду батраков не було. И корова одна. А вот невзлюбил его председатель ихний и все грозится: «Раскулачим». Приехал на село уполномоченный та казав: «Хто тягне сторону куркуля, той и сам куркуль». А батько Оксаны — тот любит выпить, и ему все равно — хоть и с куркулем выпьет. От дивка з села в город и подалась!

«И тут Кучерявый»,— подумал Евгений.

Разговорчивая дежурная вдруг спохватилась:

— Так ведь вы в ресторан торкались? Я вам сейчас устрою.

— Ну, устройте,— согласился Евгений,— только там ведь все закрыто?

— Да нет. Для вас все, что нужно, оставлено. Только Настя дверь прикрыла, а то тут один хлопец спокою не дает. Все наведывается: «Когда начальство из Харькова приедет?»

— Где же тот хлопец? — удивился Евгений.

— Та, мабуть, на крыльце задремал да пропустил вас.

Идя за дежурной, Евгений сказал:

— Покличьте этого хлопца, пусть зайдет сюда.

Дежурная сдала его с рук на руки толстухе Насте, которая молниеносно спроворила яичницу с колбасой, и, когда она ее поставила перед Евгением, он услышал голос дежурной:

— Да иди, иди, не бойся.

Ломкий юношеский голос ответил грубовато, что он и не боится. Вошедший парень был очень худ, на вид лет шестнадцати, а может быть, и больше, но казался моложе из-за своей худобы и выражения какого-то мальчишеского упрямства в светло-голубых глазах. Это выражение и мешковатая, но вместе с тем свободная манера, с которой парень поздоровался и без приглашения сел против Евгения, почему-то ему понравились. А может быть, он просто нуждался в собеседнике в эту неожиданно одинокую минуту.

— Вы о чем-то хотели поговорить? — начал Евгений, но парень быстро сказал:

— Я с секретарем Центрального Комитета хотел говорить.

Независимый тон еще больше расположил Евгения:

— Может, поужинаешь со мной?

Парень покраснел, и Евгений ясно увидел, что он голоден. И сказал Насте, чтобы подала еще прибор.

— А вы кто будете? — спросил парень уже примирительно.

— Я референт секретаря ЦК, Евгений Алексеевич меня зовут. А вас?

— Я тоже Евгений. Женя... Я из села Красный Кут, бывшая Голодаевка. Слыхали?

— Нет. Не слыхал, а ты что делаешь на селе?

— Секретарь комсомола я,— ответил Женя с полным ртом и добавил: — Был.

«Вот в этом-то и дело»,— подумал Евгений, сразу вспомнив, что говорилось на пленуме про это именно село.

Так как Настя с видимым нетерпением ожидала возможности закрыть буфет, Евгений пригласил Женю к себе в номер. Тот почему-то заколебался. И вдруг Евгений представил себе, что наконец-то есть возможность пройтись по свежему воздуху в каком-то незнакомом, но, показалось ему, привлекательном месте. И он предложил:

— Хотите, Женя, мы с вами можем погулять по улице. Есть тут у вас где погулять?

— Да я не знаю, я сам тут первый раз.

Поспешно собиравшая со стола Настя вмешалась в разговор, как видно задетая в своих патриотических чувствах:

— А как же, есть куда пойти. Конечно, сейчас ночь, ничего не видно, а то у нас, если вот пойти по главной улице прямо, а потом направо, дойдете как раз до сквера, где памятник...

Когда они вышли на улицу, оказалось, что вечер ясный и в небе вызвездило, как летом. Ночь была уже совсем летняя, и как-то подчеркивалось это тишиною совершенно пустынной улицы, дальними перебрехами собак и

каким-то неопределенным запахом, вроде бы весенней воды, но она уже давно ушла.

Они двигались медленно, и Евгений не торопил собеседника, чувствуя, что тот мысленно перебирает все, что собирался сказать, и, может быть, так и не доведет до нужного, до того, что ему, Жене, кажется, нужным. Все-таки он начал, хотя вид у него был такой, словно он очертя голову бросился в холодную воду.

— Так вот, значит, исключили меня из рядов элкаэсэму.

Выпалив это основное, Женя помолчал. Продолжал он уже без такой натуги, и, чем дальше, тем катилась его речь более плавно, и виделось, что говорит он то, что крепко обдумал и давно готовился сказать.

— Исключили в райкоме, а наши — нет. Наши комсомольцы не хотели исключать, они ни за что не хотели, но, видишь, доверия нашим нету. Вроде они все заодно со мной, вроде против линии партии насчет коллективизации. А тут, видишь, история такая. У нас в ячейке комсомола богато молодежи, четырнадцать человек. Все незаможники, только трое из середняцких дворов: брательники Шульги и Кирпатый. Они и вправду середняки, по всей форме середняки. Возьмем Шульгов — земли у них точно по наделу, две лошади да одна корова, ну и овец там да птицы, хиба ж то можно считать за куркульское хозяйство? И Кирпатый такой же. Мы принимали их в комсомол. Почему не принять? Наоборот, мы рады были. Теперь они — за колхоз. А раньше, до комсомола, так, может, и не были бы: все ж таки разъяснили им. Ну а ихние батьки в колхоз не хотят. Не то чтобы зловредно не хотят, а сомневаются. Конечно, им в уши нажужжали, что, мол, какая такая жизнь может быть сообща и что это все выдумки голоты. Но я так скажу, что до Шульги — он мужик медленного соображения. Он ни за, ни против насчет коллективизации, то ж дело новое. А он такой мужик, что ему

надо на зуб попробовать, яка вона така штука и какая в ей выгода.

Но насчет Советской власти Шульга человек верный, он в Красной Армии был, аж до Перекопа дошел и ранение имеет. И когда сыны вступали в комсомол, то их батько не то, что другие, не то что за дрын не взялся, но слова против не сказал. А когда Яшка получил комсомольский билет, то его батько посмотрел на той билет, посадил Яшка̀ за стол и с ним чарку выпил. Сказать, правда, ничего не сказал, но выпить выпил. Яшка Шульга отца своего очень уважает, как бойца рабоче-крестьянской армии и вообще...

Женя вежливо отстал на шаг, высморкался и, догнав Евгения, продолжал, внезапно оживившись:

— А про Кирпатого вам сказать, так это смех один! Кирпатый — так их по-уличному дразнят, носы у них такие, у всех. И все, как огонь, рыжие. Все: что наш Пашка Кирпатый, что его батько, что дядьки́ — все рыжие. Все за словом в карман не лезут. Что ни скажут — шутки-прибаутки. И через тот свой язык отец Кирпатый и попал под раскулачивание.

— Подождите, Женя, насчет раскулачивания еще речи не было.

— А-а... да... Так еще до всего батько Кирпатый высказался насчет коллективизации: «Двое плешивых за гребень дерутся».

Евгений засмеялся и спросил:

— Это в каком же смысле?

Женя, которого как бы развязал тон разговора, пояснил:

— А вот в каком смысле: еще в колхозе, мол, ничего нету — ни скота, ни тягла, ни реманента, а они уже сидят на собрании с утра до вечера и лаются. А потом еще так было: в разгар всей свары, глянь, приехал Кучерявый. Опять на собрание вызывают. Кучерявый так и этак на-

род уговаривает: вы, мол, за коллектив должны держаться. А Кирпатый возьми да выскочи: «Держалась кобыла за оглобли, да упала!» Что тут поднялось! Все со смеху так и полегли, председатель стучит кружкой об графин, из кружки вода на стол выплеснулась, а председатель не видит, что на столе лужа, знай, кричит: «Громадяне, товарищи, какие могут быть смехи, когда тут представитель с округу товарищ Кучерявый. Давайте до дела».

Женя вздохнул, углубившись в воспоминания, и рассказывал дальше, доверительно обратившись не только лицом, но и всей фигурой к Евгению.

— Тут встает со стула Кучерявый, застегает на себе куртку и говорит: «Гражданин Кирпатый, прекратите разводить контру». Тут якась баба закричала: «Та вин же шуткуе, то ж для смиху». Кучерявый взял на басок: «Какие тут шутки. Это не шутки, а кулацкий разговор». Тут дядько Кирпатый вскипел: «Это я-то контра? Это я-то кулак? Да я только при Советской власти землю получил, сроду своей земли не имел. Тьфу на вас!» Кирпатый плюнул и пошел с собрания. А мужики стали кричать: «Звичайно так! Он же в старое время с четырнадцати лет батрачил».

Вот за те шутейки да за смех и взъелся Кучерявый на Кирпатого. И когда собрался в сельсовете актив, смотрим, в списках на раскулачивание стоят пять хозяйств нашего села, кулацких, и с ними — Шульги и Кирпатый. Я говорю: «Так дело не пойдет, что же это вы, товарищи, середняков подводите под раскулачивание?» А председатель мне: «Не твоего ума дело, еще сопливый указывать».

Я пошел и позвал комсомольцев на собрание. Вынесли резолюцию, записали честь по чести, что считаем неправильным середняков подводить под раскулачивание. Взял я ту резолюцию, коня просить не стал, ноги в руки и пошел в район. А там в райкоме комсомола долго со мной говорить не стали, а сказал секретарь: «Ты обязан упол-

номоченному окружкома содействовать. А ты содействовал? Нет. Ты выступил против, значит, льешь воду на мельницу кулака и правого оппортунизма. Клади билет на стол». С тем я и ушел.

Евгений полагал, что здесь наступил конец печальной истории комсомольского секретаря. Но тут было еще что-то. Женя, таинственно округлив глаза, словно сообщал бог знает какую тайну, прошептал:

— А раньше, в тот самый переживаемый момент... Когда вышла та статья...

Он заговорщицки посмотрел на Евгения.

— Какая статья? — невольно тоже шепотом спросил Евгений.

— Как какая? Та самая!

Женя подмигнул, снова повеселел и выпалил:

— А у нас ее спрятали.

— Статью?

— Всю газету спрятали. «Вісти»! Со статьей! Про «головокружение». Но...

Луна светила ярко, и было видно, какие мечтательные сделались у Жени глаза.

— Но председателева Танька выкрала ту газету у отца.

Женя заглянул в лицо собеседника, как бы надеясь на нем найти отблеск своего торжества. То, что все это связывалось именно с председателевой Танькой, по всему видно, тоже играло роль.

— Как же это?

— А вот так: видит Танька, что Кирьяныч, то есть батько ее, якусь газету читае. А к чему он ее с собой в кармане пиджака носит? Вечером спать ложится, выкрутит фитиль в лампе, достанет газету, читает и вздохнет, читает и вздохнет... И опять в карман прячет. Как отец улегся и заснул, Танька полезла в карман пиджака, схватила ту газету, втихаря шмыгнула в сенцы, запалила ка-

ганец. Смотрит, подчеркнуто красным карандашом: «...и изгнать их вон из партии». Вот, думает Танька, над чем отец-то вздыхал. А кого же изгнать и за что? Изгнать, значит, того, кто: «в два счета», «мы все можем», «нам все нипочем»... Так это же товарищ Сталин как раз про ее батька́ и говорил да про Кучерявого.

Малых рассмеялся:

— Так у Сталина в другом смысле сказано: чтоб изгнать вон из партии опасные и вредные настроения...

— А Танька поняла по-своему. И тут уж она взялась и прочитала все до конца, аж застыла в сенцах, пока все дочитала. Такая девка! — восхищенно воскликнул Женя и опять заглянул в лицо собеседника, призывая разделить его чувства.

— И только развиднелось, Танька стучит мне в окошко. Как она мне пересказала, я уже одной ногой за ворота: собрался и в район. Попутной подводой немного проехал... Сунулся я в райком Касему, на втором этаже секретарша с машинисткой чай пьют. На столе на газете сахар наколотый на маленькие кусочки. Удивился я, что́ за чаи такие под дверью у секретаря. А они мне радостно объявляют: секретарь уехал по району... Та-а-к... А я последние пять километров бегом бежал, запалился... Они девчата хорошие. «Сядь,— говорят,— посиди, выпей чаю и ворочайся до дому. Не сидеть же тебе дожидаться».

«Придется»,— говорю. Смотрю: в сторонке газеты лежат. Я цоп — «Вісти». А там эта самая статья. Пока дивчата между собой балакали, я ту газету сховал и вынес. Сел на порожек, прочитал от первого до последнего слова. Не все понял, но суть схватил. С тем я и вернулся в село. Однако на статью не посмотрели и теперь меня исключили...

Женька опять погрустнел.

Между тем все вокруг изменилось, поднялся ветер, под его порывами зашумели кусты.

— Вот что,— сказал Евгений,— езжай домой. Я сам доложу все секретарю ЦК.

Обрадованный Женька сказал:

— Так я еще поспею на рабочий. Если поднажму.

— Нажимай,— согласился Евгений. Он уже раздумывал над тем, как расскажет всю эту историю Косиору, и рассчитывал, когда лучше это сделать: утром до заседания или в перерыв.

Но, подходя к гостинице, увидел, что на втором этаже, в большом номере, отведенном Косиору, горит свет.

Он подумал было подняться, но решил, что это неудобно.

Вдруг он увидел Станислава Викентьевича, обычным своим быстрым шагом приближающегося к подъезду гостиницы.

— Это вы откуда? — спросил Косиор с живостью и некоторым недоумением.

Евгений сказал, что тут приехал с интересным заявлением исключенный из комсомола парень.

— Он стеснялся больно, так мы походили по улицам. Он мне и рассказал про свою беду. Мне кажется, это характерно...

Евгений запнулся, подумав, что Косиор устал и вряд ли будет сейчас интересоваться заявлением неизвестного ему парня. Но тот сказал:

— А я прошелся, освежил голову, могу послушать. Пойдемте.

Они вошли в номер, и Евгений увидел, что Косиор еще не отдыхал, на столе лежали газеты и исписанные листы бумаги.

Косиор сел в кресло и приготовился слушать, а Евгений все не мог сообразить, как бы подытожить услышанное и облечь его в возможно краткую форму.

Кое-как он справился с этим, но Косиор стал задавать вопросы. На многие из них Евгений ответить не мог.

— Вы вот что, вы поезжайте туда на место. Сегодня же. Я обойдусь без вас. Хорошо бы вы вернулись до конца пленума. Возьмите мою машину.

«Эх, жаль, парнишка уже рабочим уехал»...— подумал Евгений.

— Да, возьмите с собой кого-нибудь из окружкома, для ориентировки,— добавил Косиор.

Село Красный Кут в лучах раннего солнца выглядело живописно, когда Евгений глянул на него с холма, издали. Машина спустилась по заросшей кашкой и травой проселочной дороге к околице, и Евгений увидел: то, что казалось таким привлекательным и мирным, оборачивается по-другому.

На всем лежал налет разорения, какого-то равнодушия. О том говорили давно не мазанные хаты, непротертые окна, кое-где калитка болталась на одной петле, развалюхами выглядели сараи, и Евгения удивило, что в этот ранний час даже коровы не мычали и не ощущалось в селе обычного утреннего оживления.

«Да что ж это за захолустный Красный Кут?» — подумал он и тотчас, как подумал, понял, в чем дело.

Похоже было, что в селе уже давно никто не спит, а может быть, и не спали всю ночь.

Скопление людей имело свой центр. Это был проулок, отходящий от главной сельской улицы. В нем сейчас толпилось столько народу, сколько в деревне бывает только на пожаре или на свадьбе.

Только на свадьбу это мало походило: уже издали чувствовалось что-то горестное в собравшейся толпе. А что касается пожара, это исключалось, потому что скопление людей было почти неподвижным.

Машина остановилась на сельской площади. Спутник Евгения инструктор сельхозотдела Остапчук объяснил:

— Вот собрались как раз у хаты Кирпатого.

— А где живет Шульга?

— Шульга в другом конце села. А вон и подводы стоят. Значит, Кирпатые собираются.

Евгений слышал пробивающийся сквозь шум толпы бабий вой.

При виде машины шум в толпе прекратился, и в наступившей тишине явственнее стали слышны женские причитания, вдруг оборвавшиеся от сиплого мужского окрика:

— А ну цыц, бабы, з округа приихалы.

Однако толпа не рассеивалась, а только движение в ней совсем прекратилось, и следовала как бы немая сцена: ожидания чего-то, что должно было случиться.

— Так что, приостановить, что ли, сборы? — спросил Остапчук.

За те несколько часов, что они пробыли вместе в машине, Евгений, как ему показалось, разгадал линию Остапчука, если можно было назвать линией абсолютную его готовность выполнить любое указание, отменить его, если последует изменение, и с такой же ретивостью выполнять другое. Сейчас Остапчук находился в выигрышном положении, как бы за спиною Евгения.

Поэтому, когда Евгений подтвердил, что да, надо приостановить, Остапчук с готовностью придвинулся поближе, а навстречу ему шел красный и совершенно вне себя председатель сельсовета.

— Здорово, Кирьяныч. Ты вот что... Подводы убери, коней загони обратно. Народу прикажи расходиться,— сказал Остапчук авторитетно.

— Отменяется, что ли? — с нескрываемой надеждой спросил Кирьяныч.

— Там видно будет. Разберемся,— сообщил Остапчук таким тоном, что можно было понять: он-то и прислан, чтобы разобраться.

Кирьяныч в недоумении, потому что два дня назад Остапчук разорялся вместе с Кучерявым насчет того, что всякий срывщик коллективизации тот же кулак, и Кирьяныч никак не мог отделаться от этих мрачных воспоминаний, вконец запутавшись, подошел к машине.

Остапчук сказал:

— Вот товарищ Малых. Мы с ним сейчас из округа приехали, а там секретарь ЦК товарищ Косиор велел разобраться, что тут у вас в Красном Куте...

Остапчук произнес эти слова: «У вас в Красном Куте» — со строгостью, как будто он сам был на таком отдалении от этого Красного Кута, что никакие слухи даже не доходили до него.

Почуяв это, Кирьяныч несколько приободрился:

— Так что ж мы на улице? Пройдемте в сельсовет. Может, активистов собрать?

Остапчук только собрался заметить, что и без них обойдется, но Евгений быстро ответил:

— Собирайте. И председателя комнезама...

Кирьяныч готовно покричал уже выделившемуся из толпы председателю комнезама.

— А к секретарю партячейки я мальчишку пошлю,— сказал Кирьяныч.

— А его что, тут нету?

— Нету, нету.

— Отчего же?

— Не согласный он...

— С чем?

— Да с выселением,— сказал Кирьяныч, не обращая внимания на отчаянную мимику Остапчука.

— Секретаря комсомола не забудьте,— напомнил Евгений.

— А у нас его нема,— охотно объяснил Кирьяныч, уже совершенно пренебрегая знаками, которые ему делал Остапчук.

— Как так?

— Одного исключили, видишь, а другого еще не выбрали.— Кирьяныч помолчал и сказал виновато: — Там покамест моя Танька, дочкà моя орудует...— В его голосе прослушалось сложное чувство по отношению к Таньке: то ли он ею гордился, то ли осуждал.

Евгений поспешно сказал:

— Послушаем вашу дочку и того, которого исключили, тоже.

Весь этот разговор шел уже по дороге в сельсовет, и Малых заметил, что Кирьяныч меняется на глазах. Вроде бы и выпрямился он и лицом повеселел. «Подумать только, что делает с людьми вредное слово какого-то инструктора! И с хорошими людьми!» Кирьяныч выглядел именно таким человеком: где-то в сути своей хорошим, но уж очень поддающимся всяким Кучерявым.

Так думая, Евгений перешагнул порог сельсовета.

Ему приходилось не раз бывать в таких казенных помещениях. Большей частью это были неряшливые хаты, кое-как подметенные какой-нибудь активисткой, с засохшими чернилами в школьной чернильнице-непроливайке, с незавешенными и давно не мытыми стеклами окон.

Сельсовет Красного Кута представлял совершенно иную картину. И это в первую очередь отметил Евгений. Одновременно заметив, что от Кирьяныча не скрылось это впечатление.

На окошках с чисто промытыми стеклами висели марлевые занавески. Стол, обычный, грубовато срубленный, был покрашен коричневой краской и застелен голубоватой от синьки чистой скатертью, сверху покрытой большим листом картона, на котором вместо непроливайки стояло массивное сооружение, изображающее конника у колодца; крышка колодца прикрывала чернильницу. Пол в горнице был чисто вымыт. На бревенчатых, тоже чистых стенах висел в самодельной рамке портрет Григория Ива-

новича Петровского, за портрет были заткнуты две веточки березы.

— Хорошо тут у вас,— заметил Евгений.

Кирьяныч пробурчал:

— Танька...— так что опять же неясно было: доволен ли он поведением дочери или досадует на нее по каким-то другим причинам, не относящимся к уборке помещения.

Тем временем в хату собирались активисты.

На умном и нервном лице председателя комнезама, пожилого, худущего мужика, явно отражалось удовлетворение.

По внешнему виду секретаря партячейки, молодого парня в военной фуражке с погнутыми кончиками звезды, прочесть ничего нельзя было, но за преувеличенно официальной его манерой, несомненно, крылось выжидание.

Молодайка в красном платочке, по-городскому одетая, держалась, наоборот, свободно и, поздоровавшись, широко улыбнулась и с видимым облегчением проговорила:

— Ага, разбираться, значит, приехали. Дуже цикаво, в самый раз приихалы.

Секретарь ячейки посмотрел на нее с опаской.

И наконец, с крайней осторожностью, чуть не на цыпочках подошла председателева Таня.

При виде ее председатель сделал скучное лицо и отвел глаза, как будто зрелище этой шестнадцатилетней, слегка конопатой, не то чтобы красивой — у нее еще были длинные руки и ноги подростка,— но чем-то приятной девушки, безмерно огорчало и даже скандализировало его.

Безусловно заметившая это, Таня старалась держаться возле стенки. Впрочем, и так на нее никто не обращал внимания, по-видимому в угоду председателю.

Так же, не глядя на нее, он спросил:

— Женька где?

Таня дернула плечом и ответила с интонацией, очень похожей на председателеву:

— А я почем знаю?

Молодайка радостно сообщила, что Женька еще вчера днем пошел на станцию.

— Обойдемся,— бодро сказал Остапчук.— Ну что ж, граждане, давайте к рассмотрению документы. Где секретарь? — грозно проговорил он, окидывая всех взглядом, словно бы искал его среди присутствующих.

— Вон он, шкандыбает,— сказала молодайка.

Все увидели тощенького парня, прихрамывающего в спешке.

Когда он вошел, стало ясно, что секретарь сельсовета Костик, как его ласково называли, не пятая спица в колесе местной власти.

Вынув из кармана ключ на начищенной металлической цепочке от часов, он ловким движением всадил его в скважину стола, с наслаждением повернул на два оборота и достал из ящика документы.

На столе были разложены: папки, конторская книга, на переплете которой каллиграфическим почерком было выведено: «Список населения на предмет налогообложения»...

— Вот здесь все... И насчет имущества: что у кого имеется...— сказал Костик и сел рядом с председателем.

— Тут все точно? — спросил Остапчук с напускной деловитостью.

— Как в аптеке,— ответил Костик с достоинством.

— Так... Пожалуйста! — Остапчук подвинул документы Евгению.

Тот вслух стал вычитывать опись имущества.

— Ну что ж получается, товарищи? Ни у Кирпатого, ни у Шульги наемной силы не имеется, инвентарь — самый скромный... Почему постановили раскулачить? — спросил Евгений.

Председатель сельсовета пробормотал нехотя, что «по экономике» выходит вроде бы не надо раскулачивать, а «по политике» — надо...

Председатель комнезама, приободрившись, поддержал:

— Было суждение такое, что подкулачников надо — «геть с возу», щоб не мутили воду...

Молодайка молчала, поджав губы. И тут вскочила было Танька, но Костик грозно посмотрел на нее, и она села, а сам он встал и, медленно и солидно отвешивая слова, произнес:

— Признаться, товарищи, надо: ошибку дали. Был бы тут секретарь наш комсомольский, он бы в лучшем виде разобъяснил, так его исключили... Он и уехал.

— Вот он, трясця його матери,— про себя, как бы совершенно позабыв о присутствующих, произнес председатель, глядя в окно.

Тут уже все увидели: к дому подъезжает на велосипеде Женька.

«Почему на велосипеде? Да, он же, конечно, дома побывал, вот и рубашка на нем чистая, белая...» — подумал Евгений и тут же сообразил, что велосипед — для пущей важности.

Чтобы отменить решение о раскулачивании Шульги и Кирпатого, нужно было постановление райисполкома. Евгений поехал в райцентр. Здесь уже все знали о событиях в округе, настроение было подавленное.

Вопрос о Красном Куте решили в опросном порядке, но все же Евгений лишь к вечеру следующего дня вернулся в округ.

Станислав Викентьевич был не то что утомлен — измучен. Но физическое состояние как бы подчеркивало какую-то особую его подтянутость человека, что-то для себя уже решившего и как бы ко всему готового. Евгений подумал, что, наверное, будет созван внеочередной Пленум Центрального Комитета.

Но Косиор только сказал хмуро:

— Ну, всё повидали. И успехи, и «головокружения». Только с такими головокружениями лечиться надо. А не округом заправлять.

4

Как всегда водилось, отец Григорий не встретил Рашкевича на станции: ни к чему. А лошадей выслал. И теперь, мягко покачиваясь на резиновых шинах удобной пролетки, катящей по проселочной дороге, Рашкевич отдался своим мыслям, чувствуя, как легко и свободно ему и дышится, и думается в этих просторах...

Пять лет назад, когда Максим закончил Институт народного хозяйства и Рашкевич взял его к себе на работу, у Максима и в мыслях не было, что за ним наблюдают внимательные и благожелательные глаза. Что благодаря Рашкевичу учился без забот и нужды пролетарский студент Максим Черевичный, получая самую высокую стипендию Вукоопспилки, назначавшуюся студентам-отличникам. И незачем ему было это знать, так же как и то, что ответработник Рашкевич связан с его дядей, ныне процветающим в городе Львове, искони украинском центре, где и обосновалось представительство так называемой «Украинской народной республики» после краха петлюровщины. Эмиграция... Конечно, безопаснее и, может быть, даже почетнее спокойно сидеть в Варшаве или во Львове, оттуда вершить дела... Но Рашкевич не жалел, что избрал иную участь. Его удел — борьба на передовых позициях. А где они, передовые позиции? Разумеется, здесь, в стане врага, где проходит линия тайной схватки...

И правильно, что до поры до времени он, Рашкевич, был в глазах Максима Черевичного обычным руководителем советского учреждения, принимающим участие в способном студенте-стипендиате, а потом молодом специалисте...

Не имея своих детей, Рашкевич питал какие-то даже отцовские чувства к молодому человеку, на которого возлагал надежды совершенно особого рода. Он не прочил его на командные роли, нет, он считал, что вообще на командные роли эти слабаки интеллигенты не подходят. Решительных мужиков типа Титаренко было достаточно. А интеллигентного, «гуманного» тихоню, каких неизвестно почему жалуют и тянут к себе большевики, найти не так легко. И такой сам дался ему в руки: молодой, образованный экономист, с обожанием внимающий каждому слову своего покровителя...

Да, конечно, когда этот покровитель предстал перед ним несколько иным, чем он его видел раньше, и, вернее, совсем иным... Это был некий шок для Максима.

Но такое «открытие» хоть кого могло сшибить с ног,— именно такой психологической реакции и ожидал Рашкевич. Он слушал исповедь Максима, словно бы впервые узнавая о его роли в той киевской истории с паспортом Игнатенко. И имел полную возможность убедиться в искренности молодого человека и в его преданности: ведь он должен был безоговорочно доверять человеку, открывшись ему в таком, в общем-то непростом своем деле.

Любил Рашкевич играть людьми, иногда ошарашить человека! Но — всегда выигрывая. И на этот раз проиграть он не мог. Не на проигрыш рассчитывал он, открывшись с неожиданной стороны этому хоть и несколько флегматичному, но очень искреннему юноше.

Правда, с недавнего времени Максим стал как-то увереннее, как-то определился. Может быть, дружба с Василем Моргуном, которого так удачно привлек Максим, может быть, эта дружба укрепила Максима. Василь Моргун...

Мысль Рашкевича задержалась на нем. Было в этих двух молодых людях нечто и общее, и различное. Но вместе они дополняли друг друга. Да, это была молодая

поросль, убеждающая в том, что дело имеет будущее, что молодые побеги пойдут в рост и когда-то зашумят кроны...

Этим мыслям Рашкевич отдавал себя охотно и проникновенно.

Василь Моргун, сокурсник Максима, многолетний его друг, тоже экономист, но с другим профилем, меньше всего склонный к теории, но незаменимый практик кооперативного дела... Общительный, с таким знанием реальной обстановки и всяческих ее хитросплетений, что смог бы в будущем соперничать с самим Рашкевичем.

И если привлечение Максима к их настоящему делу на первых порах как-то ломало жизнь Максима, нежданно врывалось в привычный ее уклад, то приобщение к делу Василя было естественным, по мнению Рашкевича. Всем складом своего характера Василь более отвечал типу «борца за вильну Украину». Он был начитан в этой части куда больше Максима, проявлял интерес более активно и вообще нес в себе нужный заряд энергии. Более того, он был сделан из того самого материала, из которого лепился характер борца.

А теперь Василь проявил себя уже в конкретном деле. Подумать только, в какой ловушке мог оказаться он, Рашкевич, если бы не своевременный сигнал Василя! Какие неожиданности подстерегают на каждом повороте извилистого, опасного пути!

Тогда, в этом одесском деле, никто не мог предположить какую-то опасность. Свои люди в окружном потребсоюзе, выполняя неписаные инструкции Рашкевича, пустили кредиты, ассигнованные государством для незаможников и середняков, по другому руслу. Да ведь это практически бросить деньги в огонь: раздать их голытьбе! Нельзя было допустить этого.

И вдруг... У Рашкевича и сейчас пробегал холодок по спине, когда он вспоминал... Посланный в командировку

в Одессу Василь Моргун неожиданно вернулся в Харьков. Тут-то и понял Рашкевич, какой это целеустремленный и сообразительный человек.

— Сергей Платонович, я ведь в Одессе буквально на одной ноге повернулся. Утром приехал, а вечерним поездом — назад! Положение создалось аварийное, Сергей Платонович! — В лице Василя проступил какой-то мальчишеский испуг...— Вот как дело обстоит: кто-то стукнул насчет размещения средств, предназначенных для незаможников. Мол, деньги идут не по тем каналам: в кулацкие хозяйства. И окружком партии уже создал комиссию для проверки. Вы же знаете нашего Пилипенко, он сидит ни жив ни мертв... Не сегодня-завтра комиссия начнет проверку. А такой человек, как Пилипенко, будет всеми силами отводить от себя вину... И валить на других. Да он продаст, Сергей Платонович, вмиг продаст, если на него нажмут!

— Продаст,— согласился Рашкевич, но уже работала его мысль, его безотказная и точная мысль. И уже зрела находка. Да, единственный выход. Другой невозможен. И не нужен. И какое дело сейчас ему до судьбы Пилипенко, когда идет речь о судьбе дела? И о своей собственной тоже, потому что его судьба — это судьба дела.

Указание! Немедленное указание Одесскому окрпотребсоюзу. Твердое указание с требованием прекратить порочную практику, о которой имеются сигналы. Немедленно проверить правильность сигналов о том, что деньги попадают в руки кулаков... Установить и строго наказать виновных. Пригрозить: «Всякие послабления в этом деле буду считать саботажем и вредительством».

Не скупиться на телеграфные расходы. Немедленно передать в Одессу пространный и громовой приказ!

Это все пронеслось в сознании Рашкевича. Но он не успел еще договорить первую фразу, как увидел перемену во всем облике Василя. Тот даже привстал, словно услы-

шанное им отвечало каким-то самым заветным его чаяниям.

— Что ты хочешь сказать?

Василь смотрел на Рашкевича взглядом безграничной преданности и даже восхищения перед умом, так быстро схватывающим самые сложные обстоятельства. И что важнее — немедленно реагирующим.

— Сергей Платонович,— тихо ответил Василь,— я ведь уже дорогой пришел к такому точно выводу и вот заготовил проект телеграммы. Пилипенко не выплывет, зачем же зря бросать ему спасательный круг. Вот такой текст спасет само дело.

Из внутреннего кармана пиджака вытащил Василь сложенный лист бумаги, на котором был набросан текст настолько близкий к тому, который сейчас вертелся в голове Рашкевича, словно они вместе его сочиняли.

— Возвращайтесь в Одессу. Ни в какие контакты с Пилипенко не входите. Помогайте комиссии делом, получите соответствующий мандат именно на этот предмет... Задним числом,— добавил Рашкевич,— выпишет его вам товарищ Черевичный.

И Василь уехал.

...Да, на этом деле они потеряли Пилипенко! Но на этом деле укрепился и Василь. Вернувшись в Одессу, он стал свидетелем триумфа Рашкевича, который получил сигнал раньше всех, отреагировал раньше всех. И должным образом.

Дом отца Григория стоял на пригорке, на отшибе от села. И не при церкви, как водится. Совсем отдельно. Синий купол и золотые луковки старой терновской церкви стали видны только теперь, когда облетела пышная листва поповского сада. Этот купол и луковки и те стойкие тополя, что еще сохранили не тронутый тлением лист, при-

давали некую благостность светскому жилищу священника Григория Кременецкого.

От всего веяло здесь на Рашкевича миром и отрадой, и сам хозяин умел поддержать это впечатление, умел обуздывать свой неукротимый характер, научился держать речь неторопливо, опускать очи долу, складывать персты благочестиво, ронять, как бы в бессилии, кисти рук на обдуманно уложенные складки щегольской шерстяной рясы.

Уже много лет носит рясу Гришка Кременецкий, уже много лет служит он автокефальной церкви.

Рашкевич не был верующим, не был и специалистом по церковным делам, но ценил огромные возможности автокефальной церкви для их дела. Именно автокефальной. То, что она была украинской православной церковью, открывало ей огромные возможности на селе. Поставив себя в положение независимости от Московской патриархии и открыто с ней враждуя, автокефалисты с любого амвона любого украинского села призывали народ к поддержке дела освобождения Украины от большевиков.

Поэтому было особо ценно положение уцелевшего Григория Кременецкого. А то, что он уцелел после разгрома «Спилки визволення Украины», объяснялось именно мудрой ставкой на «вторую колонну», предусмотрительностью опытного полководца, придерживающего до времени резервы.

Сейчас приспела пора действия и для Григория.

Хорошая позиция была у него в приходе: богатые села Терновка, Григорово, Варваровка... Крепкие зажиточные крестьяне. Хозяйства, оснащенные добрым инвентарем, сильные сытые кони, породные коровы, птицы полон двор у каждого...

Конечно, как всюду: без батрацкого труда такие хозяйства не создавались. И тут возникало то роковое обстоятельство, что в богатом селе выросли и укрепились эти са-

мые горластые, которых сейчас подымает и без меры жалует большевистская власть.

Позиция отца Григория на Старобельщине значила не меньше, чем Титаренко в Старобельске. Это были два крыла, необходимые в полете. Равной силы должны были они быть, чтобы дать нужный размах для дела.

И если Титаренко можно было поручить самое острое, самое келейное: действия решительные, связанные с риском и кровью, действия, обговоренные с глазу на глаз,— только так... то отцу Григорию доставалась задача, которая решалась на миру, на народе, прилюдно. Использовать каждый повод, чтобы раздуть пламя недовольства, протеста, сбить толпу покрепче под хоругвями, под крестом, под звон колоколов повести за собой, став во главе...

На высоты горние зовет отец Григорий, когда выходит на амвон, высокий, статный, внушительный. Но не пренебрегает земным, едва сойдет с амвона. И самых слабых на земле не чурается: укрепляет дух женщин. Подымает их на борьбу во имя детей, во имя их будущего. Во имя незалежной Украины.

Женщин трудно подвигнуть на новое. И не надо. Надо учить их крепче держаться за старое. Не поддаваться на удочку хитрых большевиков с ихней сатанинской идеей коллективизации. С ихней затеей всем колхозом спать под одним одеялом. И жинки — кто какую ухватит! И свальный грех уже «на повестке дня», как теперь говорится. Женщины на такую «повестку дня» ярятся скорее и охотней мужиков.

И эта задача по характеру Григория, страстного, напористого. Он умеет выхватить христианскую душу из самого пламени. Склонил в свою веру счетовода Терновского сельсовета, бывшего большевика Опанасенко. И теперь он его верный оруженосец. Склонил не только божьим словом, разумеется, а и водкой и деньгами. Опанасенко запросто сделал бежавшему из мест заключения Савке

Курному документ без изъяна. С этим документом Савка, правда, засыпался на Харьковщине по мокрому делу, но тут выручила родная сестра отца Григория, настоятельница монастыря.

Это было странно, но, впервые увидев Григория на амвоне, облаченного в парчовую ризу, с кипарисовым крестом в руке, Рашкевич вроде бы и не удивился, словно эта новая его роль и не была новой. Как-то совмещался образ отца Григория с образом лихого сотника, которого Рашкевич помнил от самой юности.

Как всегда, свидание с Григорием подымало настроение Рашкевича. И были причины для этого. На новой волне он ощущал себя и своих соратников. Нет, не разобьется брызгами эта мощная, издалека, из открытого моря пришедшая высокая волна. Даже не волна, а девятый вал. Девятый вал вынесет их всех на твердый берег.

Всегда интересна и содержательна была беседа с отцом Григорием. Он хорошо знал свой приход, знал в нем старого и малого. Знал, кто чего стоит и на что способен. И ничего не могло быть важнее в эту пору.

Обладая чувством юмора, Рашкевич не раз думал о том, что святые отцы за последние два десятилетия вошли в мир политики столь активно и безболезненно, как никогда ранее в истории церкви в России. Он, внутренне улыбаясь, всегда чутко отмечал, как уверенно и непринужденно оперирует отец Григорий политическими категориями. Впрочем, чему удивляться? Григорий Кременецкий прожил достаточно бурную светскую жизнь в перерыве между духовной семинарией и получением прихода.

Но и другие слуги церкви столь же бойко вели разговоры на хорошем политическом уровне. И это нравилось Рашкевичу. Он сам свободно и легко усвоил большевистскую терминологию, подхватывал на лету реплики самых изощренных политиков-деятелей. Никогда не боялся выдать себя словом или даже интонацией.

От Григория впервые Рашкевич услышал о вредном попе Варфоломее, бедолаге, нищем. Казалось бы, семеро детей, мал-мала меньше, да чахоточная попадья,— думал бы, как прокормить эту ораву, вел бы паству к богу, а не к дьяволу! Так нет, прямо в колхозы толкает захудалый поп темную голоту! Нет того, чтобы остановить людей, сказать им божеское слово, толковать писание: «Не пожелай жены ближнего своего, ни дома его, ни осла его...» и так далее. Нет, другое талдычит, толкуя по-своему святые заветы. И рад-радешенек, когда «товарищи» отбирают и дом, и осла, гляди, и жену туда же!..

Когда отец Григорий говорит о проклятом попе, глаза его сверкают и невидимый гайдамацкий шлык реет над его слегка облысевшей головой.

Какая отрада — тихий дом отца Григория с крашеными полами, покрытыми цветными половичками, со «светскими» картинами по стенам: отец Григорий — любитель искусства!

И на этот раз Рашкевич особенно умиротворенно чувствовал себя в парадной комнате отца Григория.

Выдались на редкость теплые дни. В саду буйствовала желтизна осени. В безветрии еще сохранили листья березы, и гость мельком отмечал разнообразие желто-красной листвы и вдыхал терпкий запах травы и опавших листьев, напоминавший ему другие дни с Гришей Кременецким.

Ах, боже мой, уж давно пора было забыть те шумные попойки да холостяцкие проказы, в которых когда-то Кременецкий, даже более активный, чем он сам, привлек его лихостью, веселой бездумностью, добрым нравом. И сейчас не мог отрешиться Рашкевич от прежнего Григория, не мог перестроиться. И потому невольную улыбку возбуждал у него вид товарища в... рясе. Гришка Кременецкий — слуга церкви! Впрочем, он никогда не был безбожником. Время от времени на него что-то накатывало. Он

удалялся от друзей, постился, умерщвлял плоть... Чтобы потом ринуться с новой силой в попойки и кутежи. Неуравновешенный, капризный — таким его любил Рашкевич. Но более всего за то, что всегда ценил в людях, а теперь особенно: за верность. В мундире, в рясе ли — всегда верный!

Рашкевич с одобрением посматривал на друга. Тем более он казался ему сегодня приятным, что вместо обычного поповского одеяния была на нем домашняя, верблюжьей шерсти куртка, отороченная шнурком, а длинные волосы, уже посоленные сединой, причесаны не благолепно: на боковой пробор.

Красив был Григорий, право, не хуже, чем в молодости. Есть такие лица, которым маленькая неправильность придает особую прелесть. Так и Григорий с его широкой щелинкой между передними зубами, с мелкими темными родинками, осыпавшими лицо...

Они сидели на закрытой веранде, пользовались одним из последних теплых дней. Рашкевич оценил хорошо накрытый стол и на нем, как всегда, домашние варенья и соленья, которыми славилась пышная экономка Домна. Стоял графинчик водки, небольшой, но пузатый.

И Григорий, и Рашкевич когда-то могли выпить много и любили это дело. Но приостыли, и не по причине возраста даже, а — по обстоятельствам. Опасно было захмелеть не вовремя, сказать лишнее.

— Как там моя сестра поживает? Видел ее? Матушку игуменью? — спросил Григорий, интонацией подчеркивая иронию по отношению к сану сестры, когда-то задорной девицы, певшей в киевском соборном хоре.

— А чего ей делается? Грехи замаливает.

— Свои? — хохотнул Григорий.

— И твои тоже,— успокоил Рашкевич.

Он с удовольствием придвинул свой стул. Григорий, размашистым движением перекрестясь, разлил водку.

— За здоровье матушки Степаниды! — проговорил Рашкевич.— Мудрая женщина.

Выпив, они помолчали, потому что образ Степаниды Кременецкой вызвал у обоих не только воспоминания, но и мысли о будущем. Деловые мысли. Далекие от сентиментальных воспоминаний.

— Выпьем и за батьку нашего, он того стоит,— сказал Григорий.

Рашкевич встал, торжественно проговорил:

— За Гаврилу Кременецкого. Чтоб и далее руководил нами, чтоб дождался светлого дня и вернулся с почестями на ридну Украину...

В селе Заречье, среди густых смешанных лесов Харьковщины, на берегу тихого озера стоит женский монастырь. Благодаря уму и такту игуменьи матери Степаниды ни один волос не упал с головы ни одной монашки. Никакие бури не залетали за белые стены обители.

В целости и мире остался монастырь святой великомученицы Варвары. Нерушимая тишина в чистых кельях, и жизнь идет, как издавна заведено было, в трудах и молитвах. Славились монашки рукодельем, плетеными кружевами, филейной, в пяльцах, вышивкой, стегаными атласными одеялами.

Только и новостей что красивая вывеска: на красном фоне золотыми буквами: «Артель по изготовлению рукодельных изделий на пяльцах и другими инструментами. Стежка одеял и покровов» — невдалеке от святых ворот.

Забирая заказы, подолгу оставались в стенах монастырского подворья богатые крестьянки окрестных сел, вели неспешные беседы с благообразной уважительной матерью Степанидой. Усваивали тайный смысл благочестивых напутствий, добрых разъяснений, материнских советов. Да и мужья, на которых изливался поток не беспредметных жалоб, а точно нацеленных разъяснений, скребли затылки,

отдавая должное: хорошую голову на плечах имеет настоятельница Зареченского монастыря мать Степанида.

Пятидесятилетнюю, все еще статную Степаниду Рашкевич помнил просто Стешенькой, дочкой полтавского помещика Гаврилы Кременецкого.

Мало кто знает, куда сгинул Гаврила Кременецкий с того самого момента, как петлюровское воинство оказалось в Польше, а с ним Гаврила Кременецкий, один из ближайших советников Петлюры. Может, и помер давно. Только никогда не служили заупокойную службу по рабу божьему Гавриле. И это наводило на всякие мысли.

Потому и оглянулся Рашкевич невольно, подымая свой бокал.

Но они были одни в квартире. Григорий пуще всего боялся за свой священнический авторитет. И Домна конечно же была отпущена.

— За наше дело,— сказал Рашкевич.

Настоянная на каких-то травках водка пошла легко. Он подцепил вилкой гриб, и, когда клал его на тарелку, воспоминание вдруг обдало его теплой волной. Совсем недавно, на именинах у секретарши Ольги. И за столом трое ее детей...

Рашкевич хорошо знал преданность ему Ольги, давнюю и верную. Но никогда ее в дела не посвящал. И каждый раз, когда возникало у него желание для пользы дела, а еще больше — для собственного удобства открыться ей, что-то удерживало его. Этот раз, последний, удержали глаза трех мальчишек, очень похожие на Ольгины глаза...

Они уже размахнулись и по второй, и по третьей, когда Кременецкий начал разговор:

— Говорил в епархии о неразумном попе Варфоломее. Да они сами все знают. Неужели ты думаешь, что с их благословения или попущения блажит отец?..

— Слушай, Григорий, ты всерьез становишься духовной особой,— перебил Рашкевич.— Да разве Варфоломей

чудит? Не чудит он, а так уж ему положено идти вместе с голотой. Сам-то он кто? Нищий. Еле-еле два курса семинарии одолел благодаря милостям той придурковатой помещицы, забыл, как ее... Она все вытягивала то того, то другого из голытьбы, и всегда невпопад. А имение у нее все равно отобрали.

Григорий улыбнулся:

— Он не потому с голытьбой, что сам таков, а по писанию. Его тоже надо прочитать с умом. Пробовал когда-нибудь?

Рашкевич пожал плечами:

— Это по твоей части. А я другой литературой питаюсь: инструкции, циркуляры. Знаешь, язык — абракадабра. И надо ловить дух, усваивая букву...

— А я все больше дивлюсь: все, что мы делаем, надо, мне надо,— нажал на слово «мне» Григорий,— оправдать словом писания. Это слово сжатое, точное, а смысл всегда двоякий. Если не полениться, так и три смысла найдешь. И более. И есть намек иногда в одной букве. Вот к примеру: «Блажен иже и скоты милует». Казалось бы, просто: «Милуйте скоты!» Однако же буква «и» напоминает: во вторую очередь скоты. А в первую кто?

Рашкевич поморщился:

— Охота тебе заниматься казуистикой. При наших-то делах.

Григорий посмотрел на него как бы сверху вниз.

«Ну, набрался от святых книг!» — подумал Рашкевич. И вернул друга к действительности:

— Так чем же кончилось с отцом Варфоломеем?

— Ничем. К нему не подкопаешься. У всех что-нибудь, да есть, попу проштрафиться — плевое дело. Варфоломей же — не от мира сего.

Рашкевич рассердился:

— «Не от мира сего»? Ошибаешься, друг, он такой «сей мир» развел у себя в церкви — ого!

— Знаю: «Несть власти аще не от бога». Кто бы мог подумать, что духовная особа применит это к власти большевиков!

— И что же епархия? Мирится? И для нее власть большевиков — «от бога»?

— В епархии тоже люди сидят, Сергей. У них тоже дети есть. Внуки. Мы же не католики. Это им легко. С верой — да на крест! А наши еще подумают, идти ли на крест. Не время фанатиков, Сергей.

— Время фанатиков! — с ударением на первом слове возразил Рашкевич.— Только фанатики в большевики подались. А церковь оскудела. В том и горе наше.

— Да, отсюда и Варфоломей. Но все же он один такой...

— Неизвестно,— жестко ответил Рашкевич.— Не будем обманываться. Время еще преподнесет нам сюрпризы. Кто чистый, кто нечистый, в нашу эпоху не определишь так просто, как во времена Ноя. И Ноя такого нет. А что есть?

— Всемирный потоп,— отозвался Григорий.

— Ну насчет всемирного, так это пока одни мечты «товарищей». А на селе как? — поинтересовался Рашкевич.

— А на селе так: в двадцати дворах моего прихода хлеб припрятан надежно. В одной Терновке — у восьми хозяев.

Рашкевич недовольно перебил:

— Мы что же, для восьми хозяев тебя держим тут?

— У меня шесть сел в приходе. И в каждом свои люди есть, и верные люди, а сомневаюсь только в одном пьянчуге. Может выболтать. Но это даже лучше. Пускай хоть у одного возьмут, не так будут яриться на других. А его если и упрячут, то мы вздохнем свободнее: болтает много.

Рашкевич спросил неожиданно и требовательно, как начальник:

— Ты уверен, что хлеб спрятан надежно?

Григорий самодовольно ответил:

— Я же справди духовный пастырь. Без меня ни одна овца хвостом не поведет.

— Хлеба не давать! Это великое дело,— жестко сказал Рашкевич.— Но в этом еще не вся политика. Надо подымать людей на активный протест! Вот чего от нас ждут. Срубить под корень товарищей-коллективизаторов. А тебе, как пастырю духовному, выпадает: благословить руку, карающую насильников.

Григорий поднял голову, что-то дрогнуло в его лице:

— Выпьем, друг, за это.

Тихо звякнули рюмки, соприкоснувшись. Все здесь звучало тихо, как в вате: казалось, тише обычного тикают часы в старинном деревянном футляре на стене, даже голос Григория, такой мощный под сводами церкви, звучал здесь умиротворенно. И в странном противоречии было это со смыслом беседы двух мужчин за столом, уставленным домашней снедью.

— Видел я Ефросинью,— вспомнил Рашкевич,— рассказала, что Степанида вовсе голову потеряла: заявился уполномоченный по хлебозаготовкам, сказал, что монастырю положено сдать пятьсот пудов хлеба. Понимает же баба, что не сдать — страшно, монастырь под удар поставит! А все рыпается, сдавать не хочет, жадность одолела, вроде они с голоду помрут, если пятьсот пудов от щедрот своих отпустят! С Ефросиньей говорить я не захотел, не понравилась мне она в этот раз. А ты напиши Степаниде да построже растолкуй. Хлеб по заготовкам обязательно сдать, и вовремя! А на деревне пусть не сдают. Тогда монастырь будет в стороне от этого дела, и хлебозаготовки по селу сорвем.

Уже проговорив эти слова, Рашкевич вспомнил последнюю встречу с Ефросиньей и то неуловимое, что вызвало у него сейчас эти слова: «не понравилась».

Нет, не то чтобы он не доверял Ефросинье. Она была своя до последней косточки. Подкидыш. Монастырский выкормыш. Степаниде предана, как собачонка. Поэтому и доверие ей такое: получать заказы, отвозить готовую работу. Все это барахло, вышиванье-вязанье. А это ведь деньги. И уж если деньги и товар доверяет ей Степанида, и столько лет, то, без сомнения, доверяются ей и разговоры... И очень удачно придумала Степанида, что именно Ефросинья, со своим монастырским говорком, богомолка с благообразным лицом и скромной повадкой, приносит в дома приличных людей — не нищие же заказывают своим невестам вышитое белье и шелковые одеяла — мнения и советы авторитетной матушки Степаниды: не сдавать хлеб! И то, что это прямое и короткое приказание оборачивается вовсе и не приказанием, а вроде бы рассудительными и богобоязненными речами красивой монашки, это очень хорошо.

Не здесь лежали сомнения Рашкевича. По каким-то неясным признакам показалось ему: занята Ефросинья какими-то мыслями. Кроме тех, что связаны с волей ее покровительницы. Светскими мыслями. Суетными. А ведь он считал, что она предана богу и Степаниде до последнего вздоха. И только он подумал об этом, вероятно даже еще не понимая, откуда эти сомнения, но раз уж он их допустил, то сразу и отметил: как-то по-новому лежат светлые, слегка вьющиеся волосы Ефросиньи, и кожаный пояс на талии затянут туже, и оживление в глазах. И даже в движениях что-то такое... И впервые за долгое знакомство подумалось: «А хороша бабенка!» А уж раз так подумалось, значит, действительно, было в ней что-то новое. Не думалось же раньше!

И может быть, поэтому не через Ефросинью, а через Григория передал он Степаниде наказ: хлеб сдать без звука.

Григорий одобрил:

— Я тоже об этом думал. Степаниде надо держаться всеми способами, не разбогатеют «товарищи» от ее пятисот пудов, подавись они ими. А Степанида укрепится. Другого такого заведения у нас нет.

— Это да, это действительно,— задумчиво ответил Рашкевич.— Крепко надеюсь на Степаниду. Кто знает, как обернется дело. Монастырь и укроет, и накормит.

— Это так,— Григорий смотрел испытующе. Понимал, что не с одними общими рассуждениями и наказами прибыл Рашкевич. Ждал.

И Сергей Платонович рассказал о деньгах, прибывших на имя Титаренко. Деньгах, предназначенных на дело. А что на той стороне зря грошами не кидаются и, следовательно, готовятся к решающим битвам, это Григорий Кременецкий и сам знал. Так и воспринял.

И с сугубым вниманием отнесся к совету Рашкевича:

— Титаренко пришлет к тебе человека из своих. Поддержи его дух. Это боевик.

Рашкевич, как всегда, уехал от Григория просветленным.

5

То свидание, которое зародило у Рашкевича неясные сомнения насчет Ефросиньи, было очень коротким и незначительным: в доме некоего Пятакова в Харькове, на Екатеринославской улице, где Рашкевич был желанным и привычным гостем, а Фрося хоть и своим человеком, но, конечно, на другом уровне — на уровне женской половины Пятаковых.

И впечатление о какой-то перемене в Ефросинье было мимолетным и ничего не значило.

Но не значило оно потому, что Рашкевич не знал о действительной перемене в жизни Фроси. И не мог знать о ней. Любовь ее и Семена Письменного была тайной. Толь-

ко самый близкий друг Семена знал о ней. Так думала Ефросинья. В действительности же эта тайна была открыта не только другу Письменного Василю Моргуну, но через него и другим лицам, которые имели в этой истории уже не свой личный интерес, а вполне государственный.

В то время, когда Григорий Кременецкий и Рашкевич в сумерках осеннего дня сидели за столом, наслаждаясь тишиной и душевной близостью друг к другу, Ефросинья стояла на коленях в дальнем притворе монастырской церкви и молилась. Пыталась молиться.

Старая церковь, знакомая ей с раннего детства, пустая сейчас, казалась ей новой и враждебной. Сурово смотрел Николай-угодник, и даже благостный Серафим Саровский словно бы страдальчески скривился. Все было по-другому, все было чужим теперь.

Слова молитвы не шли с языка, холодом тянуло от плит пола. Ефросинья поставила свечку перед образом Варвары-великомученицы и вышла в тихий монастырский вечер.

Ночью она не спала: думала.

Как это началось? Как случилось, что в жизни отступил на второй план монастырь? Ее дом. Ее семья. Ее судьба.

Сколько она себя помнила, это было так. И Фрося никогда не жаловалась не только другим, но и себе на свою участь, такую непохожую на участь других обитательниц монастыря. Кто были они и кто она? Молодые, принявшие постриг, посвятили себя богу. Их жизнь в труде и молитвах была избрана ими самими. Ефросинья ничего не избирала. Ее судьба была решена помимо нее. Когда? Она не помнила. Как? Она не знала. То есть, конечно, знала в какой-то мере, но ей всегда казалось, что здесь что-то не так, что она вовсе не «подкидыш», как о том говорила сама мать Степанида и немногие, помнившие появление в монастыре девочки, которую нарекли при крещении Ефросиньей. Постепенно этот факт стал почти легендарным.

Потому что тот деревенский попик, тихий и благостный, с круглой белой бородой и круглыми детскими глазами, которого Ефросинья помнила, но очень смутно, умер, когда ей было семь лет. Фрося помнила его потому, что и трехлетней и пятилетней сидела у него на коленях. И когда она от других слыхала слово «отец», то не относила его ни к кому другому, а только к старенькому попику. Он-то и внушил матери Степаниде, что ребенка надо оставить в обители, а не отдавать в сиротский дом.

Слово же «мать» не вызывало у Фроси никаких ассоциаций. Никогда не видела она матери в настоятельнице. Не матерью она была, а матушкой игуменьей, матерью всех. Хотя заботу от нее Фрося имела. Сколько себя помнила, мать Степанида была рядом, высокая, в давние годы очень стройная, да и сейчас еще статная. Из-под черного монастырского плата выглядывал краешек ослепительно белой косынки, а под ней черные брови словно тушью нанесены на желтоватом, как слоновая кость, удлиненном лице.

Фросе было двенадцать лет, когда в монастырь стали проникать страшные слухи о царстве антихриста там, за белой монастырской стеной с воротами на все четыре стороны, крепкими воротами, увенчанными иконами. Те ворота, через которые в обычную пору тек поток богомольцев, пришедших со всей округи и даже из других губерний, закрывались только на ночь. В правом притворе была лавочка, торговавшая церковными свечами, поминальными пряниками и леденцами. Через южные ворота творились дела «низменные»: вывозились нечистоты, по утрам водовоз останавливался у них, проносились на кухню закупленные на рынке продукты. Главные, «святые» ворота открывались по большим праздникам, только для именитых гостей. Для них за монастырской стеной существовало маленькое подворье, всего три небольшие палаты, где останавливались богомолки — богатые женщины, приезжав-

шие поклониться лику великомученицы Варвары, вымолить прощение грехов, разрешение семейных неурядиц, а чаще всего то была мольба о продолжении жизни на земле, о зачатии. Там же принимала мать Степанида гостей, не вхожих в пределы обители.

Наступило время, когда и в светлый день на крепкие запоры закрыли все ворота монастыря. По условному стуку открывали калитку, день и ночь творили молитву в тускло освещенной тощими свечами военного времени монастырской церкви. И в великом трепете били лбом о землю, потому что пришествие антихриста стало таким близким, что слышны были адские голоса по ночам, а в небе появлялись огненные знамения, совсем рядом, в роще у подножия горы, на которой стоял монастырь.

Монастырь богат, засевает пятьдесят гектаров земли, привлекает в сезон сева и уборки десятки батраков. Держит на откорме свиней, продает сало и мясо. Окружен фруктовым садом в десять гектаров. Работают в нем исключительно монахини.

Батраки питаются в отдельной пристройке, находящейся за стенами монастыря. Помещение это примыкает к монастырским стенам, батраки никакого доступа в монастырь не имеют.

Большой доход извлекает мать Степанида от рукодельных работ. Монахини круглый год стегают одеяла, вышивают постельное белье, приданое для невест, вяжут скатерти, накидки, занавеси.

Издавна славился монастырь отменными рукодельницами. Рукоделье, наряду с сельскохозяйственными работами, было основным занятием монашек. В двенадцать лет знала Фрося и филейную работу, выводя сложный узор на тонкой, словно иней, основе; и ручную гладь, и даже модную вышивку с иностранным названием «ришелье».

Фрося была допущена к той работе, что создавала главный доход монастыря: стежке одеял, голубых, розовых,

пунцовых, на лебяжьем пуху, и на верблюжьей шерсти, и на легчайшей белоснежной вате. Сколько себя помнит Фрося, любовалась она сказочными птицами и цветами, тонкой россыпью покрывающей атлас. Иногда она представляла себе, кто будет спать под этими одеялами: вероятно, красавицы такие же сказочные и роскошные, как вышивки на одеялах.

Это было неудивительно, потому что Фрося никогда не выходила дальше реденькой рощицы, окружающей монастырь. И она не верила рассказам, которые плелись длинными зимними вечерами в кельях мастериц-монашек. Рассказывали о купеческих дочках на выданье, неказистых, вовсе непохожих на тех, которых создало воображение Фроси. Монахини злословили насчет богатых невест, выливая в этих беседах всю горечь своих жизненных крушений.

И однажды как громом поразило обитательниц монастыря: царя не было больше в России. И царицы не было, и цесаревича-наследника. Конец света. Оставалось одно — разверзнется земля и поглотит всех геенна огненная.

К этому времени Фрося с ученой монашкой Катериной прочла книжку про зверей и птиц. Но не будучи сильна в богословии, представляла себе, что из геенны огненной выскакивают нормальные гиены, каких она видела на картинке в книге про животных. И то, что в священных книгах называлось геенной, становилось еще страшнее оттого, что неведомым образом в огненной стихии существовали страшные звери с разверстой пастью, из которой вырывалось пламя.

Жизнь перевернулась. Та мирная и знакомая жизнь, которая рисовалась Фросе. И вовсе не в ее мечтах, а на вполне реальной олеографии, висевшей на стене в келье матушки Катерины. Олеография называлась «Лестница жизни». Первая ступень изображала младенца в люльке, дальше шло восхождение по лестнице: гимназист в

фуражке с гербом в виде серебряной веточки; потом — молодой человек во фраке с букетом в руке вел к алтарю пышную девицу в фате до полу. Этот рисунок особенно умилял Фросю. Еще одна ступень изображала того же молодого человека, но в бакенбардах, в сюртуке с форменными пуговицами, за письменным столом, пустынным и мрачным, как эшафот. Дальше лестница шла вниз: ах, ах, он разорился! Жена ушла от него. На паперти церкви он выпрашивает подаяние, босой, с непокрытой головой, на которую падает снег хлопьями крупными, как блюдечки. Все кончалось покосившимся крестом на кладбище для бедных.

Знакомая с младенческих лет картина хотя не сулила ничего хорошего, но в ней, по крайней мере, была какая-то закономерность: нравоучительная картина рисовала неизбежную участь грешника.

Что получалось теперь? Кто поведет под венец девицу? Кто разорится? И будет ли вообще крест на могиле, поскольку говорили, что кресты поснимают не то что с могил, но даже с церквей и уж конечно с куполов монастыря.

Но геенна не разверзалась, гиены не появлялись, купола монастыря как синели, так и продолжали синеть безмятежно — более или менее,— потому что налетали какие-то комиссии, и безбожники одолевали, но — речами. Пока что речами... А тем временем начался великий исход из монастыря.

Первой упала к ногам настоятельницы пожилая мать Катерина и, творя земные поклоны, покаялась, что спит и во сне видит не ангелов господних, а прощелыгу и алкоголика — дочерниного мужа, который грозит порешить и жену и детей. И не веление ли бога идти в мир и спасти семью?

Игуменья сказала сухо, что это да, веление бога, но едва ли в миру сейчас можно ждать спасения. Решила:

— Иди с богом.

И несмотря на непосредственную близость дьявола, уходили в мир сестры одна за другой и исчезали в этом миру, где пахло порохом и гарью, где стоял ружейный гром и с лихими песнями проносились конники в заломленных на затылок шапках с красными ленточками, низко пригнувшиеся к луке седла.

Стоя на пригорке у святых ворот, Фрося и другие монахини видели великое движение людей и коней, и пушки, и телеги с пулеметами на них и с ящиками зеленого цвета, в которых тоже, наверно, двигалась к местам боев спрятанная до времени смерть.

А потом наступила какая-то пауза, вроде бы монастырь со всех сторон окружало безлюдное немое пространство, где был слышен только шепот листвы и журчание ручья поблизости.

И после этой паузы с гиком и свистом вошли в деревню под монастырским холмом всадники в высоких шапках со шлыками, ехали медленно и пели: «А попереду Сагайдачный, що проминяв жинку на тютюн да люльку, необачный».

Фрося знала эту песню. Ее иногда напевала потихоньку, улыбаясь сама себе, мать Катерина. Но сейчас она звучала по-другому: в ритме марша, и было в ней что-то лихое и опасное.

Именно в эти дни Фрося впервые увидела брата игуменьи капитана Кременецкого. О нем толковали вкривь и вкось в монастыре. Говорили, что молодой офицер пошел служить гетману Скоропадскому.

Кто такой гетман, Фрося не знала, но представляла себе тем же царем в короне, раз пошел ему служить такой блестящий, в золотых погонах, брат игуменьи.

Кременецкий окопался в монастырском подворье, куда беспрерывно носили из трапезной наливки и медовуху и тащили всякую снедь.

Проводив брата, мать Степанида долго молилась у себя в покоях, а потом ворочалась на своем монастырском ложе с жестким «возглавием» вместо подушки.

И Фрося тоже не спала и, сжавшись в комок на сундуке, где стелила себе, когда игуменья оставляла ее ночевать в своей келье, долго думала: куда ушли и вернутся ли те всадники с красными ленточками. И как же с антихристом: чего ждать? Замирения или гибели?

Говорили по-разному, передавали, что и гайдамаки не прочно сидят на земле Украины и что сам гетман на отлете, так нажимают на него большевики со своей босоногой ратью. А если и в самом деле войско без сапог и голодное, так чего ж бояться гайдамакам, они-то одетые и при оружии? А между тем творила крестное знамение игуменья и жарко молила бога снизпослать победу над большевиками.

Там внизу власти менялись, менялись цвета: белые, красные, зеленые... Даже черные были: самые страшные, на черном знамени — череп и скрещенные кости. Вот тогда снова появился в монастырском подворье теперь уже подполковник петлюровской армии Кременецкий. И, собрав вокруг себя старых вояк и сынков богатеев, валом поваливших в петлюровское воинство, снова сгинул.

И хотя земля все не разверзалась, а большевики все крепче держали власть, опять возник брат матушки игуменьи, на сей раз в обличье духовной особы — отец Григорий!

Со слов игуменьи Фрося знала, что он давно искал возможности удалиться от мира, но Фросе было уже шестнадцать, и она усомнилась в том, что именно таким путем удаляются от мирской суеты.

Новоявленный поп жил бурной жизнью. Уж это-то хорошо знала Фрося, которая летала из трапезной в комнаты батюшки Кременецкого не только с бутылками настойки и всякой закуской, но и с указаниями, как себя вести и кто

из деревенских хозяев достоин доверия. А потом отец Григорий получил приход на Старобельщине, и только изредка поминала брата мать Степанида. А Фрося уже не была девчонкой-несмышленышем. Большое зеркало в прихожей подворья показывало стройную, ладную девицу. В ту пору она уже не носила черной монашеской одежды, боясь привлекать к себе внимание, а по совету игуменьи одевалась по-мирскому, скромно и чисто, не по-деревенски, а скорее по-мещански. Теперь, когда многие богатеи уже были невесть где, в деревне мало кто интересовался монастырскими вышивками и одеялами. Зато отбою не было от городских заказов. И раз в неделю зимой и летом, но с точностью монастырской жизни, размеренной, как и прежде, рассчитанной по минутам, как церковная служба, выходила Ефросинья из ворот монастыря с аккуратной корзиной из ивовых прутьев или с чемоданом и сама аккуратная, неторопливая, с истовой монастырской речью, потупленными глазами. И хоть никто не заподозрил бы в ней монашку — не о том люди думали теперь,— видно было, что это порядочная и скромная девица, не стреляет глазами по сторонам, как теперь водится, не встревает в речь попутчиков, не вертится юлой. И вообще — в порядке.

Летом Фрося шла пешком десять километров до станции. Она сокращала дорогу, направляясь прямиком через березовую рощу, веселую, всю в солнечных бликах, в светотенях, напоминавших те сказочные узоры, которые давно уже не накладывались на белую основу вышедших из моды филейных вышивок.

Потом она ждала пригородный поезд на пустынном полустанке, где почти не было пассажиров, и в вагоне тоже было обычно пусто. Поэтому Фрося сразу заметила молодого человека в белой косоворотке, вышитой васильками. Он был без головного убора, как теперь принято, светлые волосы, прямые и легкие, падали ему на лоб, и он отводил их каким-то осторожным и спокойным движением руки.

С тех пор как Фрося стала совершать рейсы с монастырскими работами, она освоилась и со своими поездками, и с теми городскими домами, куда привозила заказы, где ее всегда приветливо встречали и усаживали за стол. А если она задерживалась, то уговаривали остаться на ночевку, потому что Фрося боялась ночью идти через лес до монастыря.

Но она стеснялась оставаться в этих домах, как ни приветливы были хозяева, знавшие Фросю не первый год. И охотнее ночевала у Марьи Петровны, больничной санитарки, с которой познакомилась в поезде. Марья Петровна была вдовой железнодорожного слесаря, жила в двух комнатках небольшого дома в железнодорожном поселке. И когда Фрося оставалась у нее ночевать в чистенькой маленькой светелке, только гудки паровозов на ближних путях напоминали, что она в миру, а не у себя в монастыре. Марья Петровна полюбила Фросю, тем более что эта любовь подкреплялась денежными и продовольственными подарками. Она сутками задерживалась на дежурстве в больнице, и Фрося оставалась одна в маленькой квартирке с чистыми крашеными полами и цветами на подоконниках: вдова жила одиноко и тихо.

Появление молодого человека в косоворотке выбило Фросю из обычной колеи.

Глядя в окно вагона, она чувствовала на себе его взгляд. Он стеснял ее, но она не решалась переменить место и тем дать понять, что замечает его внимание. Через некоторое время она освоилась и сама исподволь принялась рассматривать его: невысокий, широкоплечий, глаз его Фрося не видела, потому что быстро отвела взгляд, когда молодой человек поднял голову от книги, которую читал. На вокзале она потеряла его из виду. Но не забыла. И тотчас отметила его появление в следующую свою поездку. Теперь она уже была уверена, что он искал ее, потому что пришел из другого вагона.

И снова народу было немного, но сейчас Фрося уже смело встретила взгляд незнакомца.

Она и раньше ловила взгляды мужчин, охотно обращавшиеся к ней, но чувствовала себя от них неловко, неприятно, стесненно. На этот раз было нечто другое: она не хотела пройти мимо, не хотела, чтобы осталось только мимолетное воспоминание об этом светловолосом... Ей казалось, что она больше не увидит его, и желание задержать этот момент было так сильно, что она все время ломала себе голову, как это сделать.

Мысли ее попутчика, вероятно, шли по тому же пути. Но он был более предприимчив, а может быть, и более опытен.

На Харьковском вокзале он вышел раньше ее. И в ней словно что-то потухло, почти горестно она подумала, что нет никаких шансов снова встретить его в большом городе, в суете и многолюдстве. Но, спускаясь со ступенек вагона, она увидела его тут же. От неожиданности она выпустила ручку корзинки, и та мягко шлепнулась на платформу.

— Я помогу вам,— сказал он просто и поднял корзинку.

Фрося растерялась. С одной стороны, она помнила наказы игуменьи остерегаться поездных воров. С другой стороны, это так мало подходило к молодому человеку, было в нем все просто и как-то спокойно. Почему-то Фросе не показалось даже удивительным, что он пошел рядом с ней, неся ее корзину, а свой невзрачный портфелишко держал под мышкой:

— Вам далеко, вы сядете на трамвай? — спросил он деловито, словно не в первый раз встречал ее на вокзале.

— Да нет, недалеко, в железнодорожный поселок. Я пешком,— ответила Фрося и покраснела: он может подумать, что она этим намекает, чтобы он ее проводил.

Но молодой человек действительно был прост, и, наверное, в голову ему не приходило ничего подобного. Они пошли по улице, постепенно отдаляясь от вокзальной суеты, трамвайные звонки доходили до них приглушенно, реже стучали копыта извозчичьих лошадей по булыжнику пригорода, и в воздухе ощущались запахи уже не мокрого угля и паровозного дыма, а дуновение цветущей белой акации, в которой утопал железнодорожный поселок.

И чем ближе подходили они к домику Марьи Петровны, тем беспокойнее становилось на душе Фроси при мысли о том, что сейчас все кончится. Он поставит ее корзинку на скамеечку у ворот и простится с ней. И она потеряет его. Они дошли до ворот. Он поставил ивовую корзинку на скамейку и платком вытер пот со лба: день был в разгаре.

— Может, присядем на минутку? — спросил он с полуулыбкой, открывавшей его неправильные, но белые, крупные зубы.

Фрося кивнула головой, и они сели на скамейку, как-то неплотно, налегке, словно птицы, готовые разлететься при малейшем шорохе.

— Меня зовут Семеном, Письменный по фамилии,— сказал он и замолчал, словно обдумывая, что еще сообщить о себе. И добавил: — Я вообще-то из Старобельска, а сейчас здесь, в Харькове, на курсах...

Она кивнула. Поняла, что надо сказать и о себе. Поняла и другое: ни за что не скажет про монастырь. И, не имея времени придумать что-то еще, быстро и смело спросила его, сама удивляясь своей смелости:

— А куда вы ездите этим поездом?

Он улыбнулся ее маневру:

— У меня тетка в Павловке, каждую субботу еду туда, а в понедельник обратно.

Пожалуй, он мог бы спросить: «А вы?» Но не спросил. И Фрося поспешила ответить на невысказанный вопрос:

— Я из Солончиц, там артель у нас по вышиванью.

Ей показалось, что он немного удивился: чего ж ему не удивляться? Такая артель, пожалуй, одна была в округе. Может, он никогда про это и не слыхал?

Может, она еще сказала бы что-нибудь и он тоже. Но калитка распахнулась, и с восклицаниями и поцелуями Марья Петровна бросилась к Фросе. Присутствие Семена нисколько ее не удивило. Она ведь и слыхом не слыхала про монастырь: «рукодельная артель» вовсе не наводила ее на эти мысли. А Фрося и ей не открылась.

— Так проходьте,— приветливо пригласила она, вероятно приняв Семена за старого Фросиного знакомого.

Фрося растерялась: одно дело принять услугу попутчика и проститься с ним у ворот дома. Совсем другое, по ее понятиям, пригласить его в дом. Красная и смущенная, она не знала, что делать: не могла же она объяснить Марье Петровне положение вещей.

Семен не растерялся и не смутился, отлично заметив ее растерянность и смущение.

— Дякую. Как-нибудь в другой раз,— сказал он, усмехнувшись, и, не протянув руки, а только кивнув головой, произнес: — До побачення в понедилок.

Это было обещание. Больше того: обусловленная встреча, свидание.

И это окрасило все пребывание ее в городе. Остальное все было как всегда. Она отправлялась по адресам, куда надо было доставить выполненные заказы и получить деньги. И как всегда, оставляла на конец, как бы на закуску, дом Пятаковых.

Семейство Пятаковых не раз бывало под гостеприимным кровом монастыря. Пятаковы были богомольны, но, твердо зная, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, бойко промышляли в нэповскую пору спекуляцией чем ни придется, вплоть до сахарина. А теперь хорошо пристроились кто куда. Сам Пятаков — заведующим ларьком промкооперации, дочка — кассиром в магазине

«Охота и рыболовство», а сын подался в ресторан «Аркадия» официантом.

В семье никто не тужил о тех временах, когда папа Пятаков был хозяином мануфактурного магазина в Сумах, и никому не приходило в голову причислить его к злополучному племени «лишенцев», поскольку служащий Пятаков, естественно, не мог быть лишен права голоса, не будучи ни эксплуататором, ни служителем культа, ни вообще представителем класса буржуазии.

Здесь, как всегда, приняли Фросю радушно. Хозяйка и дочка ее Нюра тотчас уединились с ней в спальне, и тут, вперемежку с делом — рассматривались, обсуждались, одобрялись вышитые монастырскими искусницами батистовые рубашки и тонкие «личные» полотенца с вышивкой и меченные гладью носовые платки — высыпались городские новости.

Но то, что Фрося обычно с живым интересом принимала с тем, чтобы потом подробно передать матери Степаниде, охочей до любого городского слуха, теперь мало ее трогало. И кое в чем заставляло даже усомниться. Базар громоздил небылицу на небылицу: время от времени возникали нелепые слухи, которым повсеместное повторение придавало видимость факта.

Пухленькая Нюра, задыхаясь от секретности и лишнего веса, шептала:

— Говорят, это точно — подписан декрет: всех беспартийных подводят под три категории. Первую — в Соловки; вторую — в деревню; третью — вообще... на выкинштейн!

— Это что же такое? — удивлялась Фрося.

— На выброс! — безапелляционно отрезала Нюра.— А еще приходит к нам в магазин очень интеллигентный один мужчина, мотылем с рук торгует, так он сам видел: подогнали под Главсахар крытые грузовики, кулями рафинад грузили... С не нашими клеймами...

— А с чьими же, господи? — пугалась мать.

— Заграничными. На всемирную революцию. И повидло туда же, яблочное.

Потом Фросю пригласили к столу, где уже в подпитии сидели сам хозяин, молодой Пятаков из «Аркадии» и — Рашкевич. Ефросинья не впервые его здесь встречала, но всякий раз про себя удивлялась: чего бы ему здесь?

Она знала Рашкевича как друга Григория Кременецкого. Изредка он встречался в подворье с игуменьей. На этот раз Рашкевич был как-то строг с Фросей. Впрочем, ее это мало интересовало. Да и само посещение Пятаковых тут же забылось.

Мать Степанида любила, чтобы Фрося немедленно по приезде сообщала, как выполнены ее поручения. И новости. Поэтому Фрося сразу же прошла к ней.

Фрося пересказала Нюрину болтовню, матушка отмахнулась:

— Эта вечно языком мусорит. Кого у Пятаковых видела?

— Сергей Платонович там были. Только сразу ушли. Спросили, как ваше здоровье, привет передали и ушли.

— А ты что? Лицо красно, как из бани...— игуменья пытливо поглядела на Фросю.

В былые времена у той уж наверняка ушла бы душа в пятки, а может, и повинилась бы во всем, упав в ноги... Но Фрося стала уже другой.

— Простыла я, матушка, лесом идучи.

Она вступила на новую почву так уверенно и безболезненно, так смело вошла в мир любви, открывшийся ей, как будто все, что было прежде, вело ее прямиком к утопающему в белой акации домику в железнодорожном поселке.

На первых порах она вовсе не думала, чем все это кончится, о том, что их, ее и Семена, ждет впереди. То, что

ей открылось, было уже само по себе счастьем. Могла ли она надеяться его удержать? Да она вовсе не думала о будущем.

Повинуясь инстинкту самосохранения, Фрося ловко скрывала от Семена то, что ставило ее за черту жизни, привычной для него. И, как она догадывалась, могло оттолкнуть его.

Так она думала в начале их истории, их любви. Но потом все изменилось. Семен, как о чем-то решенном, говорил, что увезет ее на родную Старобельщину, рассказывал о своей семье, которая конечно же примет, как родную, ее, его любовь, его жену.

Фрося слушала его, как слушают сказку: красиво, но несбыточно.

И не запомнила, когда поверила во все: в обещания, в слова любви, в то, что все сбудется. И тогда ощутила, какой высокий этот монастырский порог, как крепко отделяет ее от будущего, безоблачного будущего, нарисованного ее любимым.

Замечал ли Семен Письменный в своей увлеченности и в своем упоении что-нибудь необычное в своей избраннице? Она с тревогой отмечала, что иногда он мимолетно удивлялся какой-то ее оплошке в мирских делах, в какой-то малости обнаруженному неведению самых простых вещей... «Так ведь это будет всегда. Всегда монастырь между нами будет стоять...» — думала она тоскливо.

Семен познакомил Фросю со своим другом и земляком Василем Моргуном. Моргун работал в Вукоопспилке, был красивый, ладный, веселый, а девушки у него не было. Семен рассказал, что Василь полюбил одну. Странно так, с первого взгляда, даже слова с ней не сказал. А ее убили кулаки в деревне.

Ефросинья спросила: «Почему кулаки?»

Семен очень удивился: «Как почему? Эта девушка их разоблачала, вот они ее и убили». И, рассказывая в под-

робностях всю эту драматическую историю, очень переживал за Василя.

Чужая беда тронула Фросю мимолетно: своих забот хватало.

В монастыре Ефросинья иногда слышала об убийствах на селе: говорили, что убивали разбойников, грабивших крестьян, и что господь благословил руку, карающую тех разбойников. Когда Фрося в таком духе высказалась в разговоре с Семеном, он рассердился...

Непонимание между ними возникало все чаще и обычно без труда рассеивалось, но Фрося предвидела, что оно будет углубляться. И боялась об этом думать.

Так получилось, что какие-то обстоятельства все время возникали в совершенно новом для Фроси освещении, и поневоле она приучалась их рассматривать по-другому. Особенно это выявлялось в их разговорах с Василем. Наедине с Семеном Фрося замыкалась в их мире — мире любви и надежд. Но в обществе Василя она втягивалась в другой мир, тревожный, опасный. Она знала, что войдет туда, потому что готова была с милым даже прыгнуть в ту самую геенну огненную... Но как ей нести в себе свою тайну, которая уже тяготила ее, как что-то постыдное, что рано или поздно встанет между ней и Семеном?

Так она жила со своим душевным разладом, ничем не выдавая себя, продолжая прилежно работать и выполнять поручения матери Степаниды.

Неподалеку от Харькова, на станции Дергачи, жил адвокат Николай Хрисанфович Поддубный. Собственно, официальной адвокатской деятельностью он не занимался, но жил тем, что писал всякие заявления, разъяснял, как поступить в каких-то казусах несведущим людям. И таковые валом к нему валили.

С матерью Степанидой у Поддубного были добрые отношения еще с тех пор, когда он вместе со своим другом Григорием Кременецким пересиживал трудные времена под монастырской кровлей.

Теперь Николай Хрисанфович в монастырское подворье, где когда-то весело проводил время, и дорогу забыл. А отношения со Степанидой поддерживал через Фросю, которая не раз по дороге в Харьков встречалась с адвокатом, передавала ему от матушки Степаниды подарки: меду банку, собственного копчения окорок, вышитую сорочку, иногда письмо, запечатанное, с надписью: «В собственные руки» — и наказом Фросе только так и передать.

Поддубный приносил свою благодарность в словах цветистых и красивых, а иногда вручал Фросе увесистый пакет, запечатанный личной печаткой и тоже с наказом: матушке в собственные руки.

Николай Хрисанфович, спокойный, хорошо, но неброско одетый, обычно встречал ее на станции Дергачи. И здесь несколько минут они стояли и разговаривали о всяких незначительных вещах, и тут же вручались письма или посылочки.

И эти поручения, как и другие, Фрося выполняла аккуратно и с удовольствием, потому что ценила доверие к себе.

Иногда адвокат передавал Фросе письма, предназначенные Петру Петровичу Пятакову в Харькове, где Фрося часто бывала, потому что жена Петра Петровича была постоянной заказчицей монастырских изделий.

И в тот день, когда переломилась вся Фросина жизнь, она тоже встретилась в Дергачах с Поддубным, и он передал ей объемистый пакет для Пятакова, и она положила его в корзинку, внутрь аккуратно сложенной вышитой скатерти, чтобы пакет не помялся. Она удивилась, что он был слишком тяжел для обычного письма, и тут же о нем

забыла, потому что вся была полна ожидания встречи с любимым. И что ей, в конце концов, за дело до дергачевского адвоката с его знакомыми?

Она собралась к Пятаковым только на утро следующего дня. Это утро было какое-то особо счастливое среди многих счастливых дней и ночей. Марья Петровна дежурила у себя в больнице, и Фрося хозяйничала в ее опрятной кухоньке, кормила завтраком Семена,— можно было легко вообразить, что это уже началась их семейная жизнь.

Потом она собрала со стола и попросила Семена достать ее корзинку с полки. Снимая ее, Семен, смеясь, сказал:

— Какая тяжелая! Хоть бы показала когда-нибудь, что за красоты у тебя там... Что люди заказывают за тридевять земель!

— А что? Правда, красоты! Ты верно таких и не видал.

Фрося живо вытащила из корзинки скатерть, предназначенную Пятаковым. От ее резкого движения выпал пакет, о котором она вовсе и не думала в ту минуту. Он упал на пол, конверт лопнул, и несколько листков выпало оттуда. Листки были печатные на пишущей машинке и одинаковые... Фрося, досадуя, что так получилось, хотела их подобрать и вложить обратно в надорванный конверт... Но один из них уже очутился в руках Семена.

В этом не было, собственно, ничего удивительного: мог же он заинтересоваться этими листками, они же были печатными, значит, не личными письмами. Удивительным было только выражение лица Семена: словно то, что он прочел, касалось его лично, его и Фроси. Предчувствие беды необъяснимым образом возникло у нее в тот миг, когда он, прочитав, спросил как-то сдавленно и отчужденно:

— Откуда это у тебя?

Фрося рассказала без колебаний все, как есть: и про адвоката, и про Пятаковых.

— А ты знаешь, что это за бумаги?

— Откуда же я могу знать? Ты же видел: пакет был запечатан, а я не в свои дела не суюсь...

Она ответила даже как бы с вызовом, в самом деле: это так было не похоже на Семена, что за допрос?

— Да ты прочти, прочти! — почти грубо сказал он.

Она боязливо взяла листок тонкой бумаги, отметив мельком при этом, что текст его вовсе и не машинописный, а исполненный на каком-то другом множительном аппарате, и стала читать...

И только прочла первые строки, как ясно вспомнила, что такой листок, примерно такого же содержания уже читала... Он ходил по рукам в монастыре. Это было давно, и она тогда не придала ему значения. Может быть, даже и не поняла всего.

Но сейчас... Она смотрела на этот листок глазами Семена, и ноги ее подкосились...

— Я же не знала,— пролепетала она жалко, чувствуя на себе этот его новый, отчужденный взгляд.

— И больше ты ничего мне не скажешь? —спросил он.

Она вдруг приняла решение:

— Дай спички!

Он все понял. На загнетке русской печи она сожгла все листовки до одной.

— Скажу, что потеряла,— промолвила она, хотя он ни о чем не спрашивал.— Ты проводишь меня на вокзал? — спросила она.

— Да.

Все было как обычно. Вот он обещал прийти, помочь ей: она же всегда возвращалась с кучей покупок. «Ничего не изменилось»,— уговаривала она себя.

Но, оказавшись одна, уже возле дома Пятаковых, вдруг поняла, что именно сегодня расскажет Семену все, иначе никогда не сможет больше с ним встретиться.

И хотя было вовсе не известно, как примет ее рассказ Семен, но, решившись, она почувствовала облегчение...

Семена не было. Не пришел он и позже. Она уехала, не повидавшись с ним. Неужели он порвал с ней? Из-за этих бумажек, которые вместе со словами о боге призывали к мести? Но она же сожгла их... Значит, он не поверил, что она не причастна к этим листкам? А почему он должен ей верить? Она слишком многое скрыла от него...

Она проснулась непривычно поздно: уже было совсем светло. Через перегородку были слышны голоса матери Степаниды и прислуживающей ей черницы. Та испуганным голосом докладывала, что к подворью подъехал участковый милиционер, чего-то ему надо, людей каких-то ищет.

— Каких людей? Каких людей? У меня что, постоялый двор, что ли? У нас тут одни святые души... Сестру Агафью сюда!

Ключница, матушка Агафья, как всегда, разобралась, точно отрапортовала:

—Участковый приехал на бричке. Спрашивал, не нанимались ли к нам на скотный двор бродячие плотники: ищут они кого-то.

— А ты что? — накинулась на нее Степанида.

— А я сказала: нету у нас никого постороннего. А плотники у нас свои, наняты в деревне. Сколько лет уже к нам приходят.

— С тем и уехал?

— Наливки выпил, пирогами закусил. И уехал.

Степанида перекрестилась, вздохнув облегченно:

— Ступай с миром, храни тебя господь!..

Измученная бессонной ночью, Фрося распахнула окно кельи. Ей почудился запах белой акации, но это только почудилось: она не цвела в монастырском саду.

Хотя все ее мысли были далеко отсюда, она все-таки подумала: «Зачем матери Степаниде скрывать, что на скотном дворе уже несколько месяцев работают два бродячих плотника: ставят новые переборки в коровнике». И она

сама расплачивалась с ними, потому что наняты они были поденно. А то, что они пришлые, так это точно. Она же знала всех плотников в округе. А кроме того, один из них уж очень приметный: со шрамом на щеке...

И только к ночи, укладываясь, готовая ко сну, бормоча слова молитвы, такие привычные, словно без них и веки не смежить, Фрося опять подумала про пришлых плотников, однако сейчас с ними что-то связывалось... Что-то страшное. Но она так и не додумала до конца и уснула, не закрыв окна и приятно ощущая дуновение ветра, который окреп к ночи.

После полуночи она проснулась от того, что створка окна с силой хлопнула, не закрытая на крючок. Собиралась гроза.

Какие-то голоса со скотного двора долетали до слуха Фроси.

И вдруг она вспомнила рассказ Василя об убийстве девушки, которую он любил... «Да это же он! Со шрамом! И потому матушка утаила...»

Это открытие доконало ее. Теперь она должна была не только рассказать Семену о себе... А это одно уже было страшно и мучительно. Но она должна была еще обязательно рассказать об этом человеке со шрамом, который имел документ из какого-то села на Старобельщине, но был совсем не тем, за кого он себя выдавал. И теперь она знала наверное, что это был убийца Софьи.

В бедной ее голове среди множества мыслей, страшных, разорванных, путаных, была только одна ясная, но и беспощадная: он уйдет от меня! Все будет кончено. Если даже она встретится с ним! Если даже это произойдет, он не останется с ней...

Ранним светлым утром она шла через лес к восьмичасовому рабочему поезду. В такое утро, казалось, не может случиться ничего дурного. Но Ефросинья знала: все на свете не таково, каким кажется. Разве не благостным, не

мирным от веку был для нее монастырь? Разве пугали ее долгие годы за белой монастырской стеной? Не оттуда ли, из-за стен, приходили в монастырь страшные слухи и вести? Не в миру ли, за стенами безвозвратно терялись ушедшие из монастыря подружки?

И вот случилось: самое дорогое для нее оказалось в миру, а стены монастыря ограждали ее от счастья, от ее доли. И кажется, оградили прочно.

Акация вокруг дома Марьи Петровны уже давно отцвела, но в палисаднике ярко рдели сальвии. На клумбе, обсаженной сероватой декоративной травкой, они выглядели так весело... Вдруг Фросе почудилось, что на пороге ее встретит Семен. Но это было невозможно. Он не знал, когда она приедет.

Зато ее, по обыкновению, бурно встретила Марья Петровна.

— А Семен-то все ходит, все ждет тебя... Вот оставил адрес, где он сейчас...

Как? Семен не в общежитии? Ну конечно. Как могла она забыть! Ведь Семен уже окончил курсы. Ждал назначения, а она забыла об этом.

Фрося собралась тотчас же. Трамвай долго вез ее по городу, по длинной Екатеринославской, потом по широкой нарядной Сумской. Ей казалось, что это путешествие никогда не кончится... Дом оказался загородный, старая дачка. На терраске за деревянным столом сидел с книгой Семен...

Ночь пролетела, как мгновение: последняя перед разлукой. Семен уезжал на Старобельщину. В эту ночь Фрося рассказала о себе. Без страха, без опасений — с уверенностью: ничто не помешает их любви.

Семен обещал вызвать ее, как только обоснуется в Старобельске.

6

Почему-то так получалось, что дурной, ну наскрозь дурной Алешка Хоменко приносил в Терновку самые важные известия. Курносый неслух, притча во языцех всей деревни, которому ни одна терновская девка не позволяла не то что за пазуху залезть, а даже легонько плечом толкнуть на посиделках,— именно он, хоть на незавидном Гнедке, но словно бы на белом коне, победителем, полным ходом въехал в пределы Терновки. И хотя на подводе дребезжали у него два пустых бидона — он так и не разжился в Старобельске керосином,— но то, с чем он приехал, было важнее не то что двух бидонов, а целой бочки керосину! И при всей своей дурости Алешка Хоменко понимал это отлично. И потому, не распрягая коня, бросил все как есть у тына и вбежал в хату точно угорелый.

— Куды, нехристь, в шапке прешься? — раздался с печи голос деда.

Удивительное дело, пять лет прошло, как дед обезножел, с печки слезает только к столу да до ветру, глаза незрячие, слезой точатся... А все, лешак, знает, ну все, все, как сам господь бог!

И Алешка поспешил сорвать с головы картуз.

Он видел спину отца, привычно согнутую над работой: обувку для всей семьи отец чинил сам. И в лучшие времена — тоже, а теперь и подавно, говоря при этом: «Скоро по миру пойдем, крепкие подметки надо».

Алешка не верил, что они могут пойти по миру. Привык за спиной отца. Твердо знал, что отец все может. Ущербу не потерпит. Никогда.

Как всегда, он и не шелохнулся, не взглянул на вбежавшего опрометью Алешку, словно весь ушел в свое дело. Только лопатки под ситцевой рубашкой знакомо напряглись: отец точно слушал этими лопатками, какие такие важные новости привез Алешка с базара. А то, что

керосиновые бидоны дребезжали на телеге, а следовательно, были пустые, он своими чуткими лопатками уже, конечно, услыхал. И быть беде, поэтому Алешка не переводя дыхания выпалил:

— Тату! Тарас Иванович благодарил за мед и наказал вам передать, что все, мол, в порядке. Керосину нема, а на базаре, я чув, прибыла комиссия и будут хлеб брать. А усих девок сгонят в якийсь, сдается, СОЗ чи ТОЗ!

— У-у, дурне сало! Тута воны. Поперед тэбэ заявылысь! — отец резко повернулся, и Алешку холодом обдало.

Невидный из себя, сухощавый, с узким темным лицом был Кондрат Хоменко. Длинные руки висели плетьми, а тяжелые кисти словно жили сами по себе: то в кулаки сжимались, то растопыренными пальцами будто готовились схватить. Короткие ноги, однако, ступали твердо, и при всей своей сухощавости, даже бестелесности, казался Кондрат тяжелым, почти грузным. Впечатление это исходило не от тела, не от лица в редкой темной бороде клинышком, удлинявшей и без того острое и длинное лицо, а от взгляда. Взгляд был особый: прилипчивый и тяжелый. Светло-голубые глаза, круглые, без прищура, как у птицы, сверкали белками синевато-белыми, словно у цыгана.

От отцовского взгляда пропало у Алешки все настроение, и новость насчет девок, не дававшая ему покоя всю дорогу, потеряла всякий смак. Сразу поникнув, собрался он было в пристройку, где хозяйничала мать. Алешка знал: она-то уж углядела его и орудует у печи ухватом... Но отец бросил коротко:

— Ступай скажи дяде Антону, чтоб зараз пришел.

Проглотив набежавшую слюну и тоскливо прислушиваясь к громыханию чугунов в пристройке, Алешка пошел со двора.

А по дороге вдруг призадумался: какого рожна отец сгонял его в Старобельск, когда сам был там не дале как третьего дня? И, почитай, просидел все время с Тарасом

Ивановичем Титаренком в его доме, что подле водокачки. Об этом Алешке рассказала Титаренкова дочка Клашка.

К чему бы этот разговор? И с чего бы Клашка «со значением» моргала, когда рассказывала Алешке? А? Зачем это ему: ну, сидели, ну, почитай, целый день... Ему-то, Алешке, что?

Вот тут он припомнил, что́ еще говорила красивая Клашка, фигуристая девка — кругом шешнадцать. И волосы закручены, как у барана. Они, говорит Клашка, три графинчика водки высосали, да не счесть, сколько браги... Два кольца колбасы домашней смолотили и сала — от пуза. Во мужики!

Алешка тогда так понял, что Клашка как бы ему в пример, в пику языком трепала: «А ты, мол, орясина, на это неспособный».

Но теперь Алешку просто-таки пронзила другая мысль... С какой такой радости, не в красный день, не в праздник, рассиживались батьки? По какой такой надобности выставил Титаренко царское угощение Алешкиному отцу? Кто он ему — кум, сват? Или какой еще свойственник?

Невиданное это было дело. И могло означать только одно: а не сватает ли отец за Алешку Титаренкову дочку?..

От этой мысли Алешку пробрало холодом, а затем сразу бросило в жар.

И он бегом бежал до самой дядиной хаты.

Дядя оказался дома и тотчас собрался. По дороге Алешка, краснея и запинаясь на каждом слове, высказал свои соображения насчет сватовства: дяди он не боялся. Но тот, рассмеявшись, твердо сказал:

— Ни, тут друге дило. Зовсим друге. И не мечтай.

К ночи выморозило. Воздух стал чистый, сухой. Похоже, скоро завернут большие холода. Из глубокого оврага

за околицей Терновки падала черная тень на седую бровку луговины. Ни одно окошко не светилось. Спала Терновка. Или бодрствовала в темноте, прислушиваясь?

А в двух окнах сельсовета горел свет. И хотя каждый знал, что всего и света там — от одной керосиновой лампешки на столе председателя, бывшего красного партизана Евсея Крамаренко, был этот свет значительным и спать не давал. Едва вспыхнул он за плохо вымытым стеклом неказистой сельсоветской хаты, уронил, прильнув к окошку, Кондрат:

— Ось, бач, сыдять...

Сказал, не ожидая услышать ответ. И Антон не ответил. В бутылке на столе еще что-то оставалось, но пить не хотелось. И каганец зажигать не хотелось.

Антон смотрел в спину брата. Тот все еще сидел лицом к тому огню в окне сельсовета, шевелил лопатками. Со смутной тревогой Антон соображал: «Чего он задумал? Зачем меня позвал? Позвал и молчит. Так молчком и сидим который час».

От выпитого клонило ко сну и мысли теснились в голове. Вспоминал разное, вроде, и ни к чему.

Кондрат был старший, а хилый. А отец любил его больше, чем здоровилу Антона: тот, мол, кулаками и сам пробьется... Конечно, повернись судьба Антона по-иному, был бы он вровень с братом в глазах отца. Судьба ли? Судьбой ли его обернулась бесприданница Олеся? А то, что отец хотел женить его на поповской дочке, так ведь и сам-то поп о том и не помышлял: искал для нее грамотея. И надо было еще попа охмурить, если бы даже Антон и согласился на эту носатую...

Антон сплюнул на пол и потянулся за остатками водки.

Тогда, в угаре молодого своего счастья с Олесей, разве считал Антон, чего там бросил в сердцах старик на порог бедняцкой Олесиной хаты? Тогда все казалось ничего. Ну, выделил батька четыре десятины. Что ж, Антон разве пос-

читал тогда, что у старого осталось больше сорока? Дал отец коня, корову, пару овец. Для Олеси это было по-царски. А когда пошли дети и осыпался первый хмель счастья, было уже поздно. После смерти отца головой в семье стал Кондрат, старший сын. Пришлось теперь Антону из-под его руки на мир глядеть, из его рук есть. А больше — пить...

Пить Антон стал, похоронив Олесю. А оставшись с пятью детьми, кого мог взять за себя? Только сварливую разводку, от которой муж подался аж в Донбасс на шахты, под землю залез от чертовой бабы! А она привела к Антону своих троих. И отодвинула в сторону Олесиного первенца Леньку. Не с той ли поры в глазах малого затаилась недетская обида?

Брат — хозяин. Да, хозяин, потому что Антон с утра до ночи на него работает, и он уже давно стал для Антона хозяином. Много лет прошло и зим, песком занесло и метелью замело то время, когда за старшего да хилого брата рослый Антон дрался с деревенскими ребятами, а позже с парубками. И мог за брата убить, однажды бог отвел руку с дрыном. А остался хозяин... И это его худая спина с тихо шевелящимися под ситцевой рубахой лопатками у окна. И его слова, как бы ненароком брошенные, а чем-то важные: «Ось, бач, сыдять...»

Тихая ночь стоит над Терновкой. Где-то взбрехала собака, глухо, словно во сне, и замолкла. Тихая студеная ночь, а снегу нету. Бесснежная, недобрая ночь. Недобрая тишина. И недобрый тот свет в окне сельсовета, что один горит, когда все люди спят.

Антон хочет сказать Кондрату что-то успокоительное, так ведь не подберешь ключи! Он раньше такой не был. Хоть никогда не держал душу нараспашку, но имел цель жизни: копить. И для того жил и радовался, когда дела шли в гору...

Вдруг погас свет в окошках сельсовета. Стало темно. И тишина полезла в хату.

Будто то был сигнал, Кондрат оторвался от окна, нашарил в темноте бутылку, поставил на стол перед Антоном:

— Допей. И будем гостей ждать. Зараз пойдут по хатам...

«Ну чего ты, брат? Чего опасаешься? В доме твоем ни зернышка лишнего. Только что дотянуть до весны. Не хвылюйся, брат, бережи сердце»,— хочет сказать Антон и не решается. В темноте угадывает лицо брата со впалыми щеками, с глазами светлыми, без прищура, как у птицы.

Невысказанные слова оборачиваются острой жалостью к брату. Что было света в его жизни? Богатство? Так где же оно? И мысли перекидываются на себя: чего уж говорить о нем, Антоне? Недолгая радость пролетела, как снежная пыль за санями...

Антон выпил через силу. Так и сидели в потемках. Кондрат словно боялся вздуть каганец, боялся маленького пламени фитилька, плавающего в блюдце с постным маслом.

— Пожалуй, пойду, брат,— несмело начал Антон.

— Сиди,— жестко уронил Кондрат и добавил непонятно: — Ночь длинна.

От этих слов стало жутковато Антону: да что с ним? Не повредился ли в уме?

— Может, зажечь каганец? — спросил Антон, чтобы не так муторно было сидеть вдвоем в потемках, дожидаясь совсем не опасных — ничего же в доме не было! — гостей.

— Ни к чему. Нам не газеты читать. И в темноте стакан мимо рта не пронесешь.

К удивлению Антона, брат достал из шкафчика непочатую бутылку, расщедрился! Только пить Антону и вовсе расхотелось.

«Сам-то в рот не берет. Зачем меня поит?» Какое-то смутное чувство проклюнулось в путаных мыслях Антона и тотчас пропало, в рассредоточенном сознании его какая-то ниточка вилась и обрывалась. Но все время всплывало со

дна: «Чего же ему опасаться, в доме ни горсточки лишнего зерна».

Он повторял это про себя, отгоняя другую мысль, самую потаенную, которой не разрешалось и кончика носа высунуть наружу. И чтобы этого не случилось, чтобы не дать просочиться той подспудной и опасной мысли, Антон налил еще стакан.

Но выпить не успел. Кобель, спущенный с цепи, страшно, с подвывом, забрехал, заколотился в жерди тына... Идут.

Антон вскочил было, брат прикрикнул на него:

— Сиди. Чего вскинулся?

Антон виновато проговорил:

— Так ведь утро развидняется. Надо кобеля на цепь посадить.

— Успеется.

На печке заворочался дед:

— Чай, кто-то шастает...

— Спи,— бросил Кондрат.

— Убьют же кобеля: вишь, надрывается! Я схожу, посмотрю.— Антону хотелось выбраться из хаты наружу.

— Ступай,— вдруг угасшим голосом согласился Кондрат. Антон выскочил, как был, в пиджаке. Теперь, когда из потемок избы он вышел на крыльцо, ночь оказалась на исходе, небо засветлело, молочным сумраком залило звезды. За воротами слышались голоса. Антон сразу узнал басовитый твердый голос Грицька Пономаренко, председателя комнезама, медленный распевный голос председателя сельсовета, третий был незнакомый. Значит, уполномоченный. Подойдя ближе к тыну, Антон увидел еще троих: «активисты»! Кому больше всех надо...

Антон, не таясь, выглянул из-за тына. Грицько тотчас обернулся к нему. Не дожидаясь его слов, Антон спросил:

— Чего вам? — Хотел спросить строго, дерзко, как, вероятно, спросил бы Кондрат. Но не получилось: вышло искательно, робко.

И Грицько спокойно поманил его пальцем:

— А ты что здесь? Или одного кобеля мало? Так и ты чужое добро сторожишь? А ну пойдем с нами.

Первым побуждением Антона было покинуть братнину хату. Повинуясь ему, он шагнул в калитку, закрыл ее за собой на щеколду, так как пес все еще бесновался во дворе. И только подойдя уже вслед за Грицьком и его спутниками к соседскому дому, сообразил: «На кой шут я им сдался? Ходить с ними хлеб брать? А не думает ли хитрый Грицько подвести меня под подозрение, что я указую, где хлеб сховали?» От этой мысли его даже кинуло в пот, но было поздно: они входили во двор Сидора Гуцало.

Было уже почти светло и потому ясно видно, какой хороший хозяин Сидор Гуцало. Да чего ему не хозяйствовать: коней у него было три пары. Одну пару он продал, но и оставшихся тоже хватает. Коров тоже было четыре. Да двух он прирезал. Мясо продал. А две остались. Что же, похоже, хозяйство-то середняцкое, ведь у него два женатых сына. А в сарае — добрый реманент: и сеялка, и веялка, и молотилка. Да еще мельница, которую он хочет передать колхозу. «На что мне теперь она»,— говорит Гуцало. Мудрый мужик, политичный.

Есть ли у Сидора спрятанный хлеб, Антон не знал, но резонно полагал, что хлеб имеется. Того не может быть, чтобы у Сидора да хлеба не было. Но чудилось Антону: Сидор Гуцало уж если запрячет хлеб, то так, что сам господь бог не найдет. И хитрому Грицьку при всей его хитрости не отсыплется ни зернышка. Ох, неравный тот бой! Неравный, потому что Грицько старается не в свой карман. И прибыли ему и его Дарке — кожа да кости, и его пяти девкам-бесприданницам — нету никакой! Разве что слава? А на хрена она? Славой, что у кулаков хлеб поотнимали,

той славой сыт не будешь, медали за то не дают, деньги не платят, а свободная вещь — можно и пулю схлопотать! Мало ли по нынешним временам таких доброхотов с простреленной головой на меже валяется!

А вот Гуцало, тот свой интерес имеет, большой, жгучий: добро его, нажитое его трудом, ну и, конечно, батрацким, тех батраков, что на него годами работали... Так ведь он им платил. Добро-то его, кровное. И ни за что по-хорошему никто свое добро не отдаст. Такого на свете нету. Антон прожил четыре десятка лет, кое-что повидал и твердо знал: никто богатства не отдаст по-хорошему. Можно взять только силой. Это большевики правильно рассудили. Только до одного не доперли: нет той силы у Грицьков, у голи перекатной, у голоты. Силы нету, потому что у них нет своего интересу. А то, что интерес может быть помимо богатства, в то Антон не верил. То все байки, людям голову задуривают.

Не успели гости взойти на крыльцо, как дверь настежь распахнулась и сам Гуцало, здоровый мужик, даром что семьдесят, крепкий как дубок, низкорослый и кряжистый, встретил прибывших. За его спиной толпилось все семейство, выставленное как напоказ: сыновья, невестки. И детей подняли спозаранку, отметил Антон. А к чему это? К тому, что, мол, семья большая, есть, кому кушать: все по закону, по едокам, земли нахватали десятин сорок, как новая власть велит. Умнеющий мужик Гуцало, политичный...

Рядом с ним Грицько, хоть и выше ростом, казался легким, нестоящим, по земле словно не ступал, а кузнечиком прыгал. И личность имел несерьезную: ни усов, ни бороды, а на голове копна ржаного цвета. Ни к чему. Скинув шапку, Грицько поздоровался по-городскому:

— Здравствуйте!

Голос у него спокойный, вроде ему все равно: насобачился! Остальные стояли за Грицьком, как певчие за про-

тодьяконом, шапки в руках крутили, глазами по сторонам зыркали. Было на что поглядеть: в красном углу иконы в богатых ризах, с расшитыми рушниками. На стенах под стеклом в рамках разные грамоты: за сортовое зерно, за племенной скот, да все с печатями, с орлами. Столы и лавки дубового дерева, а в открытую дверь видать кровати с блестящими шишками, с кружевными подзорами, с пуховыми подушками.

Минуту длилось молчание. Грицько и хозяин словно принюхивались друг к другу, прикидывая, кто чего стоит. А чего прикидывать? Чего прикидывать-то? Знали друг друга до последнего волоска. Нахальный Грицько не сразу же на заработки в город подался, а до того семь потов на этом самом дворе пролил, батрачил у Гуцало. И это хорошо всем известно.

Сидор сдался первый:

— За чем пожаловали, земляки?

Грицько усмехнулся, легонько так, одним углом рта.

— Догадались, звычайно, Сидор Остапович. До вас доведено, сколько хлеба причитается с вашего двора по государственному плану хлебозаготовок? — выговорил Грицько, как по писаному читал: важно, государственно.

Выговорил и плотно губы сжал, собака. Ждал. И знал же тот Грицько, хитрец, какой ответ услышит. А делал вид, будто ждет — сейчас прямо рассыпется Сидор Гуцало: «Нате, мол, товарищи родные, с дорогой душой, что в плане, то на бочку. Свистну сыновьям, те и рады мешки таскать — на подводы да на ссыпной пункт под красным флагом!»

Так ведь знал же, знал Грицько, что ничего похожего не дождется, а вид строил, будто ждет. И с полным уважением к хозяину вроде.

«Ну, представление! Чисто тебе тиятр!» — восхищенно думал Антон, совершенно забыв и про брата, и про его маету.

— Про план знаем, читали, грамотные, — готовно отозвался Сидор.— Але ж,— он широко развел руками,— на нет и суда нет: не имеем хлеба, дорогие товарищи.

— Цепной кобель тебе товарищ!

Это бросил комсомолец Ящук, услышав слова «не имеем». Другого от него Антон и не ждал.

Грицько дернул в его сторону головой. Но и на него слова «не имеем» произвели такое действие, словно ему кто-то сзади коленкой поддал. Он сразу шагнул вперед и сказал, будто отрубил:

— Поищем, найдем — хуже будет.

— Ищите...

И уж не было в словах Гуцало того спокойствия и вроде даже насмешки, что послышались раньше.

«Сейчас начнут копать, ямы искать, известное дело. Только не прост Гуцало». И опять же с жгучим интересом Антон стал ждать дальнейшего.

И тут, к удивлению Антона, вместо того чтобы затребовать лопаты да идти во двор ямы раскапывать, Грицько скинул телогрейку, оказавшись в ладной, хоть и стираной гимнастерке, туго подпоясанной командирским ремнем. Его спутники тоже сняли ватники.

«Значит, во двор не пойдут,— смятенно думал Антон.— Что же, они зерно под кроватью, что ли, искать будут?»

Но дальше пошло уже вовсе несусветное.

Грицько подал знак своим голодранцам, а те рады стараться — подхватили с двух сторон дубовый шкаф с шишечками и в одну минуту отодвинули его на середину комнаты. А другие откатили от стены кровать, а та на колесиках — отъехала аж на середину, под самого Сидора. А Сидор-то... Если бы своими очами не видел, ни за что не поверил бы Антон: весь покрылся потом, словно в бане парился, и стоял белый, как побелка на печи. А старуха его ладилась было завыть, но невестка мигом спровадила ее за перегородку.

Грицько стал медленно выстукивать стену. Точно фершал больного. В хате стало тихо, и вдруг ясно послышалось, как отдавала стена не то чтобы как пустая бочка. Это нет. Но что-то там было... В серединке.

Кто-то не выдержал, раздалась ругань, сын Гуцало рванулся вперед с поднятыми кулаками, но отец метнул на него взгляд, и тот, скверно ругаясь, выскочил из хаты.

Грицько повернулся на каблуках, тихо, а всем слышно сказал:

— Лом несите! И мешки,— добавил он.

Даже Антону вся кровь в лицо бросилась: неужто из стены зерно посыплется? Про это еще не слыхано было! И как же дознались, сукины дети? Чувства Антона как бы двоились: обидно было за мудрого старика Гуцало и не без злорадства отдавал он должное Грицьку с его голодранцами.

Тем временем принесли лом. И тут произошло еще более удивительное:

— Я сам,— сказал старик Гуцало.— Подавитесь, проклятые,— добавил он вроде спокойно.

Грицько и не сморгнул, будто так и следует, отошел немного, чтобы дать размах хозяину.

Тот занес лом и поддел доску... Посыпалась штукатурка. От второго удара доска треснула и обломками упала на пол. Показалась мешковина, будто ее и лом не берет... Гуцало кинул лом на пол и закрыл лицо руками.

— Не могу.— Он плюхнулся на кровать. Все молчали.

Ящук поднял лом и ударил. Как по живому ножом саданул. В широкий разрез мешковины полилось зерно, словно мутно-желтый ручей, несущий песок, густой и бегучий.

Никто не проронил ни слова, тяжелая душная тишина заполнила хату. А хлеб тек сам собой, под давлением сверху, и казалось, что он течет так уже давно. И давно это стеснение в груди и оцепенение, сковавшее всех...

Всех, кроме хозяина, который корчился на постели. словно в смертных судорогах. Все глаза были прикованы к желтому ручью, и поэтому сразу стало видно, что он уже не желтый, а серовато-черный. И это было так страшно, что тишина длилась и длилась...

Здесь были люди земли, для них хлеб был всем, он был присущ им, как воздух, и так же необходим. И каждый понял, что означает серовато-черный поток... И потому никто не мог произнести ни слова. Только вдруг в тишину упали камнем слова:

— Сгноили, гады!

Их произнес уполномоченный, который до сих пор молчал, стоял в стороне, точно и не было его в хате. А между тем все чувствовали его присутствие как нечто значительное и обязывающее. И хоть он маячил где-то на заднем плане и ничего не предлагал и ничего не приказывал, не подавал голоса даже,— все знали, что он здесь. И то, что совершается, как бы исходит от него. Сильнее всех ощущал это Антон. Потому что все время только вид делал, что ему ни к чему, а сам следил за ним жадно, цепко...

Когда сгнивший хлеб пошел из стены, как горная речка вытекает из-под скалы, ничего не ощущал Антон, кроме ненависти. Нет, не к тем, кто сгноил хлеб. К тому, кто довел до этого. И вот он стоял, этот уполномоченный, который как будто не имел даже имени и фамилии, а от рождения назывался этим длинным и чуждым словом — уполномоченный! Так — для всех. Но Антон знал его имя: Сенька Письменный... тот самый. Что с Моргуном...

Хмель сразу прошел у него, и слезы полились из глаз Антона. И он боялся утереть их, потому что казалось: когда они перестанут литься, он закричит, забьется.

И он только все смотрел на этого молодого, красивого, который принес в Гуцалову хату, в их деревню, а может быть, и на всю Украину беду. Эта беда как будто сконцентрировалась в серовато-черном потоке сгнившего хлеба.

Антон не видел остальных, не видел, как побледнел Грицько, желваки ходили у него под скулами и губы были так плотно сжаты, словно он боялся какого-то слова, могущего слететь с них.

Ящук все еще держал в руках лом. Мученически скривился его рот, потому что он вспомнил своих близнецов-первенцев. С голоду они умерли, с голоду. Сколько людей умерло с голоду. С голоду. Целый погост вырос на пригорке. И они умирали тогда, когда этот хлеб, превратившийся уже в ничто, в мерзкую слизь, вызывавшую тошноту и страх... Когда он еще был хлебом.

Эта мысль, объединившая всех, кто вошел за Грицьком в хату, как цементом спаяла их и противопоставила все еще корчившемуся на постели старику Гуцало.

И несмотря на свое оцепенение, на сковавший их ужас, все увидели, как Ящук, побледнев, поднял повыше лом и кинулся...

Грицько схватил его за руку.

— Успокойся,— хрипло сказал он,— власть накажет. Не обойдется.

И после этих первых слов, прервавших молчание, все зашевелились, заговорили. Кто-то взял лом у Ящука, стал ломать дальше, потому что поток уже прекратился: иссяк или застопорился. Антон не мог больше — вышел на крыльцо. Никто его не удерживал.

Вместо того чтобы побрести в хату, где, он знал, томится в ожидании брат, он сел на ступеньки крыльца и здесь уже никак не смог прогнать воспоминание, загнать его поглубже, как раньше загонял. Оно было при нем с той минуты, как он увидел вытекающий из стены, неправдоподобный, как тяжелый сон, хлебный ручей...

Мать всегда жалела Антона, любила его больше, чем удачливого старшего. Она жила долго и всегда была на ногах. И Олесю ненавидела, как и все в семье, считала, что она погубила жизнь Антона. Из-за нее отец лишил его

богатства... Мать упала в погреб, оступившись. Это и раньше с ней бывало, но обходилось. А тут слегла и стала чахнуть. Перед самой смертью она как-то размягчилась, позвала Олесю, как будто повинилась перед ней, хотя слов про это никаких не сказала. Только о детях...

Мать отходила благостно, без мучений. Вдруг вспомнила слова молитвы, не все, а вразброд. Бормотала бессвязно: «Аще изыду... Господи, прими душу мою... безвинно...»

Кондрат не убивался, принял как должное: старуха должна же умереть, и раз такое дело, вот она и умирает. Да в ту пору и некогда ему было, не до того: он как раз в силу вошел, хлеба было много, ума не приложишь, куда его девать, как сбыть. А сбыть некуда — значит прятать. А как прятать? Казалось, все хитрости уже известны, все уловки раскрыты. Ямы перекопаны, двойные чердаки вскрыты. Уж как придумал богатей из соседней деревни: сделал боковой ход из ствола колодца и считал — здорово сообразил, двести пудов зерна лежали у него словно под пудовым замком. Однако же люди доказали. Вся беда в этих людях, что доказывают, в этих проклятых комнезамах: все знают, все раскопают... Нет, не их вина: вина того порядка, что заведен. Того уполномоченного, который несет этот порядок в деревню. Не было бы к кому бежать, доказывать, так бы и сидели со своим знанием, ничего бы сами не сделали. Пошушукались бы между собой — и всего дела...

И опять Антон видел умирающую мать. А потом уже мертвую, ссохшуюся, из величавой старухи превратившуюся в комочек мертвой плоти. И странно: сколько ни видел Антон покойников, как-то не узнавал их — словно умер человек другой, незнакомый. Он не мог связать того, кто лежал в гробу, с тем, кого знал живым. И потому не горевал по умершему.

А здесь, с матерью, было иначе: он остро чувствовал, что в гробу лежит именно она. То, что уже никогда она не будет другой, а только этим ссохшимся, бездыханным телом, приводило его в отчаяние. И он убивался, казалось, не только по матери, а по своей собственной жизни, нескладной, замусоренной. И не было у него впереди ничего, кроме ухабистой пыльной дороги, ведущей к такому же гробу, к такому же ссохшемуся куску мертвой плоти.

Он не слышал звонкого утра, мать умерла аккурат в тот час, когда по всей деревне звенят ведра и подойники и мычат коровы, словно трубы, призывающие к трудовому дню. Ничего не слышал Антон. Тихо было у него и пусто в душе, и вокруг была пустота, в которую отлетела душа матери.

А потом наступило самое страшное. Более страшное, чем это утро, потому что было в нем все-таки что-то облегчающее, что скрасило и последующие дни: монотонное чтение псалтыря дьячком, нанятым братом, и ладные причитания плакальщиц, тоже нанятых, и непритворные слезы Олеси: добрая душа, все простила. И даже сами похороны...

Не понял тогда Антон, что означали слова деда,— не ему, Кондрату, твердил старик: «Глубже копайте яму, глубже». Тогда уже обезноживший, свесившись с печи, все нашептывал, все учил... И страшное значение этих слов не понял тогда Антон.

И только на следующую ночь после похорон... Почему он остался тогда ночевать у Кондрата?.. Да, тот попросил его остаться. И, как всегда, Антон пожалел его, подумал, что тому тоскливо, пусто без матери. А уж кто ближе ему? Их только двое, братьев. Антон всегда об этом думал. И теми же словами, которыми думал в детстве, когда защищал Кондрата в мальчишеских драках. И Антон остался. А в полночь брат разбудил его. «Пойдем»,— сказал, будто договорились раньше. А ведь никакой речи не было,

не понял даже Антон: куда? зачем? А дед опять не спал: в тусклом свете каганца, бросая большую тень на беленую стену, свешивалась голова его с печки. Говорил непонятные слова: «Засыпайте аккуратно, дерном прикройте».

И еще что-то бормотал — деловито, настырно...

Страшно на кладбище ночью, еще страшнее — разрывать материнскую могилу! Грех. Антон не верил ни в сон ни в чох, ни в бога ни в черта, а в грех верил. Втайне верил. И потому страшней, чем хоронить мать,— в смерти ее он не повинен,— было разрывать ее могилу, выбирать землю, много земли, словно не одну, а много-много материнских могил разрывают они с братом.

Алешка оставался на подводе с мешками, оглаживал коня, совал ему торбу с овсом, чтобы не заржал. Но кто его знает, как он там: непутевый парень. Но это уже забота Кондрата. Антон ни о чем не думал: как в горячке, вонзал лопату в рыхлую, сочную землю, с натугой выбрасывал и словно сам себя хоронил. А ночь бежала над кладбищем, бежала так быстро... Во весь дух догоняли ее братья, в страхе, что не догонят, что разгорающееся утро застанет их, сыновей, над материнской могилой не в слезах, не с молитвой, а с мешками зерна, которые они бросали в могилу. И когда гроб, вдруг показавшийся совсем маленьким в огромной, словно ров, яме, стал скрываться под мешками, заваленный страшной тяжестью, тогда Антону показалось, что это живую мать заваливают они. И ей уже не подняться не потому, что она неживая, а потому, что они своими руками навалили на нее пуды и пуды...

И это было страшнее всего.

Позже, много позже, когда ставили ограду, Антон не давал себе воли думать о том, что̀ там внизу, под аккуратным заборчиком, у которого и березку посадил Кондрат.

Только никогда не ходил Антон на материнскую могилу. Словно не было могилы у матери. Словно святая душа ее отлетела, не оставив бренной оболочки на земле. И чувство горечи навсегда застыло в Антоне: не стоила эта земля того, чтобы оставалась в ней хоть какая-то частица покойной...

И вот сейчас нахлынуло все, вернулось.

Антон взял себя в руки, поднялся. Потащился на Кондратов двор.

Брат сидел все так же, казалось, и не подымался с места. Только еще более напряженный.

— Выходят,— убито сказал он.

Значит, все кончено там, у Гуцало, понял Антон. Ему было все равно. Он даже не подумал, что сейчас войдут во двор брата.

За окном уже разгорался полный день, и что он несет, этот день, было неизвестно и опасно, и только об этом думал Кондрат. Антон поневоле проникся его ожиданием, приняв на себя всю его остроту. И увидел, как бледное лицо брата покрывается потом и сильнее, чем обычно, дрожат тяжелые, странные на хилом теле кисти рук.

— Прошли...— прошептал Кондрат, и Антон понял, чего боялся брат: не того, что зайдут к нему, а того, что пройдут мимо. Они прошли мимо.

Антон проснулся от истошного крика: Алешка ворвался в хату, закружился по ней, словно не в себе.

— Батько, дядя, на кладбище бабушкину могилу роют. Уполномоченный... Народу!

И сон и хмель мигом соскочили с Антона. Кондрат сказал:

— Сходи ты.— И Антон понял: случилось то, чего Кондрат ожидал и о чем не хотел думать Антон.

Как он мог думать об этом? Никто не знал, никто не видел. Ночь была темная, все спали. А если кто бессонный и бродил по деревне, то уж никак не забрел бы в ночную пору на кладбище.

А Кондрат ждал. И сейчас, словно бы успокоенный, торопил Антона.

Подходя к кладбищу, он увидел, что поп Григорий в облачении входит в ограду во главе своего причта. Высокая прямая фигура его несла в себе спокойное торжество изобличения.

Антону представилось: сейчас поп скажет слова против богохульников, воззовет к богу, высечет слезы из глаз, молитву из уст... А дальше? От этой мысли у Антона пересохло в горле. Он подумал: хорошо бы вернуться. В тепло избы, к недопитой бутылке... Но вспомнил лицо брата и поплелся дальше.

На кладбище, действительно, стояла толпа, подобравшаяся и осеняющая себя крестом навстречу церковному шествию. Однако люди толпились вокруг могилы на расстоянии, словно не решались перешагнуть какую-то черту.

Человек пять копали споро и молча. Антон заметил, что могильная оградка аккуратно снята и положена обочь ямы. Да, это была уже яма, земля словно бы вовсе и не слежалась, а податливо раскрывалась под лопатой.

В толпе шептались, плакали, и голос священника вонзился в эти перешептывания и всхлипы, низкий, словно шмелиное гудение, и слова сливались на одной гудящей ноте, звучащей в ушах монотонно: слова священника, обращенные к богохульникам, призывающие кару на них. И Антон видел, как подымались опущенные головы и свет зажигался в глазах...

Не успел отзвучать голос отца Григория, как со стороны церкви донесся удар колокола. Отъединенный, словно нащупывающий что-то гулкий звук. Через мгновение

его догнали другие. Набат двинулся на кладбище густым душным облаком.

Люди, словно укрытые им, защищенные им, но и призванные им, сбились плотнее, угрожающе. Из глубины толпы рвались выкрики, отчаянные и грозные одновременно. Слова тонули в колокольном звоне, но человеческие голоса входили в гудение колоколов, как подголоски набата. Под его пологом, как под знаменем, толпа двинулась неспешно, но угрожающе на кучку людей с лопатами в руках, с лицами, измученными бессонницей и голодом.

И в это время что-то изменилось: Грицько бросил лопату и выпрямился. Страшное было у него лицо: омытое потом, состарившееся за одну ночь и странно спокойное.

— Пидходьте, селяне! Дывыться! — Он хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и покачнулся...

И тогда выступил до сих пор неприметный, молодой, показалось, не тронутый ни горем, ни нуждой, ни смертями — уполномоченный... Он стал рядом с Грицьком и громким голосом, привычный говорить на людях, казалось всем, сейчас скажет что-то, какие-то слова, которые, может быть, облегчат, разрядят. И сам он, наверное, так располагал: сказать речь... Но ничего не сказал, а только выдохнул, но так, что всем было слышно:

— Как же это, громадяне? Мать же...

И это было страшнее любых слов, потому что и не надо было уже их. Никаких слов не надо было: все увидели, потому что яма была обширной, много шире обычной могилы... И хорошо было видно все: и полусгнившие мешки, и черно-серая масса, то, что раньше было зерном.

Ужасом поразило всех: тех, кто давно не имел вдоволь хлеба, для кого он стал мечтой и спасением жизни, своей и своих детей. Но еще более тех, кто таил хлеб и не собирался отдавать его. Не собирался даже сейчас.

А звон все шел, казалось, нарастая, обволакивая все плотнее толпу, но сейчас какое-то движение наметилось

в ней, какие-то струйки вытекали из нее, и она таяла, растворяясь в потоке густого, затопляющего всю округу благовеста...

И вдруг он иссяк. Наступившая тишина показалась Антону страшнее набата.

И опять не несли его ноги домой. Подходя к братниной хате, Антон услышал: не своим голосом кричит Алешка. Жалкий и яростный, ломающийся голос племянника ничего не пробудил в Антоне, кроме усталой мысли: «Ще щось трапылось...»

В открытую дверь сарая Антон увидел: Кондрат полосует вожжами бесштанного, бьющегося под ударами Алешку.

Но и здесь ничего не спросил. Кондрат сам сказал, бросив в угол вожжи и разгибаясь:

— Выдал, падло, выболтал сдуру.

Алешка смолк, остался лежать неподвижно. «Може, до смерти забил?» — подумал Антон вяло.

Целый день Антон пил. Кондрат наливал и наливал и даже сейчас — только ему: сам и капли в рот не взял. Потом Антон уснул на лавке. Сквозь сон слышал, как шепчется о чем-то брат с дедом. Но это не беспокоило его: он спал чутко, но сладко. Во сне тяжесть ушла, осталось забытье, в котором плавали туманные, но радостные образы, и Олеся была тут же. Не такая, какую он видел, прощаясь с ней: худая, некрасивая, хоть и по-прежнему дорогая. Нет, во сне была она беззаботной, счастливой... Словно добирала свое, недожитое. Могло же быть счастье без богатства, почти впроголодь? Где же оно?

Но во сне все оборачивалось бездумным, легким покоем.

Пробудился Антон поздней ночью. «Пора» — стукнуло что-то в нем, словно часы пробили отмеченный ожиданием

час. И на лице Кондрата — тот и не ложился — тоже прочел: «Пора!».

Антон вышел из хаты, унося на спине, будто поставленную печать, тяжелый взгляд брата.

Обрез лежал под стрехой прикрытый рядном. Прикрытый, но не завернутый: готовый, и смазка вытерта. Антон отметил это спокойно, деловито. И вообще в голове у него было все ясно и спокойно. Все происшедшее отдалилось, ушло. Казалось, навсегда.

Начиналось что-то новое, неизбежное, о чем Антон не хотел сейчас думать. И не думал.

И когда вернулся — опять же не домой, а к брату,— тоже не думал. Только показалось ему: слишком тихо в хате. А с чего бы быть шуму? С чего бы? Кондрат уставился на него ожидающим, неверящим взглядом.

— Всё,— сказал Антон. И почувствовал страшную усталость, ничего больше.

Брат размашисто перекрестился. Дед, свесившись с печи до половины легкого, усохшего тела, внимательно обшарил Антона небольшими водянистыми глазками, спросил заботливо-спокойно:

— Шапка-то у тебя где?

Антон ответил так же спокойно:

— Вот она.— Он вытащил шапку из кармана и тут же вспомнил, что спрятал ее, когда бежал, больше всего боялся потерять ее.

И теперь испытывал успокоение, как будто шапка могла быть единственной уликой.

Кондрат налил трясущимися руками, но Антон пить не стал: вышел на крыльцо. Его стошнило.

На дворе стояла глубокая ночь, такая же, как была вчера. И раньше бывали такие ночи. Но эта была особенная, так остро ощущал Антон, и в этом ощущении не было ни сожаления о сделанном, ни опасений за будущее.

7

«Вот уж и снова весна, а я никак не развяжусь с ним! Сколько мне еще быть в свите несостоявшегося наполеончика с его бредовыми планами?» — думал Василь. А что удалось ему за этот год? Выявить кое-какие связи — далеко не все открывает ему Рашкевич. Удалось войти в курс некоторых планов его. Локальных, к сожалению, локальных. Открылись внутренние пружины совершенных акций...

А минувший год унес Софью. И Сеню Письменного. И скольких еще, павших в этой тайной, без перемирия и парламентеров, войне. Войне со своими законами. Не сшибались грудь с грудью противники, не гремела артиллерия, не сверкали клинки, не скрежетали траки, не разворачивались боевые порядки по диспозициям штабов.

Впрочем, штабы были. Это Василь уже знал точно. И что ближайшим и для Рашкевича наиважнейшим было руководство УНР во Львове, это Василь тоже знал. Об этом Рашкевич говорил не раз. И последнее время — с досадой, с недовольством. Иногда в сердцах позволял себе бросить ироническую реплику: ничего, мол, там не знают. И не подумают, в каких условиях мы работаем, какие люди у нас на лезвии ножа чудом держатся! И помощи от них, как от козла молока. И хоть ни одним словом не обмолвился по этому поводу Рашкевич, Василь безошибочно угадал, кто это сейчас на лезвии ножа... Нет, вовсе не трогало Рашкевича то, что пойманы убийцы Софьи и Сени Письменного. Это все — исполнители, роль которых была как бы разовой: исполнили — сходите со сцены! Они умножали заслуги Рашкевича перед его хозяевами по ту сторону, потому что это были «реальные дела», которых требовали хозяева. И судьба этих людей вовсе и не занимала бы Рашкевича, если бы не дрожал он за Титаренко. Так дрожал,

что выдал себя ему, Василю, выдал нехотя, в силу обстоятельств...

О том, что в Старобельске заседает выездная сессия окружного суда и слушается дело убийцы Письменного, Рашкевич узнал из газет.

Как получилось, что он не узнал своевременно об аресте братьев Хоменко? Почему со Старобельщины не получены сигналы? Что за проклятое время! Лучшие люди закапываются в свои норы и боятся высунуть нос! А если бы высунули, то знали бы, чем пахнет! Пахнет ладаном, потому что справляет заупокойную службу отец Григорий, вымаливает местечко в раю для своих людей...

Нет, Сергей Платонович вовсе не обнаруживал так открыто и прямо свои опасения. Василь читал их, как в раскрытой книге, в настроении начальника, в репликах, вырывавшихся у него, наконец, в официальном письме, продиктованном Василю, в котором Рашкевич выговаривал старобельским кооператорам за отсутствие информации «о ходе снабжения мест ходовыми товарами».

Вместо ответа прибыл сам Титаренко. Вид у него был не столь независимый, с каким он появлялся обычно в коридорах Вукоопспилки. Но, отметил Василь, держался он хорошо. И после двухчасового доклада Рашкевичу, вероятно, вовсе успокоился.

Титаренко уехал, все вроде бы затихло, Рашкевич обрел свою обычную, немного нервную жизнерадостность. Может быть, чуть более нервную... Почему — силился разгадать Василь, но не мог: было что-то, скрытое от него. Не от недостатка доверия к нему, Василю, безусловно нет... А от навыков конспирации — так он понимал.

И сейчас, когда Василь ехал к нему на дачу, в Зеленый Гай, какое-то предчувствие неприятно царапало его, что-то новое в отношении к нему Рашкевича. Будто он присматривался к нему пристальнее обычного. По-доброму присматривался, с расположением...

Какое отношение могло это иметь к вчерашнему сообщению Максима? Никакого, понятно. Разве только то, что ему, Василю, придется заменить Максима на время его «отпуска».

И все же... Василь стал восстанавливать этот разговор. Максим был несколько растерян, да, пожалуй, и было от чего растеряться! Рашкевич сообщил ему, что дядя его, Остап Черевичный, хочет с ним повидаться: он стар, Максим — единственный у него родной человек...

— Я и сам бы рад,— ответил на это Максим,— да кто же меня пустит во Львов?

— Для этого есть другие пути.— Рашкевич больше ничего не сказал, только добавил уже тоном приказа, чтобы Максим написал заявление об отпуске...

Сомнений нет, Рашкевич использует Максима как курьера. Отлично. Мы будем знать если не все, то очень многое: Максим повращается около дяди, в «сферах» УНР, и, если хорошо настрополить его, привезет новости, которых ждет Рашкевич. И которые пригодятся нам, решил Василь.

Имеет ли сегодняшнее приглашение на дачу отношение к этому плану? Да откуда у него такая мысль? Не его же дядя сидит во Львове и жаждет встречи с племянником...

А дачный поезд между тем пролетал мимо молодой зелени посадок, только что сбрызнутой теплым весенним дождем, в открытые окна входил вместе с паровозным дымом настойчивый ее запах.

И опять прибивалась мысль к Рашкевичу, много еще оставалось неясного: как он поддерживает связь со Львовом? Где их почтовый ящик?

На даче Сергей Платонович оказался один. Василю он обрадовался, тотчас сам накрыл стол, и выпивка была на высоте, и закуска... И настроен он был хорошо. «А лег-

кий у него характер,— подумал Василь,— ведь только что злился-убивался и, смотри, уже отошел!»

— Слухай, хлопче,— сказал Рашкевич почти сразу, да он и вообще не любил тянуть резину,— тебе Максим говорил, что дядя его требует во Львов?

— Говорил,— усмехнулся Василь,— да он что-то раздумывает.

— А ты бы на его месте... что?

— Я? — искренне удивился Василь.— Да будь он мой дядя, я бы и минуты не думал... Интересно же!

— Вот именно! — Рашкевич, видимо, другого ответа от него и не ожидал.— Вот, значит, есть у меня такая мысль. Максим — парень добрый. Надежный. Но — мягковат. Интеллигентный шибко. На его интеллигентности дела не сваришь. Тут горючее требуется! А если тебя к нему приставить — будет в самый раз! И дяде — пожалуйста! — племянника предоставим. И для дела — человек! Подожди, помолчи... Послушай, зачем ты мне тут нужен. Не в няньки же к Максиму я тебя посылаю. Надо на словах, лично, а не через олухов, каких они мне посылают, рассказать про наши условия. Про наши потери и нужды. Дать понять, наконец, что силы у нас есть, но надо же ими распорядиться как след... Ну, это потом я тебе все расскажу, что ты должен... Ну чего ты на меня уставился?

— Простите, Сергей Платонович, я не очень понимаю. Ведь граница все-таки...

— Э, младенец ты! У меня граница вон где...— Рашкевич похлопал себя по карману.— Есть свои люди, переведут — не успеешь охнуть!..

Они еще долго сидели и говорили, и еще раз Василь подивился деловитости Рашкевича. Не было никаких сантиментов, декламаций насчет «самостийной Украины», были совершенно практические соображения: с кем встретиться, чего требовать, о чем докладывать...

И Василю ничего другого не оставалось, как слушать и мотать на ус. И с этого вечера на даче закрутилась двойная пружина выброски. Выброски за кордон.

Беседа была четко ограничена: начальник отдела Валерий Михайлович Горожанин захотел выслушать доклад Моргуна о предстоящем ему за границей, как оно было обрисовано Рашкевичем.

— Я, как посланец Рашкевича,— мой напарник в данном случае играет второстепенную роль,— объяснил Моргун,— должен поставить вопрос о немедленной помощи украинскому националистическому подполью на Украине. Просить литературу, деньги. А главное для нас, говорит Рашкевич, кадры. Пусть помогут людьми. Да не такими, каких они присылали... Я поинтересовался: «А каких они присылали?» Рашкевич засмеялся: «Головорезов. Это неплохо. Но ведь они обстановки не знают. Советской жизни. Терминологии. Насчет «церабкоопа» думают, что это что-то церковное, «ликбез» с «собесом» путают, а иные еще писать «ять» умудряются... Нужны другие люди: землемеры, ветеринары, агрономы, учителя, врачи, чтобы их можно было устроить на работу в любом районном земотделе, в тех пунктах, где у нас имеются резервы, свои люди, которые нуждаются в руководстве».

— Это все разумно,— признал Горожанин,— но пик вашего доклада на той стороне должен быть более острым: вы должны навести на мысль, укрепив ее конкретными фактами, о том, что террор по отношению к советским работникам — мера бесполезная. Это вызывает крупные потери, потому что ни одно дело не остается нераскрытым, ни одно убийство — безнаказанным. Реальных же успехов эти меры не дают. Вы должны опасениям Рашкевича придать более ясную форму: если руководство не проявит большей гибкости, то через некоторое время вопрос вста-

нет так, что будет уничтожена наиболее ценная часть подполья, которая с таким большим трудом создавалась в ожидании будущей интервенции на Украине.

Валерий Михайлович подошел совсем близко к Василю и продолжил:

— Тщательно присматривайтесь к окружению Змиенко и Черевичного. Именно там должны быть люди, которые занимаются отбором, подготовкой и выброской петлюровцев на Украину. Вы сами понимаете, как велика ценность таких сведений. Конечно, не меньшую ценность представят сведения о той агентуре Змиенко, которая находится на советской стороне, как действующей, так и законсервированной.

При встречах со Змиенко и другими петлюровскими вожаками, в беседах с ними держитесь независимо, как человек, который лучше и полнее, чем они, знает положение на Украине, находится на переднем крае борьбы. В то время как они своим положением эмигрантов отделены от непосредственного поля боя, вы имеете это поле перед глазами, каждый день подвергаетесь опасности, что обостряет вашу бдительность и дает вам возможность делать выводы из обстановки. Ставка на индивидуальный террор не оправдала себя и устарела.

Горожанин прошелся по кабинету и договорил:

— Товарищ Моргун, у вас очень выигрышное положение. Я бы даже сказал, что такой благоприятной позиции мы никогда не имели. Поэтому мы ждем от вас очень многого...

Он задумался на мгновение, но в это время зазвонил телефон.

— Слушаю,— лицо Горожанина выразило внимание.— Благодарю вас, Станислав Викентьевич.

— Товарищ Косиор хочет сказать вам, Василь Иванович, несколько слов. Он позвонит, когда вам приехать...

Василь не мог скрыть удивления и некоторой растерянности, но последнее время внесло так много неожиданностей...

И за этим разговором последовали дни напряженной и весьма тщательной подготовки. Моргун знакомился с материалами, известными ему раньше в общих чертах, а сейчас приобретавшими значение практического ориентира в предстоящих разговорах на той стороне.

Он уже разбирался в многочисленных группировках украинской эмиграции за кордоном: группа гетмана Скоропадского, группки разных претендентов на гетманскую булаву, в том числе Полтавец-Остряница, Василь Вышиваный и другие. И украинские эсеры, и украинские социал-демократы тоже когтями и зубами вцепились в мифическую власть...

А еще есть украинские клерикалы, которые спят и во сне видят посадить митрополита Шептицкого патриархом Украины... И особенно сильна и опасна так называемая «группа УНР», руководимая Андреем Левицким, вступившим на этот пост после убийства Петлюры в 1926 году в Париже. И пресловутый генерал Змиенко — его ближайший сподвижник, осуществляющий связи с польской разведкой.

Внимание Василя задержалось, естественно, на моментах, раскрывающих связи внутренней контрреволюции с закордонным центром. В материалах дела СВУ он нашел данные о так называемом «правительстве Украины», сформированном за рубежом по договору между Петлюрой и Пилсудским: Польше была обещана обширная часть Украины, и Украина обязывалась поставлять Польше сырье для промышленности.

Он учел также, что в переговорах в «высших сферах» имя Петлюры хоть и произносилось через каждые два слова, но играло роль как бы вывески, поскольку было известно в массах украинских националистов. Личность же

Петлюры представлялась в этих «сферах», как весьма ординарная, лишенная качеств военного и политического руководителя.

В этом вопросе Василь уяснил себе линию собственного поведения: преклонение перед Петлюрой, характерное для среднего звена движения...

«О чем будет говорить со мной Станислав Викентьевич,— немного волнуясь, думал Василь.— Оперативные задачи ясны. И общеполитические — тоже... Да чего гадать!»

Перебирая в памяти слова Рашкевича, инструктаж Горожанина, прочитанное, Василь все время ощущал тревогу, пытаясь себе представить разговор с Косиором. Но когда он переступил порог его кабинета, все опасения как-то отошли, и он сосредоточился на одном: слушать, что ему скажут.

Его поразили отвечающие его душевному состоянию первые слова Станислава Викентьевича:

— Ну что, все еще выслушиваешь себя, как доктор пациента: каковы силы?.. Верно?

И то, что это было сказано с глубоким пониманием и сопереживанием, понудило Василя признаться: да, конечно, он еще не стопроцентно уверен...

— Все правильно,— подхватил Станислав Викентьевич.— Разве можно быть уверенным в том, что доплывешь, если ты еще на глубине? Но, понимаешь, там, на глубине, обретается второе дыхание. И чем лучше ты подготовлен, тем легче дышать. Это второе дыхание, знаешь, как называется? Чувство ответственности. И есть еще одно: ощущение связи. Ты окажешься один во вражеском лагере. Я говорю «один», потому что, видимо, Черевичному не придется задерживаться там: это, с одной стороны, в интересах Рашкевича, который ждет сведений о том, как вас приняли, что вы узнали, какие указания даются... С другой стороны, это еще в большей степени устраивает нас по тем же причинам. Итак, ты останешься один, но

чувство связи с домом, оно ни от чего не зависит, ни от каких материальных способов нашего общения: ни от радиостанций, ни от курьеров. Это чувство в самом тебе. В твоем душевном мире. И ни расстояния, ни обстоятельства не могут разорвать твоей духовной связи с ним...

Косиор говорил негромко и раздумчиво, мысли, высказываемые им, как будто родились не сейчас, но обрели форму именно теперь.

Знакомое Василю лицо, знакомое давно, с детских лет, казалось, не претерпело никаких изменений. Но что-то все же было новое: какая-то сложность, одухотворенность... «Но, быть может,— путано думал Василь,— я не улавливал раньше... Когда раньше? Да нет, не в далеком прошлом, а даже недавно... И только мое состояние сейчас, накануне такого шага, делает меня как бы более восприимчивым».

— Я тебе так уверенно все это говорю, потому что хорошо помню свои первые шаги в подполье. Тогда, еще при царе, а я был моложе, много моложе, чем ты сейчас... Это я не в укор тебе. Просто мы тогда раньше начинали, такая историческая необходимость сложилась. И вот я ехал, помню, товарняком. Вез транспорт литературы, но «транспорт» — это, конечно, для пышности называлось, а в действительности была плетеная корзина и в ней под нехитрыми пожитками — листовки: триста двадцать штук, и сейчас помню, что именно триста двадцать. Великое богатство для нас, потому что каждая листовка означала воздействие на десятки, может быть, даже и на сотни людей. И сила этого воздействия зависела не только от того, что говорилось в листовках, но и от того, как удастся их распространить. То есть от моего умения, хладнокровия и страсти... Потому что страсть в работе — это половина успеха. И вот тут-то рождается чувство ответственности, и оно уже тебя держит, как резиновый круг на воде. И ты, Василь, это чувство непотопляемости обязательно приобретешь!

Он вдруг спросил:

— Отец знает про тебя? Ну, куда ты отправляешься?

— Нет, Станислав Викентьевич, у нас, вы знаете...

— Знаю, знаю...— улыбнувшись, сказал Косиор,— я сам поговорю с отцом.

Теперь Станислав Викентьевич повернулся в своем кресле, так что свет лампы упал на его лицо, и глаза были обращены на Василя как бы с вопросом.

— Станислав Викентьевич! Я понимаю свою ответственность. И мне очень помогло это ваше слово. Вы так много значите для всей нашей семьи. А для меня особенно в такой момент — самый важный в моей жизни. Ведь я еще ничего не сделал...

— О нет,— прервал Косиор,— многое кроется в тебе и в других молодых людях. Вы и похожи на нас, и отличны от нас. Вы профессиональнее нас...

Встретив непонимающий взгляд Василя, Косиор пояснил:

— Ну вот ты — экономист. Ты со своей специальностью знаешь несравненно больше, чем я знал в твои годы. Ты умеешь больше, чем я умел в твои годы. Но ты имеешь и другую профессию, более для тебя важную. Ты — разведчик. И здесь ты тоже обладаешь бо̀льшими знаниями, бо̀льшим кругом ассоциаций, чем мы в свое время. Потому что ведь у нас тоже была партийная разведка, разведка нелегальной партии, и Ленин придавал огромное значение этой особенно глубоко законспирированной деятельности партии.

Ваше поколение,— продолжал он,— имеет более обширный кругозор. Вы поднялись при Советской власти, которая научила вас широко смотреть и мыслить...

Косиор встал из-за стола и, подойдя к окну, растворил его, в комнату ощутимо влился прохладный воздух, насыщенный запахом влажной после дождя зелени с примесью бензиновых паров. Василь видел тень беспокойства

на лице Косиора, и ему хотелось найти слова, показывающие, что он готов, он просто начинен характеристиками, установками, кажется, на все случаи, могущие возникнуть...

Ему хотелось заверить в этом Станислава Викентьевича, и он сказал:

— Мы разрабатывали все могущие возникнуть ситуации, предусмотрели, кажется, все возможные встречи...

Он уловил интерес в глазах собеседника, тот как будто спрашивал: а именно?

И Василю просто было сказать:

— А некоторых я просто как будто вижу перед собой... Вот, например, Смаль-Стоцкого Романа Степановича...

Станислав Викентьевич понимающе кивнул головой, Василь продолжал, уже увлекаясь:

— ...этого ученого лингвиста, профессора, и он же, этот теоретик, сейчас является заместителем министра иностранных дел мифического правительства УНР и курсирует между Варшавой и Парижем, осуществляя свои мифические функции... И все, что касается этого призрачного «кабинета», этой игры в правительство при отсутствии подданных, территории и, собственно, предмета деятельности,— ведь это могло бы быть просто смешно! Но это не смешно, потому что за этим стоит другая форма деятельности, совсем не мифическая, вполне реальная... Так вот с этой формой — посылкой к нам диверсантов и террористов — с этим я же сталкиваюсь вот уже сколько лет.— У Василя перехватило дыхание, но все же он досказал: — Станислав Викентьевич, я хоронил своих близких друзей, павших в этих схватках... Вы же знаете, совсем недавно убили Письменного, Семен был моим самым близким другом. И ту девушку... Вы ее помните?

Косиор тотчас отозвался:

— Софья Бойко... Помню. Она вот здесь сидела, в этом кресле. И эти слова ее помню: «Не може того буты...»



— Так вот мое знание и мои потери, мои личные, ведь они тоже меня вооружают...

— Я что хочу тебе напомнить...

Косиор взял под руку Василя, и теперь они медленно ходили по кабинету. Голос Станислава Викентьевича, негромкий, немного усталый, почему-то напомнил какую-то давнюю-давнюю сцену: он, Василь, еще мальчик, сидит на кровати, поджав ноги, а «дядя Сташек» что-то рассказывает отцу и вдруг отрывается от разговора и обращается к нему, Василю: «А ты, конечно, уже понимаешь все, даже...» — и он произнес какое-то непонятное слово, отчего оба они с отцом засмеялись. А Василь думал было обидеться, но потом засмеялся тоже, совершенно не понимая почему...

— Я хочу сказать, что ты окажешься на очень бойкой международной развилке, потому что украинскую эмиграцию поддерживают и Франция, и Польша, и Чехословакия, и Румыния, и Болгария, и Югославия. А во Франции, надо тебе сказать, украинские националисты как у себя дома... Ты слыхал про такую организацию, которая называет себя «Прометей»?

— Да, знаю, вот этот Смаль-Стоцкий там задает тон...

Косиор подхватил:

— Этот «Прометей» — там же весь сброд! Петлюровцы, грузинские меньшевики, дашнаки и прочие. Но если тот, настоящий Прометей был прикован к скале, то этот Лжепрометей нерасторжимой цепью прикован к империализму, в частности к французскому...

Станислав Викентьевич положил руку на плечо Василю:

— Ты знаешь, куда и зачем едешь, но я все же хочу тебе напомнить... Иные думают, что сам по себе наш рост, наше быстрое развитие, политическое и экономическое, и рост нашего военного потенциала гарантируют от поползновений империалистов и, следовательно, вся эта кухня

варится попусту... Но это не так. Конечно, это кухня прислуги, лакейская кухня. Но где-то повыше варится другое блюдо — для господ. И лакеи будут разделять и удачи, и поражения господ. Но украинский национализм не только поэтому опасен, что его деятели там, за кордоном, ярятся на нас, и тщатся собрать силы, и мечтают двинуться в поход. И не потому он еще опасен, что империализм прикармливает его и делает на него ставку. Вообще, если по-человечески рассуждать, вся эта эмигрантская мешанина группировок, в том числе УНР, жалка со всеми своими претензиями на гетманскую булаву, со своим опереточным войском и «министром» Смаль-Стоцким. Но они опасны потому, что все еще имеют классовую почву у нас на Украине. Я имею в виду кулака.

...В короткую минуту, когда Косиор обнял его и Василь почувствовал прикосновение его крутого плеча к своей груди, потому что был много выше, Василь вдруг понял, что́ таилось во взгляде Станислава Викентьевича. Да, да, он разгадал это... «Да он просто боится за меня,— вдруг открылось ему в этом беглом и вместе с тем внимательном взгляде.— Так просто, так понятно...»

И то, что он, стоящий на командном мостике, попросту боится за него, как боялся бы его отец, если бы знал, это почему-то вселяло в него уверенность в успехе.

— Я вернусь,— вырвалось у него... Ему страшно хотелось добавить — «дядя Сташек», как он говорил когда-то, но он сдержался и выговорил поспешно: — товарищ секретарь,— что получилось уж совсем не к месту, и Косиор, засмеявшись, легонько повернул его к двери.

Обратно в ГПУ Василь шел пешком и долго еще ощущал ласковое и решительное движение Станислава Викентьевича, словно он, преодолевая что-то, отрывал его от себя.

8

Валентина Дмитриевича Рябова он вспомнил, как только доложили о том, что тот просит его принять. Вспомнил не только по имени, но и мгновенно, как часто с ним бывало, восстановил в памяти весь его облик: немолодой, несколько тучный человек, с ироническим выражением подвижного, умного лица. Лицо нервное, оживленное, контрастировало с вялыми, словно бы бессильными движениями. Даже в повороте головы, в пожатии руки, в жесте, которым инженер перебирал пухлыми пальцами бумаги,— просматривалось настроение: «ни к чему все это...» Казалось, что Рябов полон творческих идей и планов, но считает невозможным претворить их в жизнь. А может, не желает претворять.

Станислав Викентьевич вспомнил свое первое впечатление и возникшее у него тогда желание как-то встряхнуть этого неглупого, опытного инженера, понудить его приложить энергию к делу. Ведь, несомненно, она у него была, ему был присущ творческий темперамент, обрел же он заслуженную славу талантливого металлурга. Слава эта родилась в Криворожье, и вся жизнь Рябова была связана с Криворожьем. Имелось еще одно важное обстоятельство, подогревающее интерес Косиора: Валентин Дмитриевич Рябов — специалист старой формации, далекий от политики,— принял Советскую власть с первых дней, несмотря на то, что всегда был обласкан цветом шахтовладельцев. Рябов не запятнал себя ни саботажем, ни злопыхательством, ни обывательским брюзжанием на всех и вся...

Он показался Косиору одним из тех в среде специалистов Криворожья, на кого можно опереться. При условии, если удастся привлечь его поставленной задачей и заставить поверить в возможность ее решения.

Задача была грандиозная: восстановить и приумно-

жить рабочую славу Криворожья. Задача была реальная, вопреки сплоченному хору разных голосов — от прямых вредителей до правых оппортунистов, скептиков-маловеров и слабодушных плакс.

Среди множества дел разной важности Косиор выделял особо важные. Не только на данный период, а такие, которые определяли положение на многие годы вперед. Он находил и раздувал очаги, огонь которых освещал длинную дорогу в будущее.

Так обратилась его мысль к Криворожью. Она питалась длинными столбцами цифр, которые он сопоставлял, пытаясь вывести закономерность, производственными отчетами и докладами партийных руководителей. Но более всего — собственными наблюдениями, встречами, беседами с людьми. Одним из них и был Рябов.

План битвы за Криворожский железнорудный бассейн возник задолго до статьи в «Правде», в которой Косиор забил в набат, призывая внимание к Криворожью. Положение там он назвал безобразным. Что дало ему уверенность, позволившую написать в этой статье, что Криворожье является и «будет многие и многие десятки лет являться базой южной металлургии»? Прежде всего — пребывание на рудниках, общение с людьми, которые поддерживали его и укрепляли его на боевых позициях. Бои пришлось вести с ликвидаторскими тенденциями не только ряда специалистов, но и некоторых партийных работников, подпавших под их влияние. А причина этому лежала в их малой технической подготовленности.

Трудность заключалась еще в том, что эти их настроения открыто выражались в специальных статьях в крупных экономических газетах. Статьях, подписанных известными инженерскими именами.

Таким образом, битва за Криворожье велась в нескольких слоях одновременно, горизонты ее проходили как бы параллельно: на уровне руководства отдельного рудника

и на уровне высших экономических органов Советского Союза. Станислав Викентьевич сразу же решил, что именно ему, генеральному секретарю ЦК КП(б)У, по плечу возглавить такую битву, и за собой четко ощутил все прогрессивные силы, все устремления рабочих и передовых специалистов, всю готовность партийных организаций отстоять и защитить перспективы Криворожья.

Это ощущение было связано с одним ноябрьским вечером двадцать девятого года, когда в ЦК КП(б)У прибыла делегация горняков из Кривого Рога.

Он тогда с одобрением, с внутренним удовлетворением не только слушал то, что говорили эти люди, рабочие, коммунисты, но и выстраивал свои собственные мысли, рождающиеся или укрепляющиеся в высказываниях подлинных хозяев края.

Они и пришли сюда как хозяева. Посоветоваться по основным вопросам существования крупнейшей базы южной металлургии, значение которой далеко перерастало границы Украины. И он, конечно же, всячески поворачивал их именно к этой мысли: об общегосударственном значении Криворожья.

Тогда в беседе с рабочими прежде всего встал вопрос: на чем основаны утверждения о том, что запасы железных руд в Криворожском районе иссякли? И есть ли такие основания вообще?

И вскочил с места с молодой энергией пожилой горняк и почти выкрикнул:

— Здесь, у вас в кабинете, товарищ Косиор, со всей ответственностью коммуниста, со всем опытом потомственного горняка, заявляю: нет таких оснований, нет таких цифр, нет никаких ни научных, ни практических поводов говорить об иссякании Криворожья! Неисчислимые, далеко не исчерпанные богатства таятся в недрах нашей земли. Так не затем ли мы брали в свои рабочие руки власть, чтобы добывать эти богатства для трудового

народа? Богатства — славу нашего края, нашей Украины!

И после этих слов даже как-то робко, негромко прозвучал голос молодого инженера:

— Только результаты планомерной и глубокой разведки недр могли бы уверить нас в том, что запасы железных руд в Криворожье иссякли. Но дело в том, что такая разведка не ведется...

— Погодите, погодите,— вставил Косиор,— я знакомился с ассигнованиями на разведочные работы. Они проектировались в крупных масштабах. Вы утверждаете, что эти работы не ведутся?

— Утверждаем! — одновременно раздалось несколько голосов, и он увидел, какая страсть движет людьми, пришедшими сюда со своей болью. Но и со своими практическими соображениями тоже.

— Разрешите, Станислав Викентьевич, нашему молодому специалисту огласить документ. Мы составляли его коллективно. По нашему рабочему рассуждению. Но вот молодой специалист, он на инженерном языке лучше нас изъясняется. А мы потом его поддержим,— сказал тот же пожилой горняк.

Молодой человек, сначала волнуясь, а затем все более обретая покой в тех технических положениях, которые он приводил, зачитал обзор работ, числившихся по графику геологической разведки, а в действительности отрывочных, бессистемных попыток, выражавшихся в буровых работах на небольших глубинах. В результате проверки, проведенной по инициативе рабочих, выяснилось, что единого широкого фронта геологической разведки не имелось. Но только он мог дать подлинную картину перспектив работ...

И вдруг — он так хорошо запомнил этот момент, потому что сам был взволнован,— молодой инженер уронил свои записи на стол, сбросил очки, за которыми откры-

лись близорукие, полные гнева глаза, и сказал тихо, убежденно:

— Такая работа подобает мелкому шахтовладельцу прошлого века, с его грошовой экономией и копеечным кругозором! А не нашей державе, не нашему Криворожью — жемчужине советской металлургии!

И оттого, что высокие эти слова завершили прозаический перечень практических работ,— обсуждение как бы перешло на новую ступень. С этого момента начался общий, беспорядочный по форме и глубокий по мысли, разговор. Из него Косиор и вынес свое первоначальное убеждение в ошибочности мнимо научных статей на длинных столбцах «Экономической жизни» и других солидных газет.

И он принял тогда счастливое решение самому объехать крупнейшие рудники Криворожья, собрать вот таких, как эти, людей, с хозяйским глазом, с энергией, с готовностью доказать на деле, своим трудом, что Криворожье — не труп, а живой, действующий и растущий организм.

Он видел тогда свою задачу в том, чтобы мотивированно опровергнуть такие, казалось бы, веские утверждения о нерентабельности дальнейшей эксплуатации железных руд Криворожья. Он хотел лицом к лицу, глаза в глаза встретиться с апологетами этой «теории», потому что за технической проблемой стояло множество проблем человеческих. И на одной стороне группировались силы, прозревающие будущий расцвет Криворожья, опирающиеся на передовую технику. Противостояли же им крепко сбитые ряды сторонников тезиса об иссякании криворожских руд. Рабочие прозвали их «похоронщиками». Но из кого состояли эти «похоронщики»?

Он вскоре убедился в неоднородности их. И здесь была своя дифференциация, свои характеры и интересы. Прежде всего интересы.

И тогда, опираясь на коммунистов, на передовиков производства, он повел войну, в которой была своя стратегия, план всей кампании за сохранение и возрождение Криворожья. И было множество тактических боев, и бои эти велись опять-таки на разных горизонтах, на разных уровнях. Чтобы выиграть эти бои, надо было расслоить массу «похоронщиков», разделить их, определить свое отношение к каждому. Одних увести с собой, других отсечь.

Оказалось, что, конечно же, поработали на «теорию иссякания» и вредители. Но разве могли несколько вредителей повести за собой массы специалистов? Нет, решали здесь другие: те буржуазные специалисты, которым глубоко чужды были размах и перспективы социалистического строительства. Эти люди всю жизнь работали на хозяина. И ясна глубокая вина тех коммунистов, которые шли на поводу у них, вместо того чтобы ломать предрассудки, рутину давних привычек. Этого не могли сделать коммунисты, которые не овладели техникой, мало знали, неспособны были на технически грамотный спор.

А когда копнули глубже, выявился в полной мере, во всем своем безобразии бюрократический стиль руководства управления Южного рудного треста.

Только неоднократными решениями Политбюро ЦК КП(б)У удалось преодолеть сопротивление руководителей треста и выдворить его правление из Харькова в Кривой Рог, поближе к рудникам, к практической работе. И двинуть передовых рабочих рудников на организацию масс для поднятия добычи руды.

Да, конечно, несколько вредителей. И много ротозеев. И еще больше — маловеров. Как удивительно метко этим словом определились слабые духом, инертные. Припечатались те качества, которые получены от старого строя, в которых воспитывались поколения специалистов.

Мысли о возрождении и перспективах Криворожского рудного бассейна принадлежали к числу тех самых важ-

ных, генеральных мыслей, которые привели Косиора на трибуну XVI партийного съезда.

Они подкрепляли его высказывания о реконструкции украинской металлургии вообще, об упорядочении и ускорении проектирования, об устранении «качки» в планировании. Представление о неустойчивости, вибрации планирования возникло у него не вдруг, а по мере того как он вытягивал на свет «прорывные ситуации» и тогда убеждался в промахах изначальных, то есть еще на уровне разработки плана.

«Окончательность», твердость в планировании — это было насущно необходимо, как необходим живому, развивающемуся телу твердый костяк.

Говоря на съезде о недостатках планирования, невозможно было отойти от той мысли, что строительство гиганта сельскохозяйственного машиностроения — Харьковского тракторного завода не было запланировано, не нашло себе места в пятилетнем плане. Между тем именно успехи реконструкции сельского машиностроения решали проблему переустройства села на социалистической основе.

Обращая полемическое острие своего выступления против правых, выстраивая цепь доказательств того, что «третья сила» — контрреволюция в стране — использовала их теории, Косиор думал и о Криворожье. В творческом бессилии, в маловерии, в инертности, с которыми он столкнулся в этом вопросе, он угадывал деморализующую неправду «людей с расхлябанными гайками».

Но тогда, на съезде, он уже был во всеоружии опыта по криворожскому вопросу. С Рябовым же он столкнулся в самом начале... И теперь с интересом ждал встречи с ним. Воспоминания питали этот интерес. И он велел секретарю переключить на себя все телефоны.

«А крупно говорили мы тогда, на руднике,— припомнил он, про себя улыбаясь.— Рябову тогда досталось крепко, а держался он все-таки достойно. Споры ведь шли

вокруг вопроса кардинального: быть или не быть на Криворожье глубокой геологической разведке. Рябов считал ее нерентабельной, выступал ядовито, зло. Ругательные слова выговаривал: «прожектерство», «карточные домики»...

Он поднялся навстречу гостю, и они сошлись на середине ковровой дорожки, проложенной от дверей до письменного стола. Рябов выглядел в общем так же, как раньше. Немного чопорный, с седым начесом на висках и в высоком крахмальном воротничке в разрезе старомодного двубортного пиджака. То же подвижное, умное лицо, те же замедленные, как бы ленивые движения.

Когда они взглянули друг на друга через стол, Косиору почудилась во взгляде инженера какая-то неуверенность, почти смущение. Он не наблюдал этого раньше. Косиор откинулся на спинку кресла и проговорил свободно, дружески:

— Рад вас видеть в мирной обстановке. После наших не столь давних баталий...

Инженер не поддержал взятого тона. Стесненно, глуховатым голосом он произнес:

— Станислав Викентьевич, к сожалению, я вынужден обратиться к вам по поводу весьма огорчительному...

Он вынул платок и утер сразу взмокший лоб.

— С тем большим вниманием вас слушаю...

— Я пришел сказать вам то, чего от меня требует моя совесть... Вам известно, что у нас на руднике арестованы некоторые лица, не хочу о них говорить. Но вместе с этими лицами был арестован мой ученик, горный инженер Коломийцев. Ему всего тридцать два года... Прошу мне поверить: он невиновен...— Рябов снова отер лоб: — Нет, я неправильно выразился. Конечно, виновен. Но не вредитель, нет, не преступник. Виновен в том, что свое неверие, неверие в план, темпы, афишировал на каждом углу. Обладая языком острым, характером общительным, бравиро-

вал... Я хочу, я должен признать, что объективно он способствовал преступлению, не будучи преступником сам. Прошу поверить мне,— повторил инженер,— ни он, ни я не подозревали, что рядом с нами действует рука преступника. В этом была наша вина. Мы были в плену подброшенных нам лживых цифр и лживых фактов. Вы спросите, почему я говорю о себе?

Рябов выпрямился и поднял голову:

— Я говорю о себе потому, что несу полную моральную ответственность за своего ученика. И не скрою — мне его не хватает в той работе, которая, как вы знаете, развернулась сейчас у нас на руднике, как и на других в Криворожье. Могу вас заверить, даже лучше, чем на других.

— Я об этом знаю,— улыбнулся Косиор,— знаю, что вы хорошо работаете. И радуюсь этому.

Тон секретаря ЦК ободрил Рябова.

— Коломийцев очень способный инженер и, право, очень преданный своему делу. Не погрешу против совести, сказав, что мое влияние на него — решающее.

Он помолчал и каким-то новым, искренним тоном произнес:

— Но во мне ведь тоже произошли какие-то... душевные сдвиги. Я много передумал, перечувствовал... И мой опыт будет важен для моего молодого друга.

— Не только для него. Возможно, и для других молодых людей,— проговорил Косиор и, воспользовавшись возникшим мгновенным молчанием, спросил: — Как имя-отчество этого молодого инженера?..

— Иван Федорович. Коломийцев Иван Федорович.

Станислав Викентьевич сделал пометку в лежащем на столе блокноте и, давая понять, что не хочет кончить на этом беседу, стал расспрашивать о положении дел на руднике и по соседству, как он выразился, зная, что Рябов широко привлекается для консультаций во всем районе.

Рябов разговорился, вышел за грань поставленных вопросов, и что-то изменилось в нем. Даже движения его обрели определенность и упругость, по-новому представляя весь его облик.

— То, что произошло у нас за такой короткий срок, я рассматриваю как своего рода чудо... При том, что мне отчетливо видны все наши неполадки. Но они, так сказать, другой категории... Их устранение видится мне реальным, вполне возможным и даже не делом далекого будущего, а делом повседневным. Главное, что вдохновляет, что придает интерес работе...

— И жизни? — полувопросительно, полуутвердительно проронил Косиор.

Рябов улыбнулся:

— Конечно, и жизни, поскольку, честно говоря, не мыслю себе жизни без любимого дела. Это не фраза, поверьте,— добавил он.

— Во всяком случае, не пустая фраза. А довольно точно определяющая духовное самочувствие многих, к великому нашему счастью. Но вы все-таки расскажите мне подробнее о вашей личной работе. Удалось ли вам установить контакты с тем, помните, руководителем участка Артамоновым, который тогда все наскакивал на вас?

— Удалось, Станислав Викентьевич. Даже, можно сказать, притерпелись друг к другу.

— А ценит он вашу помощь? Или делает вид, что сам до всего дошел? Это, пожалуй, в его характере, активном, честном, но уж очень самолюбивом.

— Так ведь и мне он во многом помогает. Например, в общении с рабочими, в понимании их. И потом, он организатор недюжинный, Артамонов. И я часто наблюдаю: какое-то мое предложение «проворачивается», как теперь говорят, в коллективе и возвращается ко мне обогащенным... Я, знаете, многое пересмотрел не только в опыте своей работы, но и вообще... вам, может быть, это покажется ни-

теллигентским самокопанием, но мне бы все-таки хотелось рассказать вам...

— Я слушаю вас с большим вниманием,— серьезно сказал Станислав Викентьевич.

Он действительно весь погрузился в сбивчивый, откровенный рассказ-исповедь своего собеседника. А лаконичные фразы, внутренняя сдержанность, несклонность к сентиментальности, придавали словам инженера особую значительность. И хотя речь шла, собственно, о вещах специальных, об ошибках как будто бы технических, нравственный аспект вопроса с очевидностью просматривался в этой непосредственной, внезапно излившейся речи. Она закончилась как бы с разбегу.

Некоторое время они оба молчали, потом Косиор сказал:

— Вы неправы уже в своей преамбуле. Ни в коей степени я не считаю «интеллигентским самокопанием» ваше стремление разобраться в своих ошибках. Да ни в коем случае! Ведь все усилия наши как раз направляются на то, чтобы люди не просто хорошо работали — хорошо работать может и автомат,— а чтобы они работали сознательно. И это касается всех: и рабочего у станка и вас, командиров производства.

Станислав Викентьевич прошелся по комнате и присел уже не на свое место за столом, а в кресло против гостя:

— Вы сказали очень интересную вещь, Валентин Дмитриевич. Знаменательную даже. О том, что вы «потерпели фиаско», как вы выразились, в своих технических прогнозах и не можете себе этого простить, потому что всегда считали себя сильным специалистом в своей области. От себя прибавлю, что правильно считали. Но суть в том, что, делая свои прогнозы, вы не учитывали факторы «внетехнические», так сказать. Выходящие за рамки техники. В другую уже область — социальную, психологическую.

— Я не имел опыта в таких «выходах»...

— Верно. Ни опыта, ни нужды в них. Ваша жизнь складывалась в других социальных условиях, в другой атмосфере не только общественной, но и нравственной. Вот, скажите мне: разве вы сейчас как инженер, как командир производства не наблюдаете, что имеете дело с другим рабочим, что это не тот «брат мастеровой», которого вы десятки лет встречали на руднике?

— Видимо, в этом и был корень моих ошибок: я мало присматривался к рудничной нови. И знаете, что мне мешало? О, вовсе не чванство, не «белоподкладочничество»! Нет. Очень сильна еще у нас инженерная кастовость. Когда мне удалось преодолеть ее, мне открылось новое, прежде всего — фигура современного рабочего, кровно заинтересованного в прогрессе производства, так сказать, антипод луддита...

— Вот именно хозяйская заинтересованность. Впервые в истории рабочий стал хозяином на производстве. Как вы думаете, это факт только экономический, политический? Разумеется, и психология другая, психология рабочего, свободного от эксплуатации...

— И с таким рабочим мне, инженеру, работать и сподручнее, и интересней,— живо вставил Рябов.

— Понимаю вас. И вот хочу вам сказать,— Косиор протянул через стол руку, привлекая внимание собеседника,— всего через два месяца после победы Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин написал статью «Как организовать соревнование?» И в ней выразил такую мысль: только при социализме для простого рабочего впервые появляется возможность проявить предприимчивость, смелый почин, творчество. Это было сказано задолго до нашего с вами опыта работы. Потому что Ленин прозревал психологические изменения масс в результате революции.

— А иные из нас, я в том числе, не видели этих изме-

ний и более чем через десяток лет,— со свойственной ему иронией заметил Рябов.

— Вот вы начали со слов о «чуде»,— напомнил Косиор,— но это «чудо» состоит из вполне реалистических компонентов. И один из них, весьма важный,— деятельность партии. Мне хотелось бы, чтобы вы это поняли.

— Станислав Викентьевич, я, такой сугубо беспартийный человек...

— Но вы — мыслящий человек. И, как я называю это, «человек в движении», то есть не косный, способный воспринимать новое. Так вот мне хотелось бы, чтобы вы разобрались в действии одной из пружин так называемого «чуда». Понимаете, партия — очень сложный механизм, необыкновенно мобильный. И она применяет революционные методы и в производстве. Вы это учитываете?

— Да, применительно к нашим криворожским делам это очевидно. В чем я вижу революционность методов? В том, что, преодолев косность, взяли нужный темп. В неуклонности борьбы за этот темп.

— Действительно, я вспоминаю, товарищ Рябов: было ощущение какой-то стены непонимания. И даже нежелания понять. И наша вина, руководителей, была в том, в первую очередь, что мы не сразу проникли в толщу проблем. Не схватились, как говорится, за главное звено. Вот, знаете, по хлебозаготовкам... разбудите ночью любого партийного работника любого масштаба, хоть районщика, хоть секретаря ЦК... И он вам сразу скажет все цифры по хлебозаготовкам за последний месяц. А вот когда мы такую осведомленность наладили по промышленности... Вы знаете, что мы каждые две недели на Политбюро слушаем итоги выполнения плана по масштабным стройкам страны? Вот когда все наши звенья насыщены точной информацией, когда каждый день держим руку на пульсе, тогда и можно конкретно руководить. А уголь и металл — хлеб

наш насущный. Наравне с зерном. Что мы с одним хлебом? Русь лапотная... А мы с вами строим великую державу.

— Ей и служу,— тихо ответил Рябов.

— Так вот, вернемся к «чуду»,— продолжал Косиор.— Значит, партия, рабочие-передовики, ударники — этот аккумулятор производственного опыта и дерзания... Я думаю, что корень ошибки вашей и других в том, что вы исходили из ложной предпосылки по вопросу о темпах. Если ее изложить схематично: «такие темпы невозможны потому, что таких никогда и нигде не было». Но чтобы рабочий был хозяином производства — этого тоже не было! Значит, надо перестраивать, говоря по-инженерному, перерассчитывать темп на новые условия. И принимать новый темп с учетом кардинально изменившихся обстоятельств...— Косиор прервал сам себя.— Вы знаете, мне вот за словом «прорыв» всегда слышатся сомнения в реальности плана. Не слабость техники, не бессилие автомата — неверие!

— Я не хотел бы, Станислав Викентьевич, чтобы эти слова теперь относились ко мне.

— Они теперь и не могут к вам относиться,— Косиор поднял на него свои широко открытые глаза.— Валентин Дмитриевич, уж поскольку мы с вами так разговорились, хочу задать вам один вопрос. Частного порядка. Если не хотите, не отвечайте. Я немного знаком с вашей судьбой. Вы прожили много лет, сознательных лет жизни — при ином строе. И благоденствовали. Я имею в виду материальную сторону жизни. Даже были в какой-то степени совладельцем, ну, держателем акций и, насколько мне известно, имели все возможности принять лестные предложения на той стороне... Однако не прельстились ни Стамбулом, ни Харбином, ни даже Парижем. А порвали все связи, даже, кажется, кровные...

Рябов сидел выпрямившись, уронил жестко:

— Да, потерял единственную дочь. Муж — офицер, отрезанный ломоть... А что касается меня... Я русский инженер. Не французский, не английский. И если говорить откровенно, в те времена рассуждал так: сомнительно, чтобы большевикам удалось вывести страну из разрухи, поднять производство. В это я верил слабо. Но что большевики хотят вывести страну из разрухи и поднять производство — в это верил. И потому мне было по пути с ними. Мне, русскому инженеру.

— Вот видите,— улыбаясь, сказал Косиор,— какие разные пути ведут в наш социалистический Рим. А что касается семейных трагедий, так это и у нас бывает. При таких социальных катаклизмах, когда сдвигаются горы с места, рвутся часто нити самых крепких кровных уз... И сближаются люди так, как мы с вами: вышли два поезда из разных точек, встретились на узловой станции. И двинулись дальше по параллельным путям...

Этот момент в разговоре как-то по-новому окрасил его.

Рябов прочувствованно произнес:

— Я глубоко благодарен вам за беседу, Станислав Викентьевич, она была очень важна для меня.

— Для меня тоже,— ответил Косиор и, заметив некоторую растерянность на лице Рябова, добавил: — Вы сказали, что металлургия ваш хлеб. Но металлургию создают люди. А работа с людьми — это наш хлеб, партийных работников.

И проводив гостя, он еще несколько минут постоял у открытого окна с чувством того приятного удовлетворения, которое давала ему каждая встреча с интересным человеком, «человеком в движении».

Потом он позвонил секретарю и приказал затребовать дело инженера Коломийцева.

9

Станислав Викентьевич только после полуночи смог вызвать Горожанина. Он уже знал, что получено донесение Моргуна, который теперь именовался в документах Степаном Ребриком.

— Читаю доклад Ребрика,— сказал Косиор,— но хотел бы послушать вас по этому поводу.

— Приехать к вам, Станислав Викентьевич?

— Если можете.

С того момента, как был решен вопрос о выброске кадрового чекиста Моргуна за кордон, обо всех этапах подготовки ее сообщалось в центр, лично председателю ОГПУ Вячеславу Рудольфовичу Менжинскому. Руководство же операцией на Украине было поручено Валерию Михайловичу Горожанину.

Как в Москве, так и на Украине руководящие работники Государственного Политического Управления были главным образом, как стали выражаться позднее, «интеллигентами в первом поколении», попросту говоря, они происходили из рабочих или сами были рабочими. Но как в Москве, так и на Украине имелись среди них и коренные интеллигенты, люди того типа, о которых писал когда-то Ленин: интеллигенты, связавшие себя до конца с рабочим классом.

Валерий Михайлович Горожанин и принадлежал к ним, что было ясно с первого взгляда на его невысокую хрупкую фигуру с красиво посаженной крупной головой в шапке густых волнистых волос с уже заметной проседью. У него был низкий голос приятного тембра, а мягкость речи контрастировала с решительностью и категоричностью высказываемых суждений.

Горожанин со студенческой скамьи вошел в революционное движение и вынужден был покинуть Россию, не находя применения своим знаниям языков и правовой

науки. Он отправился в Швейцарию, а затем в Париж. Здесь он занялся журналистикой и влился в среду русской политической эмиграции. Через Анатолия Васильевича Луначарского он был принят в круг социал-демократов — большевиков. Через него же познакомился с Роменом Ролланом и Анатолем Франсом, проявившими интерес к талантливому русскому журналисту, которому покровительствовал блестящий, энциклопедически образованный Анатолий Луначарский.

Вскоре после свержения самодержавия Горожанин вернулся на Родину.

Среди командного состава ЧК было немало людей, оставивших любимое дело, любимую профессию для деятельности, которая представлялась им в данный момент наиболее важной. Горожанин принес свой литературный дар в жертву государственной необходимости: он посвятил себя делу борьбы с контрреволюцией. На Украину Горожанин был прислан Москвой. Именно Феликс Эдмундович Дзержинский, глубоко понимавший, как интеллигентность, вдумчивость, политическое чутье и неказенный подход к человеку нужны в важном деле борьбы с украинской националистической контрреволюцией, выбрал Валерия Михайловича. И не ошибся. Горожаниным было сделано очень многое не только для раскрытия преступлений активных антисоветчиков, но и для привлечения на сторону Советской власти заблуждавшихся людей.

На первых порах знакомства с Горожаниным Косиору показалось удивительным несоответствие мягкой, впечатлительной, художнической натуры, так откровенно проявляющей себя во всем облике Горожанина, делу, которым он занимался. Но ведь и Дзержинский был интеллигентом. И Менжинский тоже. И если понимать борьбу с контрреволюцией не однолинейно, не примитивно, то ведь она требовала разнообразных форм и подходов. Здесь были свои «басы» и свои «альты». Предполагалось общение с

самыми разными людьми, потому что не одни закоренелые контрреволюционеры составляли периферию антисоветского подполья, но и колеблющиеся, разочарованные, ищущие выхода и, наконец, обманутые...

Горожанин имел большое влияние на украинскую творческую интеллигенцию, с которой всегда общался: многие, кто стоял тогда на распутье, благодаря ему вышли на широкую дорогу жизни и творчества.

«Но что же еще я знал о Горожанине? Почему связывается у меня его имя с годами гражданской войны? Что-то было тогда, что создало Горожанину репутацию работника проницательного не только профессионально, но и политически...» — вспоминал Косиор. И вдруг одна фраза, одно имя, произнесенное им, сразу потянуло ниточку воспоминаний. 1921-й год... Еще терзают Украину банды, еще падают чоновцы под пулями петлюровских бандитов, еще валятся под откос поезда и мирный труд на полях срывается кровавыми набегами банд, сформированных за кордоном. Руководство ими осуществлял петлюровский штаб, во главе которого стоял Юрко Тютюнник...

Горожанин провел тогда блестящее дело, вошедшее в историю ЧК. Он направил во Львов в штаб Тютюнника кадрового чекиста Сергея Тарасовича Карина. «Да ведь я знал его,— вспоминал Косиор.— Такой с виду неприметный человек, худощавый. Утонченный интеллигент. А как прижился в бандитском штабе, в самом сердце движения в то время!.. И все разведал: состав, вооружение, численность банд. И главное — сроки, сроки выступления через границу на нашу землю. И военная эта хитрость дала нам существенную победу: разгром трехтысячного бандитского отряда. Многие тогда перешли к нам добровольно... И тот же Горожанин умело использовал перешедших к нам людей уже в наших целях. Блестящая операция! Правда, тогда самому Тютюннику удалось бежать в Польшу. Но

прошло совсем немного времени, и чекисты сумели его вытянуть на нашу сторону...»

Станислав Викентьевич слушал, как Валерий Михайлович своим тихим голосом, с интонацией раздумчивости, прослеживал путь «курьеров», и живо представлял себе картину описываемого. Он знал за собой это свойство: отдаваться целиком прочитанному или услышанному так, что оно представало почти зрительными образами.

— После перехода границы в районе Славуты Моргун и Черевичный вышли лесом к станции Здолбуново, откуда направились во Львов.

— Этот путь был избран вами? — прервал Горожанина Станислав Викентьевич.

— Нет, зачем же? Такой путь был избран Рашкевичем.

— И он соответствовал вашему плану?

Горожанин пожал плечами:

— Вероятно, мы избрали бы другой маршрут, более легкий, но здесь мы должны были применяться к плану противника. Тем более что речь идет о двух здоровых молодых людях, для которых переход порядка сорока — пятидесяти километров не представляет неодолимого препятствия.

Косиор улыбнулся и сказал:

— Да, да, конечно, танцует тот, кто заказывает музыку. А как вы думаете, почему Рашкевич избрал этот путь: он был у него хоженым, апробированным?

— Безусловно. Нам этот путь давно известен по другим делам, так что для нас не было неожиданностью, что им пользуется и Рашкевич. Неожиданностью для нас оказалось то, что Рашкевич тесно связан с известным нам бывшим петлюровцем, живущим в Славуте. Самое важное заключается в том, что этот человек — председатель артели углежогов.

— Как это? — спросил Косиор.— Неужели и сейчас существует этот промысел?

— Да, конечно, это занятие — просто золотое дно для контрабандистов, проводников через границу. Они там в лесу хозяева, и граница им дом родной.

— Вы их терпите?

— Да, пограничный лес — это такая епархия, где обязательно заведутся контрабандисты. Все равно как тараканы в старом деревянном доме.

— Что же, эти углежоги сплошь контрабандисты?

— Да нет. Наполовину, приблизительно, так на так... Это на данном этапе нас устраивает.

— Продолжайте, пожалуйста, товарищ Горожанин.

— В Славуте приняли наших людей и познакомили их с непосредственным проводником через границу. Тот и перевел...

Они вышли на станцию Здолбуново с расчетом не задерживаться тут и сесть в первый поезд Здолбуново — Львов. Все эти этапы разработаны Рашкевичем вместе с «беглецами».

Тотчас по прибытии во Львов Моргун вместе с Максимом отправились к Остапу Черевичному. Официально он занимает скромную должность в националистической украинской газете «Дило».

Косиор припомнил:

— Это у них верховодит Василь Мудрый, он, кажется, еще депутат польского сейма?

— Совершенно верно,— подтвердил Горожанин.— Встреча племянника с дядей,— продолжал он,— была очень трогательной. Максим вроде бы искренне разволновался, а дядя просто лил слезы и повторял: «Та й козак з тэбэ добрый выйшов! Ты бильше схожий на маты. Як там вона? Зовсим вже старэнька?»

Наконец, когда дядя спохватился, что соловья баснями не кормят, Максим смог вставить:

— А це, дядя, мий кращий приятэль. Як бы нэ вин, то мы з вамы тут бы и не побачилысь. Бо сам бы я, мабуть, не решывся...

И тогда, заново расчувствовавшись, Остап обнял Степана и сказал:

— Всэ знаю про тэбэ вид Сергия Платоновича, дорогого нашого чоловика.

После этого все отправились к нему домой обедать.

Горячие галушки внесла миловидная женщина.

— Будьтэ знайомы, то наша хозяйка Вера Харитонивна...— Дядя не успел закончить фразу — женщина плюхнулась на стул и громко зарыдала.

— Верочка! — закричал Максим Черевичный...

Косиор удивился, и даже всегда сдержанный, «застегнутый на все пуговицы» Горожанин засмеялся:

— Оказалось, что это та самая Верочка, с которой когда-то был мимолетный роман у Максима в Киеве, дочка Харитона Беркутова, тоже украинского деятеля с большими заслугами, недавно умершего... Ну тут, значит, пошла новая волна воспоминаний...

— Простите, Валерий Михайлович, а как эта встреча для дела, не помешает?

— Напротив. Максим ведь ничего не придумал. Он весь как есть, со своей собственной биографией, и как раз возникновение этой бывшей Верочки сыграло роль ускорителя, потому что дало дополнительную основу для внедрения наших. Словом, после обеда Максим уединился с Верочкой в ее комнатке. Ну, там, конечно, было говорено многое. Я остановлюсь лишь на том, что оказалось важным для дела...

Вера, по мужу Санько, была экономкой, но, так сказать, особого рода, поскольку весь дом, где обитал Черевичный, являлся гостиницей для приходящих с советской стороны людей или готовящихся к выходу туда. Для этого имелись еще дачи за городом, где таких людей помещали

поодиночке, чтобы они друг друга не видели. Сюда же определяли целую группу на то время, когда они проходили обучение и готовились к выброске.

— Валерий Михайлович, извините, снова прерываю. Эта Верочка прямо так вдруг все и выложила?

— Это не было «вдруг», Станислав Викентьевич. Потому что рассказывала Верочка не «вообще», а в связи со своей личной печальной судьбой. Ее муж, Микола Санько, как раз и ушел с бандой, подготовленной именно во Львове, на советскую сторону. Мы это уже проверили и установили, что Санько обосновался в Чернигове на положении резидента.— Ничего, что я так подробно? — спросил Горожанин.

Косиор ответил не сразу и не прямо:

— Понимаете, я ведь по-другому, чем вы, слушаю все это... То, что для вас дело профессиональное, может быть, более важное, чем другие, по калибру, но все же привычное... У меня оно поневоле будит другие ассоциации, другие мысли. Думаю о другом... то есть, собственно, о том же, но в другом аспекте.— Он положил на стол маленькую, крепкую руку: — Потому и важны для меня детали... Думаю о поколении наследников... Об этих двоих, разных и все же объединенных принадлежностью к поколению...

Вот я был в подполье. В царском. Потом — в свирепом, прямо скажем, петлюровском, на Киевщине. Ну, вы хорошо знаете это состояние между небом и землей. А Киев кишел разведчиками капиталистических стран, прикрытыми и неприкрытыми, и варилась вся эта гетманско-петлюровская кухня по рецептам из Парижа, из Берлина... Так вот тогда, подсчитывая свои ресурсы, соразмеряя силы, мы наивно думали: последнее наше подполье! В наследство потомкам оставим свободную страну. Да, еще бедную, если потребительски смотреть, но уже все в заделе: социалистическая промышленность и сельское хо-

зяйство тоже. Стройте дальше в мире, на свободной земле... И никаких змиенков, никаких петлюр... Но не получается ведь!

Косиор поднялся рывком:

— Не дают! Не успокаиваются. Уж, казалось бы, украинские националисты, битые-перебитые! А опять при деле...

— Не обеспечили мы спокойной жизни нашим наследникам,— выговорил Горожанин.

И странно, в голосе его Косиор уловил не только горечь, но и гордость... За них, может быть?.. За наследников?..

— До покоя им далеко, но державу передадим в их руки надежную. Хоть и молодую, но надежную. И вот что я скажу вам: в царском подполье я, конечно, чувствовал, что за мной стоит партия. Со всей ее политической и моральной силой. Но партия гонимая, всегда под угрозой... А в Киеве в двадцатые годы я уже был тайным посланцем партии, стоящей у власти. За мной уже стояло государство. Еще не окрепшее, но набирающее силу. И это, понимаете, было уже совсем другое ощущение. А ведь наши там, во Львове... За ними — держава со всей ее мощью, и они ощущают себя, при всем своем эфемерном состоянии, хозяевами украинской земли. А перед ними все эти «бывшие» — просто мусор истории. Кто они такие? «Недобитки», как говорят у нас в народе...

— Да, такое их самочувствие улавливается в дальнейшем,— заметил Горожанин. И продолжал: — На следующий день после приезда «курьеры» должны были явиться к Змиенко.

— Интересно,— вставил Косиор,— помню его очень отчетливо по Киеву.

— К концу дня — позже они узнали, что Змиенко имеет обыкновение работать ночами, а днем спит,— за «курьерами» была прислана пролетка.

Они выехали за черту города, свернули с шоссе на проселочную, но ухоженную дорогу и через полтора часа быстрой езды достигли резиденции Змиенко.

В маленькой приемной — опять же с портретом Петлюры — порученец попросил молодых людей подождать. Через несколько минут он вышел и с некоторой аффектацией объявил, что генерал ждет. Оба поднялись было, но юноша извинился:

— Пробачте, з початку — пан Черевичный.

Степану это не понравилось, но в конце концов Максим достаточно твердо знал свою роль.

Прошло не менее часа, Максим не выходил. Юноша-порученец несколько раз заглядывал в приемную. По-видимому, и он был несколько озадачен. Степан решил было выйти на террасу покурить. Едва он подошел к двери, возник порученец:

— Пробачте, пан генерал буде гниватись.

Степан не успел ответить — из кабинета вышел Максим, весь взмокший.

— Иди, ждет,— сказал он и тихо, в самое ухо, добавил: — «Экзаменует»...

Степан переступил порог. Кабинет Змиенко поражал отсутствием портрета Петлюры. Зато присутствовал портрет Пилсудского...

Степану было точно известно, что Рашкевич уведомил Змиенко о приезде курьеров, даны их характеристики, обусловлено задание. Однако высокий брюнет, лишь слегка седоватый, с умными карими глазами, сделал такой вид, будто Степан на него свалился с неба. Более того, когда Степан сказал, что имеет поручение Рашкевича информировать об общей ситуации и о конкретных положениях, Змиенко сделал небрежный жест, словно говоря: «успеется».

Степан разгадал эту игру и принял ее. Она, собственно, утверждала его в избранной позиции: как бы превос-

ходства, с одной стороны, и обиды — с другой. Позиции, тщательно разработанной в Харькове.

На первые вопросы о переходе границы, о Рашкевиче Степан отвечал односложно, как бы говоря: «Вы не очень интересуетесь, я не очень разговорчив». К тому же Степан понимал, что с Максимом здесь тоже не праздно сидели, а следовательно, через него будут проверять уже сказанное.

После первых минут разговора Змиенко изменил его ход — неожиданно спросил, каково положение Рашкевича, не шатается ли он. Степан сказал, что нет, но только благодаря своему умению сделаться незаменимым у большевиков.

Потом последовала серия коротких отрывистых вопросов о характере работы Степана, и, хорошо подготовленный на этот счет, Степан сделал краткий экскурс в современную экономику сельского хозяйства. Змиенко, видимо, не был силен в теории. Почему-то был поражен тем, что экономическая литература Советов исходит из того положения, что в течение ближайших лет основным производителем в деревне станут коллективные хозяйства.

— Вы верите в это? — спросил Змиенко.

И Степан понял, что вопрос этот тоже из области «прощупывания».

— Безусловно.

— Но трудности... сопротивление крестьянства, недостаток техники...

— Большевики имеют громадный опыт в преодолении трудностей. А насчет техники... В строй уже вступили гиганты сельскохозяйственного машиностроения. Вам, конечно, известно...

— Да, мы следим за прессой Советов... Особенно «Вісти» дают обширную информацию... И, читая между строк, можно додумать...

По просьбе Змиенко, Степан показал на карте районы

наиболее густой коллективизации, точки концентрации сил, на которые можно опираться как на резервы повстанческого движения. Он упомянул, как само собой разумеющееся:

— Повстанчество потеряло монолитную основу, рассыпалось, основные очаги его потушены, а то, что осталось,— искры...

— Искры разгорятся, когда их раздует ураган интервенции,— резко сказал Змиенко.

Степан промолчал. Чем-то это молчание не устраивало Змиенко.

— Вы сомневаетесь в возможности вторжения?

— В возможности — нет, в успехе — сомневаюсь.

Змиенко удивленно поднял брови, и Степан пояснил:

— Мы, господин генерал, находимся в таком положении, что вынуждены трезво, без иллюзий оценивать обстановку. Большевики не дают народу ни минуты покоя: пропаганда день и ночь твердит о необходимости «держать порох сухим», а с вашей стороны к нам приходят неубедительные, трудно выполнимые директивы, в то время как нужны люди и деньги.

Степан проговорил это, будто слова вырвались у него о давно наболевшем.

Свидание их продолжалось уже не менее часа, и Степан мельком подумал, что, видать, у здешних деятелей хватает времени на психологические разговоры.

— Господин генерал,— начал Степан, словно не мог дольше сдерживать обуревающие его чувства,— я обязан изложить соображения Сергея Платоновича, общие и частные...

— Вы очень преданы ему? — вдруг спросил Змиенко.

— Бесконечно,— не задумываясь, ответил Степан.

Кажется, на Змиенко это произвело впечатление.

— Я хорошо знаю Сергея Платоновича,— сказал он мягко,— и слушаю ваши слова, как эхо его голоса.

— Именно эхо,— впервые за время их беседы позволяя себе горячность, воскликнул Степан.— Господин генерал! Наше подполье на Украине терпит страшные бедствия! Еще не высохли наши слезы о тяжкой участи Ефремова и его сподвижников. А уже новые жертвы, новые потери... Большевики отвечают на террор террором...

Уже больше года мы ждем обещанной помощи нашему движению. Советские газеты тоже пишут, что готовится интервенция против СССР и особенно против Украины. Но мы не ощущаем серьезной подготовки к этому. Получается, что потери мы несем огромные из-за нашей активности, а помощи от вас нет. Мы хотим знать реальные перспективы. Невозможно каждодневно рисковать, не имея их.

— Это два разных вопроса,— жестко заметил Змиенко,— остановимся на первом. Вы, что же, считаете несостоятельной линию на террор?

— Безусловно,— ответил Ребрик.— Мы,— он подчеркнул это «мы»,— считаем: чтобы уберечь от разгрома то, что осталось, и развиваться дальше, надо изменить курс. Мы не скрываем своего разочарования в тактике террора.

— На что же вы делаете ставку? — спросил Змиенко незаинтересованно.

— На планомерную работу. При условии реальной вашей поддержки. Нам нужны деньги в связи с тем, что приходится помогать зажиточным селянам, бежавшим из села и перешедшим на нелегальное положение, а также офицерам и даже священникам, которые были организаторами акций против Советов и которым удалось скрыться. Для этих людей нужно доставать паспорта и другие документы, а это стоит больших денег. Кроме паспортов, нужно заботиться об их материальном устройстве, ведь многим пришлось бежать в чем стояли... Господин генерал, мы высоко ценим и свято храним целостность нашего национального движения здесь и за рубежом. Но мы должны чувствовать поддержку нашего движения сильными дер-

жавами, чтобы мы могли убедиться в том, что будущее вильной Украины находится только в тесной ее связи с Западом, западной цивилизацией...

Степан задохнулся от волнения, и Змиенко вставил назидательно:

— Запад, и только Запад может помочь нам вернуться к искони частному землевладению, которое всегда было основой украинского государственного строя и самостийной Украины, в этом основное!

В заключение Змиенко заметил, что обдумает все сказанное...

Горожанин сделал паузу, но Косиор молчал; казалось, он еще видит перед собой Василя, сына Ивана Моргуна... Но видит совсем другим, чем знал его годами. Поколение трудно и решительно вступало в свои права наследства...

Очнувшись, словно выплыв из бурного потока мыслей, Косиор проговорил:

— Прошу информировать меня так же подробно о дальнейших этапах дела.

10

Обстановка была праздничная. Оттого, что десятки тысяч харьковчан пришли с развернутыми транспарантами, на которых повторялись в разных вариантах лозунги третьего года пятилетки. От прибранности стадиона «Металлист», украшенного гирляндами свежей зелени. От самого этого июльского дня, длинного дня: когда всюду закончилась уже дневная смена, он все еще длился и не погасали солнечные лучи, затоплявшие трибуны стадиона.

В этой праздничности, в ее внешних проявлениях таился глубокий смысл. Достижения первого полугодия 1931-го на строительстве Тракторостроя были подытожены, однако до окончания работ оставалось еще многое сделать.

То, что Косиор начал свою речь именно с предстоящих задач, не снимало приподнятости общего настроения, но и будило беспокойство, обращенное на достойное завершение работ. Как всегда, в его речи присутствовала мысль о значении организации. О том, чтобы силы и волю рабочего класса, направленные на выполнение программы, партийные, хозяйственные и профсоюзные организации вводили в конкретные русла рабочих графиков.

Тракторострой показал неведомые до сих пор темпы строительства. Это признали и враги. Они говорят о «секретах» достижения таких темпов, не понимая того, что социалистический строй дает новую меру производительности труда.

Достигнуты всемирные рекорды по ряду работ — бетонным, в темпах кладки кирпича...

Эти рекорды в огромной мере заслуга коммунистов и комсомольцев Тракторостроя. Они оправдали свою авангардную роль тем, что не только «призывали» к рекордам, а организовывали их, вели к их достижению личным примером, творческим отношением к работе. Недаром Харьковский тракторный завод стал школой для многих предприятий. Перед его коллективом стоит самая ответственная задача — обеспечить в срок пуск завода.

Косиор оставался на трибуне до самого конца митинга. Солнце уже заметно склонялось к горизонту, когда кончились речи и медь оркестра наполнила глубокую чашу стадиона первыми тактами «Интернационала». Гимн был тотчас подхвачен многотысячной массой, заглушившей звуки оркестра. Только в конце каждой строфы они пробивались, как бы ставя точку под броскими и категоричными словами: «С Интернационалом воспрянет род людской!»

Станислав Викентьевич, разгоряченный всей атмосферой митинга, шел к выходу, продолжая разговор с окружавшими его, и вдруг остановился:

— А где же этот профессор, немец,— вспомнил он,— который по бетону? Этот Фома неверующий?

Он обратился к Евгению:

— Товарищ Малых, вы ему передали, что я его приму?

Евгений доложил, что «светило по бетону» здесь.

Косиор не дал ему закончить:

— Я сейчас отправляюсь к себе, а вы привезите мне «бетонного профессора»...

Он обернулся, поискал глазами среди ударников, стоявших с ним на трибуне:

— Не вижу Смирнова-второго, бригадира бетонщиков. Разыщите его, пусть заедет ко мне...

Свидание происходило уже в сумерках. В кабинете зажгли все лампы, как это делалось при многолюдных приемах.

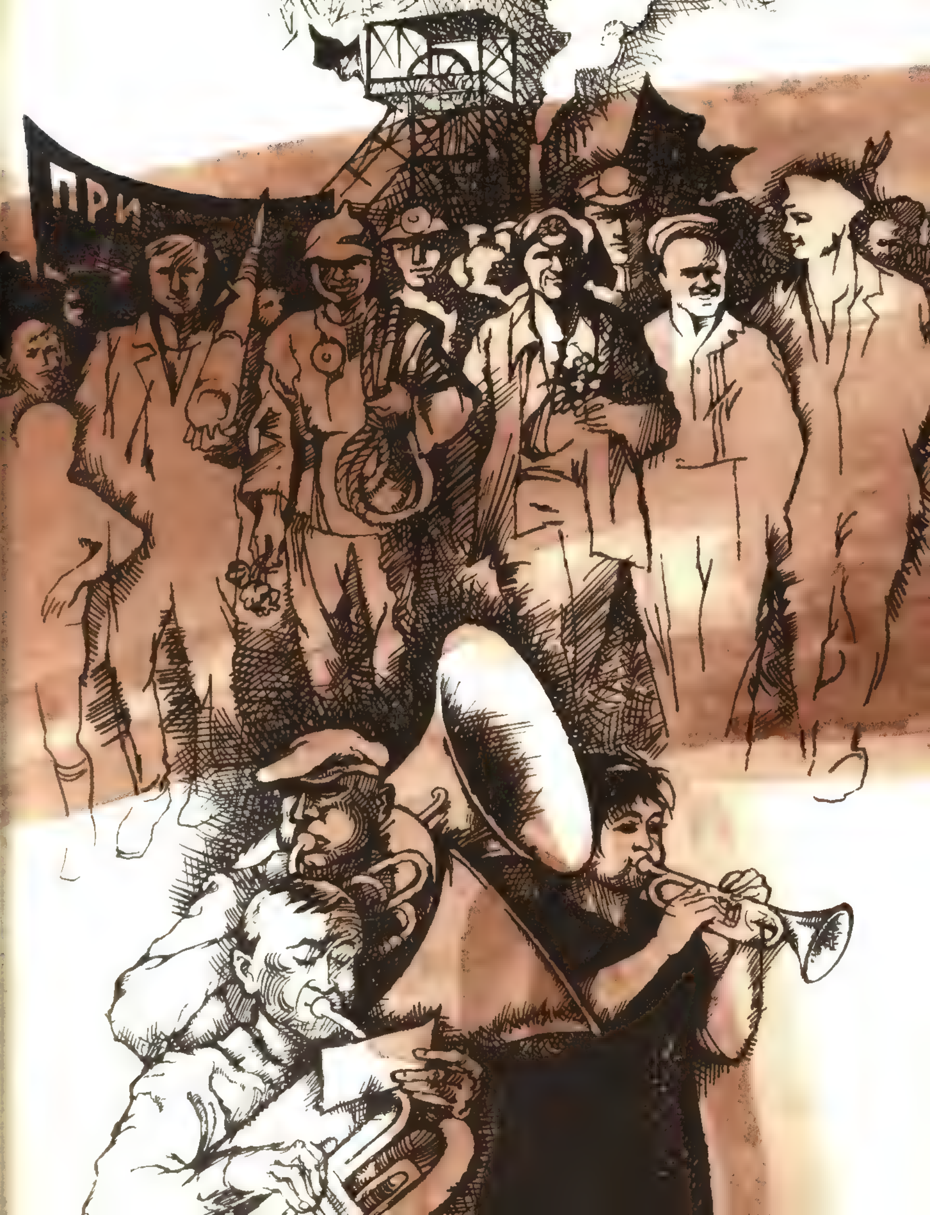
Однако на этот раз гостями секретаря ЦК были только бригадир бетонщиков Смирнов, его помощник и маленький пузатый немец с красным морщинистым лицом.

Рассыпав каскад многословных приветствий, гость беспомощно озирался в поисках переводчика. Но Косиор сказал, улыбаясь, что будет сам переводить товарищам разговор. Он сразу же направил его, заметив:

— Мне передавали, что уважаемый господин профессор углубился в оценку качества бетона, который дают наши специалисты-бетонщики.

Он представил обоих мастеров. Профессор сопроводил эту церемонию беззвучными аплодисментами в сторону Смирнова и его товарища. Затем он многословно объяснил, что, познакомившись с цифрами замесов бетона за смену, он разрешил себе углубиться в исследование качества бетона.

— Поймите меня, такое количество замесов — новое слово в нашем деле. Я должен рассказать об этом чуде своим коллегам на должном уровне информации. И вопрос качества здесь первостепенный вопрос...


ПРИ

— Минуточку,— остановил его Косиор и обратился к мастерам: — Товарищи, вот профессор говорит, что, познакомившись с вашими результатами, он особенно заинтересовался качеством выпущенного бетона. Сейчас он нам и преподнесет итог своих изысканий.— Он обернулся к гостю: — Они ждут вашего мнения.

— Я уже выразил его своим жестом...— немец снова привел в движение свои ладони.

— Понятно? — смеясь, спросил Косиор и добавил: — Я, товарищи, сейчас расскажу, поскольку мы говорим со специалистом своего дела, как ваша бригада пришла к девятистам тридцати семи замесам за смену. Вы мне подскажите, я хочу ему пояснить, как у нас разворачивалось социалистическое соревнование...

— Станислав Викентьевич, а вы знаете, как ему объясните? Помните, что сказала мотористка нашей бригады...— начал Смирнов.

Косиор тотчас перебил его, вспомнив:

— Правильно, она очень образно тогда выразилась.

Он обернулся к профессору и уже по-немецки начал свой рассказ:

— Вы говорите о «чуде», господин профессор. Если под чудом понимать нечто необычное, небывалое, то мы можем принять ваше определение. Но, как известно, чудеса необъяснимы. Здесь же мы имеем «чудо», которое можно объяснить, и я попытаюсь это сделать. Видите ли, вы согласитесь со мной, вероятно, что помимо экономических факторов в вопросе о производительности труда большую роль играют факторы психологические. Мы включаем их в общее понятие социальных...

— О! Это вопрос психологии труда. Я не специалист. Я — техник, но, конечно, нельзя отрицать: духовная сущность, душа производителя ценностей — это играет роль...— возвышенным тоном согласился гость.

— То, что рабочий у нас является хозяином на своем

предприятии, что своим трудом он обогащает не капиталиста, а свое собственное рабочее государство,— это обстоятельство влияет на повышение производительности труда решающим образом. То есть тут не одна только система поощрения рационализаторов, которая у нас, несомненно, имеется, но и психологический фактор, двигающий эту рационализацию. Это, знаете, уже специфика нашего строя...

Профессор несколько растерянно кивал головой, и Косиор засмеялся:

— Как видите, мы далеко ушли от бетономешалки, в которой родилось «чудо», но для того, чтобы объяснить его сущность, приходится переводить, так сказать, регистр на более общее звучание.

— Следовательно,— хитро улыбаясь, сказал немец,— я могу вас понять так, что нам нечего мечтать о подобных результатах, поскольку наша промышленность строится на иных принципах? Это очень интересная, но для меня несколько новая и... отдаленная идея.— Он засмеялся и добавил: — Я склонен держаться поближе к бетономешалке...

Косиор тоже засмеялся:

— Тогда, господин профессор, вы не поймете «чуда»!

Он перевел сказанное присутствующим и снова обратился к гостю:

— Вот товарищи бетонные мастера мне напомнили слова работницы-мотористки... Она сказала, что, когда она наблюдала за работой бригады товарища Смирнова, у нее складывалось такое впечатление, что «работает одна гигантская рука». Она этим хотела выразить свою мысль о большой слаженности работы всего коллектива. Вот это вам, видимо, будет понятно.

— О да, безусловно, слаженность в работе — это есть дисциплина и культура работы, и это может дать большой результат.

Разговор продолжался, но так как он принял форму

обмена репликами уже специального характера, было решено продолжить беседу на производственной площадке.

Прием был закончен, но Косиор задержал у себя Смирнова:

— Как ваши партийные дела, Федор Иванович?

— Полный порядок,— Смирнов покраснел.— А ведь был такой момент в жизни... Честно говоря, почти утратил надежду. Если бы вы тогда на дороге не подошли ко мне...

— Всегда находится кто-нибудь, кто подходит к тебе на дороге,— ответил Косиор.

Оставшись один, он, по своей привычке, походил по кабинету, постоял у окна. Затем вызвал Малых с очередным докладом.

Последнее время Станислав Викентьевич уже не спрашивал, есть ли сведения из Львова, но молчаливый его вопрос Евгений улавливал каждый раз, когда входил в его кабинет. И потому, что вопрос этот был именно ему адресован — он просматривал ежесуточные записи дежурных,— Евгений чувствовал себя виноватым.

Сейчас он напряженно вслушивался в разговор Косиора с Карлсоном и Горожаниным. Разговор был необычно резким.

— Вы потеряли человека, это факт. Значит, что-то не было продумано по части связи. То, что мы узнали от Максима Черевичного, говорило о полном благополучии: Ребрик был принят Змиенко хорошо, но ведь были другие свидания, уже после ухода Черевичного из Львова. И о них вы ничего не знаете!

Карлсон ответил тихо:

— Не знаем, Станислав Викентьевич. У нас нет прямой связи с Ребриком.

Косиор вскипел:

— У вас и непрямой тоже нет! Ребрик исчез! И у вас даже нет предположений по этому поводу.

Карлсон ответил:

— Предположений нет. С Ребриком было обусловлено, что в определенные дни и часы он появится в определенных местах, там его должен видеть наш человек, которого Ребрик не знает. И мы имели сообщения: «Да, был». И вот уже две недели не показывается...

— Слушайте, а Рашкевич что думает по этому поводу? — живо спросил Косиор.

— Он ждет Ребрика.

— А подойдем с другого конца: какая конкретная опасность — давайте рассмотрим худший вариант — могла бы возникнуть?..

— Невозможно все предвидеть, Станислав Викентьевич... Ведь Львов в общем-то большая деревня, могла быть какая-то случайная встреча с человеком, знавшим Ребрика. Да, наконец, мы тоже не боги: может быть, пропустили за границу кого-нибудь, знавшего Ребрика. Он ведь у нас действовал, не изолировался...

Косиор вздохнул:

— Все точно. И... необъяснимо. Будем ждать.

Оставшись наедине с Малых, Косиор не сразу переключился на текущие дела, рассеянно выслушал доклад о состоявшемся пленуме Ивашковского окружкома. Станислав Викентьевич продолжал пристально заниматься этим округом и после того, как был снят прежний первый секретарь и рекомендован только что вернувшийся из Москвы, с учебы, партийный работник, сам уроженец одного из сел на Ивашковщине.

— Станислав Викентьевич, вы помните того парнишку, который прибежал к нам в гостиницу?

— Смутно. Кажется, он жаловался на неправильное выселение кого-то в их селе. Вспоминаю: его исключили из комсомола...

— Вот-вот. Так он сейчас секретарь окружкома комсомола. И хорош оказался...

— Думать нужно. Вот из таких парнишек, не стандартно мыслящих, инициативных, и получаются партийные кадры. Как же, помню. Прибежал ночью, вы еще туда выезжали. Пресекали бурную деятельность какого-то там любителя покомандовать над мужиком...

Косиор, говоря, рассматривал одну за другой положенные перед ним бумаги и вдруг остановился:

— Ничего дополнительного не выяснилось?

— Нет. Прокуратура ведет расследование об аварии.

— Не авария, нет! Катастрофа,— резко сказал Косиор.— И независимо от результатов расследования, вредительство там или нет, установлено, что завал тепляка не случаен. Строили черт те как. И у меня, знаете, какая мысль? Все эти временные подсобные строения возводятся без внимания. Временно, мол, чего стараться? И здесь тоже не подумали о людях... В итоге — четыре человеческие жизни оборваны, потому что головотяпы умудрились класть кровлю на фу-фу! Прошу вас, проследите, как выполняется решение правительственной комиссии о помощи и пенсиях семьям погибших тракторостроевцев, об отправке на курорты раненых... Да, еще вот что: обязательно надо наградить тех, кто поработал на завале, так дружно, оперативно взялись... Мне говорили, по тревоге собрались мгновенно и разобрали завал... Мы этим людям обязаны тем, что спасли раненых...

Без стука почти вбежал секретарь.

— В чем дело, товарищ Дугинец? — удивился Косиор.

— Звонил товарищ Карлсон, Станислав Викентьевич,— он к вам едет с Горожаниным.

— Да они только что ушли от меня.

— Возвращаются!

— А... Хорошо,— бросил Косиор.— Что у вас еще, товарищ Малых?

— Микитенко приглашает на спектакль.

— Что за вещь?

— Это пьеса о современном Донбассе. По-моему, очень сильно. Игра, конечно, выше всяких похвал.

— Я позвоню жене. Если сам не вырвусь, она пойдет. Микитенко — это всегда интересно. И современно,— добавил Косиор.— А что говорят о пьесе?

— Пока еще ничего. Страсти разгорятся позже.

Косиор рассмеялся:

— Разгорятся обязательно. Наши украинские литераторы темпераментны, как испанцы. И это очень хорошо!

Косиор как будто забыл о чекистах, но Евгений, так хорошо его знавший, замечал, как он непроизвольно поглядывает на дверь.

— У меня все, товарищ Косиор,— Малых собрал свои бумаги.

Но в это время Дугинец доложил, что Карлсон и Горожанин прибыли.

— Так просите, просите! И вы останьтесь,— кивнул Косиор Евгению, и тот мгновенно отметил на лицах входящих нескрываемую радость. Она передалась и Косиору, и Евгений, сам про себя уже решивший: «Нашелся!», подумал, что эти немолодые и сдержанные люди в общем-то тоже «темпераментны, как испанцы».

— Ребрик появился,— с ходу объявил Карлсон.

— А где же он пропадал? — уже весело спросил Косиор.

— Не во Львове появился, Станислав Викентьевич, а в Париже.

— Вот оно что! Каким же ветром его туда?..

— Эмигрантским, Станислав Викентьевич, эмигрантским...

— Ну конечно, сухой лист, оторвавшийся от дерева, летит, куда ветер дует... Я имею в виду тамошних украинцев. А как вы узнали? Да вы садитесь, Валерий Михайлович!

— Узнали от наших людей в Париже. Установили, что

в парижских эмигрантских кругах событие: приехал Змиенко. Но само по себе это не сенсация. А сенсация в том, что, как сообщают из кругов Смаль-Стоцкого, Змиенко приводил к нему молодого человека, прибывшего с Советской Украины... Фамилию не удалось установить...

Косиор перебил Карлсона:

— Да ведь это может быть кто-то другой!

— Нет, Станислав Викентьевич, его видели, описали наружность. Это Ребрик, без сомнения!

— Молодец! — вырвалось у Косиора.— И за то, что объявился — молодец! И за то, что там успешно крутится! Что думаете предпринять?

— Послезавтра выезжаю в Париж, товарищ Косиор,— ответил Горожанин.

— Вот как! — секретарь ЦК выглядел несколько удивленным: — Не слишком ли крупная ставка?

— Станислав Викентьевич! Никому не могу поручить такую связь. А я во Франции как рыба в воде.

— Ну-ну, в добрый час, Валерий Михайлович! Сами-то не очень рискуйте! Я, правда, знаю ваше умение преображаться, но напомню ваши собственные слова о возможности нежелательных встреч...

Он пожал Горожанину руку, добавил:

— Буду ждать вас с хорошими новостями.

Когда гости вышли, Косиор, еще сохраняя улыбку, сказал Евгению:

— Все-таки в пекле парень сидит! А то, что Рашкевич ничего не знает, это хорошо, это значит: у него нет сейчас связи, помимо Ребрика... Это очень хорошо!

Станислав Викентьевич замолчал, и Евгений постеснялся спросить то, о чем все время думал: «А что, если на той стороне вдруг... раздумают посылать Ребрика обратно?..»

Через неделю от Горожанина поступило сообщение. Ребрик был принят в Париже Романом Степановичем Смаль-Стоцким, профессором Варшавского университета, сейчас выполняющим обязанности «министра иностранных дел» в сношениях УНР с иностранными государствами. Ребрику эта встреча не принесла ничего нового. Смаль-Стоцкий говорил главным образом о поддержке «национального дела» Францией и Польшей, некоторыми другими европейскими странами. На вопрос Ребрика, насколько реальна обещанная помощь, Смаль-Стоцкий ответил, что интервенция задерживается в связи с небывалым экономическим кризисом, охватившим Европу и Америку. Это причина отсутствия единства между ведущими державами, а в одиночку ни одна из них выступить против СССР не решится. Смаль-Стоцкий добавил, что высоко ценит жертвенность «национально свидомых украинцев» и скорбит о потерях. В деловом отношении Смаль-Стоцкий больше всего интересовался сведениями о Красной Армии, дислокации, вооружении, о военных заводах. Он пояснил, что эти сведения лучше всего зарекомендовали бы их перед поляками, французами и англичанами. Как бы вывести эту задачу на должное место? На это Ребрик ответил, что Рашкевич перед ним таких задач не ставил, но он передаст об интересе к ним.

Смаль-Стоцкий пригласил Ребрика посетить Монпарнасское кладбище и возложить цветы на могилу Петлюры. Ребрик сказал, что глубоко благодарен и очень растроган.

На могиле Петлюры памятника нет, только металлический крест без надписи.

Смаль-Стоцкий произнес речь о том, что завещал Петлюра, и закончил патетически:

— Мы готовы пойти на союз с кем угодно, хоть с дьяволом, для свержения большевиков.

— Безусловно,— прочувствованно ответил Ребрик.

Прочитав сообщение Горожанина, Косиор позвонил Карлсону:

— Это все интересно, полезно, но вам не кажется, что все эти разговоры слишком общие? Доверяют ли они Ребрику вполне?

— Станислав Викентьевич, я рад доложить, что имею сообщение, подкрепляющее это доверие. В Москве живет некий Трищенко, бывший петлюровец, давно порвавший с националистами. Титаренко из Старобельска — помните тот, который получил под видом наследства деньги на подпольную работу,— пытался привлечь Трищенко к делу, но Трищенко уклонился...

— Я помню эту историю, Карл Мартынович.

— По-видимому, Титаренко ничего не сказал о Трищенко ни Рашкевичу, ни кому-либо другому. Да это и понятно: не хотелось признаваться в своей неудаче. И вероятно, Трищенко где-то там, в националистических кругах, продолжают числить в активе. Во всяком случае, к нему явился человек с письмом и попросил помочь выяснить некоторые моменты...

— Человек этот прибыл с той стороны?

— Нет, он живет в Москве, но имеет связь с той стороной. И в числе многих вопросов был и такой: работает ли в Вукоопспилке Сергей Платонович Рашкевич, в Харькове ли он сейчас? На это Трищенко ответил утвердительно. Ясно, что это проверка Ребрика.

— А почему через Москву?

— Понятно почему, Станислав Викентьевич. Потому, что если идет игра, то она затеяна в Харькове вокруг Рашкевича, таков ход их мыслей, поэтому они проверяют издалека.

Косиор задумчиво проговорил:

— Держите меня в курсе дела.

11

Арест убийц Письменного не очень обеспокоил отца Григория. С чего бы ему так уж беспокоиться? Непосредственного убийцу он и в глаза не видывал. А Кондрат Хоменко, хоть и приходил, так ведь к духовному пастырю может прийти каждый, дверь дома его открыта для праведника и для грешника. И кстати, ничего грешного за этим угрюмым мужиком и не числилось. Разговор у них был весьма туманный и уклончивый, из одних намеков и цитат из священного писания. Принял отец Григорий этого Кондрата нескладного исключительно по просьбе Рашкевича — «поднять дух»... Поднимать же ничего не пришлось: мужик оказался сам по себе на высоте, помоги ему царь небесный! Впрочем, вряд ли поможет.

Отец Григорий отнесся спокойно и к случившемуся на кладбище при раскопке могилы. Откуда он мог знать, что там такое? Господь бог в таких случаях не сигнализирует, нет! И никто не может поставить в вину священнику, что невпопад воззвал: он же хотел поднять своих прихожан против богохульников, святое дело. А что в могиле в качестве приложения к покойнице оказался хлеб — кто мог подумать!

Явление отца Григория на кладбище и даже набат, казалось, так кстати подготовленный,— все это люди позабыли, когда открылось более важное: хлеб, сгноенный в могиле.

Первый чувствительный удар был нанесен отцу Григорию известием об аресте Титаренко. Но и тут Григорий быстро успокоился мыслью, что это связано с братом Титаренко за границей: история с мнимым наследством легко могла просочиться...

Столь незыблем был на своем пьедестале Рашкевич, за много лет так привык Григорий к тому, что стоит во главе их дела не подвластный ни времени, ни обстоятельствам,

ни даже ГПУ Сергей Рашкевич, что Григорий не позволил себе никаких опасений за его судьбу. Почему участь какого-то «бокового» человека — Титаренко может задеть его?

Но на всякий случай Григорий написал пространное письмо сестре Степаниде, обыкновенное письмо семейного характера, в котором были, между прочим, вопросы об общих знакомых, и о «Сереже» также. Можно было бы думать, случись что, Степанида и сама догадалась бы сообщить. Но Григорий хорошо знал характер сестры: была трусовата и в подобных случаях предпочитала отмалчиваться.

На письмо ответа не последовало. Григорий обеспокоился, но опять-таки не очень: кривая вывозила его и не из таких передряг. Да пока что ничего особенного не произошло. Жаль, конечно, Титаренко, ему не выкрутиться. Но к духовной особе, отцу Григорию, подобраться не так просто: власть осторожна в отношениях с церковью. Да и за границей, в случае чего, сразу поднимется вой: «Гонения на церковь!»

А время делало свое успокоительное дело. И уже прошло столько времени после событий в Терновке. Значит, «товарищи» сняли вершки, а до корешков им не добраться!

Поэтому Григорий крепко спал и в эту ночь, когда бешеный лай спущенной с цепи собаки заставил его нехотя подняться с постели. Пока он накинул халат и раздвинул занавеси окна, экономка Домнушка уже выскочила во двор. Распахнув окно, Григорий услышал, как она своим пронзительным голосом — удивительно неблагостная особа! — кричала: «Кто там? Чего надо?»

Ответ он не слышал, но ощущение неблагополучия, нет, больше — катастрофы охватило его. Темный предзимний сад с мятущимися под ветром голыми ветками деревьев, едкая сырость, хлынувшая в окно и, показалось, в один миг растопившая в себе тепло и уют сонной комнаты, бес-

форменная фигура Домны в белой развевающейся шали и срывающийся крик ее — все как видение конца.

Он взял себя в руки: окно закрыл, запахнул на себе теплый халат. Ночные туфли скинул, надел носки и ботинки. Привычные движения успокоили его. Когда он спустился в сад, Домна слезливо зашептала:

— Ох, батюшка, женщина там какая-то. Вас спрашивает. Только голос мужской.

— Откуда ж ты знаешь, что женщина, дура, прости господи? Посади собаку на цепь.

— Я в щелку подсмотрела. Женщина и есть.

Григорий отомкнул калитку. Непомерно высокая женская фигура в черном вдвинулась в сад.

— Спаси господи, помилуй нас! Это я, отец Григорий, сестра Агафья из Заречья.

«Всё!» — отстучало сердце Григория. Еще теплилась в нем надежда, что пришло не самое страшное. Но это явление среди ночи доверенной монахини сестры не могло означать ничего другого, кроме...

— Ступай в дом, собери на стол,— прикрикнул Григорий на Домну, все еще мотающуюся по саду, как толстое неуклюжее привидение в белой развевающейся пелене.

Сестра Агафья, мужеподобная старуха с иссеченным морщинами красным лицом, похожим на недожаренную котлету, пробасила обычные слова насчет благословения.

Ее каменное спокойствие передалось и Григорию.

— Здорова ли матушка Степанида? — спросил он, словно бы здоровье сестры — единственное, что его сейчас волновало.

— Здорова, здорова, батюшка. Велела дойти до тебя незаметно для глаз людских. Передать на словах: беда стряслась. Сергея Платоновича взяли...

Черная ночь ворвалась в дом, затопила его. С головой накрыла Григория, словно епитрахилью. Дышать стало нечем.

Ему показалось, что это длилось долго. Все же он вынырнул. Только тот, кто вынырнул, был уже не отцом Григорием, духовным пастырем на Старобельщине, а полковником Кременецким.

И все, что теперь решается и предпринимается, так это уже решает и предпринимает полковник Кременецкий, в десяти водах мытый-перемытый, всеми ветрами обдутый. И свою жизнь задешево не отдающий.

— Когда? — спросил он глухо.

— На той неделе в четверг.

«Пять дней назад. Уже легче. Раз до сих пор не пришли и за мной, значит, я в стороне. Пока в стороне. Пока. Дожидаться не стану».

— Не задерживайтесь, сестра Агафья. До рассвета вам надо уйти отсюда. Матушке Степаниде передайте: собираюсь навестить ее в ближайшее время. Благослови вас бог и — ходу отсюда!

Агафья припала к руке пастыря, что, отметил он мельком, вышло не очень благолепно, поскольку он все еще был в халате. Полковнику Кременецкому не изменяло чувство юмора и в худшие моменты.

Когда он вернулся в спальню, все уже было им решено. Не следовало терять ни минуты. Обстановка была ему так ясна, словно он сам сидел в ГПУ и вел дело Рашкевича. Раз священника Кременецкого не взяли сразу, значит, ничего против него пока нет. Прямая угроза таилась в другом: Сергей силен, пока все благополучно. При обстоятельствах неблагоприятных раскисает. И не исключено, что, спасая себя... Если Титаренко — мужик кремень, и к тому же ничего особенного не знал... Сергей знал слишком много. Явку для посланцев с той стороны в доме Григория установили вместе, вместе и принимали людей. И укрывали, и выводили из-под носа у ГПУ...

Но было, было еще нечто, неизвестное даже Рашкевичу, сохраненное Григорием для себя, на самый крайний случай. И вот пришел этот крайний случай.

Все, что он сейчас делал, делалось быстро, четко: действовал не священник с его плавными, округлыми движениями, а полковник Кременецкий, из которого на ходу искры сыпались. И в этом, при всей драматичности положения, была для него отрада освобожденности, возвращения к самому себе. И к тому, для чего он был предназначен: активному и жестокому действию. Оно включало в себя многолетнюю выучку, опыт и инстинкт, подобный инстинкту преследуемого зверя.

Он подождал, пока Агафья оставила дом, употребив эти часы на обдумывание плана. План сложился давно, но в общих чертах, сейчас он нанес на воображаемую карту даже самые мелкие пункты.

Подобно тому как всякие акционерные общества включают в свой устав порядок самоликвидации, так и Кременецкий с самого начала предусматривал возможный крах. Однако многое пришлось пересмотреть. Например, Домна. Ее нельзя было просто устранить: она должна была «играть» в задуманном финале.

Поэтому, проводив взглядом исчезнувшую за воротами Агафью, он вызвал экономку и объяснил ей, что выезжает к сестре на неопределенное время. Оставляет ей деньги на хозяйство — так бывало уже. Домна привыкла обходиться без лишних вопросов. Спросила только:

— Собрать в дорогу, батюшка?

— Не требуется. Не на год уезжаю. Ступай на рынок, как всегда.

Теперь, когда дом опустел, Григорий сходил в сарай, взял топор, брошенный около поленницы, и принес в спальню. Поднял ковер, нашел отмеченную незаметным для постороннего глаза крестом половицу. Лезвием топора поддел ее. Она поддалась легко, плотно уложенная, но не прибитая, «в мобильном состоянии». Тоже на крайний случай. Оружие лежало в углублении, спеленатое промасленной тряпкой, так органично, естественно, как плод в кожуре.

Он высвободил револьвер, и холод металла чувствительно и приятно стал отходить от прикосновения его руки. Он вынул жестяную коробку с патронами, уложил на место половицу и закрыл ковром.

Револьвер лежал на столе, знакомый и верный как старый друг. Кременецкий покрутил барабан, он шел легко, обильная смазка даже не загустела. Он оторвал лоскут от белой тряпки, вдел в шомпол и тщательно удалил ружейное масло из ствола, протер гнезда барабана и снова покрутил его: не сильный, но резкий звук отозвался в нем давним воспоминанием. Кременецкий не любил пистолетов. Этот работал лучше, вернее. А может быть, он просто привык...

Оружие возвышает человека. Оно дает ему свободу. Только оно. Свободу действия. На крайний случай — свободу самоустранения.

С той минуты, как он ощутил тяжесть револьвера на ладони, он почувствовал облегчение. Он носил рясу слишком долго. А вместе с ней — все, что составляло облик отца Григория. Что бы ни случилось далее, то был пройденный этап, и то, что он был пройден, слава богу!

До рынка далеко. Он не торопился. Налил из чайника, оставленного Домной на плите, горячей воды в мисочку, достал бритвенный прибор. Захватив бороду в горсть и мельком отметив, что волос стал мягче и реже, сначала обрезал ножницами бороду. Бритье, однако, шло туго. Он порезался в нескольких местах, аккуратно прижал кровоостанавливающим камешком.

«Сразу помолодею лет на двадцать»,— подумал он, но из зеркала глянуло неожиданно старое, с лиловыми мешочками под глазами, с морщинами-рытвинами, голое лицо. И впрямь чуднó: ему помстилось, посмотрит из зеркала тот, молодой, лихой Гришка Кременецкий! Как будто под бородой сохранилось то его лицо.

Чепуха! Главное в другом — не бросаться в глаза. Из

потаенного стенного шкафа он достал одежду — там было много чего, люди приходили разные. Одного обряжали франтом, в модный коверкотовый костюм. Другого — в потертую робу вокзального носильщика.

Для себя сейчас выбрал стандартный костюм с темной рубашкой. Дешевое бобриковое пальто, кепку «из косячков» с пуговкой посредине. Мелкий советский служащий в командировке...

Облачаясь, приговаривал мысленно: «Хорошо, так хорошо будет».

Когда в последний раз оглядел себя в зеркало, вовсе приободрился. Еще силен и строен этот чужой немного высокий мужчина с бледным — всего лишь от пудры! — удлиненным лицом.

Револьвер в кармане брюк. Патроны — россыпью — в другом. В руках портфель, потертый, неказистый. В портфеле — на всякий случай —чепуховые бумажонки, канцелярская переписка. А деньги, советские и валюта, прочно скрыты под стелькой грубого ботинка. Как удивительно, что, имея все на крайний случай, он меньше всего об этом случае думал. «Счастливый характер!» — с завистливым вздохом говорила о нем сестра Стеша. Да, он умел жить настоящим, минутным, наслаждаться тем, что давала минута, не угрызаться мыслями о будущем, о конце, о расплате. Но когда крутой момент подошел, он не застал Григория Кременецкого врасплох.

Без сожаления бросил он последний взгляд на тихую обитель, сослужившую ему добрую службу. Мысль о том, что он никогда сюда не вернется, не опечалила его. Он подумал, что не оставляет здесь никого, кто бы помнил о нем. Паства? Овцам все равно, кто гонит их на пастбище. Домна? Да, Домна... Он вернулся и прибавил несколько кредиток к оставленным ей деньгам.

Возвращение! Что оно произойдет, в этом он не сомневался. Но не в эти места и не в жалком поповском обличье.

Сколько раз уже возвращался Григорий Кременецкий на земли Украины победителем! Он вернется им опять. Мысль об этом укрепила его. Он запер дом и забросил ключ далеко в кусты. Как знак того, что не ступит сюда нога его. Другие пути ждали его в необозримом будущем.

Но было еще обозримое время, решающее все. Ближайший его отрезок. И хотя все, до деталей, обдумалось и распределилось, еще стояли нерешенные вопросы: где вернее сойти с поезда — в Харькове или в дачной местности, где у Пятаковых дача. Отсюда послать в город и дать знать Пятакову. Он остановился на последнем. Сейчас глубокая осень. На даче — один только сторож. Он-то ему и нужен.

Как точно рассчитал Григорий, поезд проходил станцию ночью не останавливаясь. Скорый поезд, пролетавший мимо дачных поселков с заколоченными на зиму окнами домов, сонных станционных павильонов, унылых платформ, с которых осенние дожди смыли даже воспоминания о былом оживлении.

Григорий спрыгнул на ходу, приятно ощутив, как слушается его не связанное рясой тело. До дачного поселка можно было дойти по дороге и лесом. Он выбрал второе. Не из каких-либо опасений, а потому, что чувствовал потребность действия: пробираться по сырой тропе, раздвигая ветки, шагать по мягкому настилу опавших листьев. Какие-то воспоминания рождались от жестких прикосновений еловых лап, от запаха прели и всегда непонятных лесных шорохов. Уже было все раньше: бегство, исходы, исчезновения, и была та же уверенность: еще вернусь.

Поселок спал, обиталище сторожей и оставленных на дачах, вместе со старой ненужной утварью, старух. Глухое место. Удобное место. Прибереженное на крайний случай. Дом Пятаковых, выстроенный на «нетрудовые доходы», не выставлял напоказ свою дорогостоящую начинку. Не глядел на улицу своим итальянским окном и затейливой верандой. Скрывался в глубине сада. К улице же примы-

кала сторожка, вполне добротная изба, где зимой и летом жил сторож — инвалид гражданской войны. Нестарый еще человек с деревяшкой вместо ноги.

Григорий постучал условным стуком. Дважды и еще раз через секунду. Ему открыли без промедления и без вопросов.

— Не ожидал, Адам?

— Ожидал. Проходи.

Адам запер дверь. Они обнялись, минуту не думая ни о чем, кроме одного: «Свиделись все-таки!» Эти слова имели особый смысл, нерадостный, неприятный: они могли свидеться только в случае катастрофы.

— Знаешь подробности?

— Все знаю, потерпи.

Адам, двигаясь привычно проворно, поставил на стол бутылку водки. Григорий отметил: непочатая, берег. Холостяцкая закуска. Это было то, что надо для подобного случая.

Подняв стакан, Адам произнес значительно и с чувством:

— Чтобы тебе выплыть!

— Выплыву.— Григорий держался, как опытный пловец на волне. Но разве другие не были опытными пловцами, не умели лечь на волну?

— Слушай, как же это Сергей? Как получилось?

— Предатели, падло! — коротко, зло уронил Адам. Лицо его оставалось спокойным. «Не изменился вовсе,— подумал Григорий.— Словно законсервировался здесь за эти годы».

Адам снова разлил водку. Крепкая рука его налила стаканы точно до половины. На короткий миг Григорий пожалел его: «Будет сидеть здесь в норе, словно крот, до самой войны. А когда это еще...».

Но тут же оборвал себя: когда затрубит труба, тогда и он, Григорий, вскочит в седло, и будут они равны: уце-

левший Григорий Кременецкий и сохранивший себя до поры Адам Канивец, самый засекреченный, самый терпеливый, самый нужный человек Змиенко. Не известный ни Рашкевичу, ни деятелям СВУ, ни Пятакову, для которого он — просто сторож. Только ему, Григорию, известный в своей тайной сущности.

— Как же это вышло? — повторил Григорий.— Рухнул ведь не кто-нибудь...

Он слушал с каким-то новым, неожиданным для него самого чувством. Как будто Рашкевич давным-давно выбыл из игры. Или нет, не так: будто та игра давно закончилась позорным проигрышем, а распечатана новая колода, началась новая игра.

И потому, что так все сложилось в представлении Григория, он слушал спокойно, как что-то его не касающееся.

Рашкевич не чуял конца, не предугадывал. Слишком долго вживался в роль и вжился так, что потерял тень...

— Знаешь, Григорий, как это бывает: каждому из нас надо следить за своей тенью, не терять ее, смотреть — тут ли она? И одна ли бродит? Не две ли тени отбрасываешь ты?

Адам поглядел вбок, и Григорий невольно полуобернулся. На беленой стене четко рисовались силуэты двух сближенных голов.

«Черт те что. Поближе бы к делу. А то совсем одичал тут один»,— подумал Григорий. Но не прерывал Адама.

За Рашкевичем явились на службу. Одновременно шел обыск на квартире. Когда вошли в приемную, секретарша что-то уловила... Может быть, что-нибудь у вошедших было не так, хоть и в штатском, хоть и поздоровались обычно и неторопливо сказали: «К Сергею Платоновичу. Он нас ждет». Но она догадалась. Не зная, по сути дела, всего до конца о своем начальнике — догадалась. И рванулась в кабинет. Те вскочили вслед за ней, но был какой-то момент, когда Рашкевич увидел лицо женщины — и все понял...

— Оружие у него под рукой было. Конечно, не в нее он метил, но секретарша бросилась к нему — ее наповал.

Адам тоже говорил как о чем-то решенном и безразличном для них, живущих. Рашкевич уже был все равно что мертв. И Григорий догадался, что так и должно быть. Начинать новую игру им. А за того, кто выбыл,— поднять стаканы. Не чокаясь, как на поминках.

Они проговорили до рассвета. С первым дачным поездом Адам отправился к Пятакову.

Казалось бы, что такое Пятаков? Один из «почтовых ящиков», оборотистый малый, обросший полезными связями, но — без размаха, без перспективы. Однако связи наладил решающие. Обеспечивающие самое важное, в данном случае — отход. Отход в полном порядке, без паники и почти без риска. Великое дело! Иногда не менее важное, чем наступление. И человек Пятакова в Одесском порту, казалось бы, вовсе не подходящий — веселый малый, с цыгаркой, прилепившейся в уголку белозубого рта, дело знал.

В трюме грузового парохода, совершающего рейсы Одесса — Константинополь — Пирей, стояла духота — до одури! Почти осязаем был спертый воздух, пропитанный запахом гнилых фруктов и нефти, ржавчины и мокрой пеньки.

«Так это только пока тронемся»,— успокаивал себя Григорий. Он лежал за упакованными в рогожу ящиками. Где-то поблизости скреблась, как мощный флюгер на ветру, якорная цепь. Снаружи глухо, отдаленно слышались крики команды, гудки, потом ему показалось, что он слышит, как бьют склянки.

Обессилевший от духоты и смрада, он не то задремал, не то потерял сознание.

И проснулся от холода. Откуда-то сильно, освежающе дуло соленым морским ветром. «У-тёк, у-тёк...» — в такт говорили работающие машины. Онемевшей рукой Григорий перекрестился...

Часть третья

1

В пути всегда хорошо думалось. В поездах. Разными они были. Поезд его юности — «рабочий» или «дача» — назывался еще «Максимом Горьким» или, фамильярно-дружески,— «Максимкой». Название это родилось в народе, накрепко связанное с представлением о том, что Горький передвигался по Руси и познавал ее именно в таких поездах, битком набитых рабочим людом.

Недолгий путь, знакомые лица, знакомые разговоры. Они продолжали рабочий день или предваряли его. И продолжали ту скрытую, тайную сторону жизни, которая шла не рядом с обычной, но как бы пронизывала ее всю. И была важнее обычной. Освещала ее. Повседневность была сумрачной, монотонной. Он не мог бы жить только ею.

Слитный гомон вагона все же распадался на отдельные голоса, и брошенное слово не тонуло в нем, если это было нужное слово. Если оно могло что-то объяснить или подсказать. Он рано научился находить такие слова.

Много позже были другие поезда. Вагон второго класса. «Приличная публика». Разговор осторожный, словно бы подкрадывающийся к главной теме. А главная — это: «Так что же все-таки будет с большевиками? Доколе?» — «Да что вы, батенька, сметут! И мокрого места не останется. Европа же!» Это поезда его подполья.

Последние же годы, уже многие, для него всегда — подготовка к работе, обдумывание ее. И сама работа. В «пра-

вительственном» вагоне повторялась обстановка служебного кабинета и решались в общем те же вопросы. Но, естественно, мысли его устремлялись к местам, к которым приближал его ровный бег курьерского поезда. А оттого, что с местами этими связывались давние воспоминания, мысли обретали особый характер: личное причудливо окрашивало рассуждения общие. Государственные.

И наверное, это было закономерно. Теперь он был обязан каждый вопрос решать в связи с основными проблемами, выдвигавшимися жизнью перед советским народом. Тогда, много лет назад, он действовал в более или менее узком кругу, лишенный возможности и, конечно, и умения видеть целое. Потом малый его опыт влился в обширный поток, раздвинулись горизонты.

Удивительными были эти прожитые годы, годы первой пятилетки. Полная ликвидация безработицы. Ликвидация детской беспризорности. Ликвидация неграмотности. Эти фразы казались выбитыми золотыми буквами по граниту истории.

Октябрьский день 1931 года, пуск Харьковского тракторного. Трогательная сцена: на первом тракторе, вышедшем из заводских ворот, выехал «всеукраинский староста» Григорий Иванович Петровский. Нельзя было удачнее символизировать это торжество: старейшина Украины, ее верный сын...

И символично было то, что в этот же день праздновали пуск гиганта автомобилестроения — московского завода «АМО»...

Косиор стоял с потухшей трубкой в руке у широкого окна, за которым, сейчас темная и неузнаваемая, отбегала назад донецкая степь, а воображение зажигало в ее дали огни и пламя и пробуждало ночные степные звуки: сухой треск цикад, шелест коростелей.

Жизнь была так богата событиями, что даже значительные ее вехи казались отодвинутыми в далекое прош-

лое. И он выхватывал из них те, что ближе всего подходили к настоящему по своей сути, и с радостью находил в них счастливую догадку, прозрение сегодняшнего. Да, еще в 1930-м он выступал на пленуме райкома в Кадиевке, и даже сейчас он ощутил тот привкус горечи, которым были полны его слова. Он ведь говорил тогда не просто: «надо повышать темпы добычи», а доказывал, что это возможно. Как тяжело было ему произнести слова о том, что план встречает если не отпор, то осуждение, иногда открытое, иногда скрытое. И какая-то едва приметная словно бы судорога прошла по залу, когда он сказал эти слова. И докладчик побледнел, когда им, тогда уже секретарем ЦК, было сказано о гнилом настроении, о срыве программы. Да, он сказал жесткие слова, которые теперь вспоминал с удовлетворением, потому что они были справедливы. А о чем тогда шла речь? О выдаче 560 тысяч тонн угля вместо 460 тысяч. Он повторял тогда: «Хорошо организовать работу», он нажимал на это. Так разве не именно хорошо организованная работа раздвинула горизонты и привела к сегодняшнему победительному этапу, к рекорду Стаханова? И сделала его знаменем?

А ведь тогда, в Кадиевке, он не видел точно того, что произойдет потом. Была только его догадка. Но догадка не случайная, а основанная на трезвом анализе, на подсчете, на учете не только производственных факторов, но и социальных, и психологических. Это было социальное провидение — он только для себя так определил, для себя одного. Но это дало ему огромное удовлетворение, удовлетворение от того, что пять лет назад он учуял, подсмотрел еще дремлющие силы Донбасса и предсказал его взлет. Он был горд этим.

Разговор тогда шел о лучших, передовых шахтах: «Ильич», «Голубовка», «Двадцать вторая»... Но даже они не выполняли план. Почему? Как могло это случиться?

И снова с гордостью перед самим собой он вспомнил,

что ухватил тогда главное звено, говоря об ошибках руководителей производства. Он разбивал их наивно-упрощенную систему мышления: поставили дополнительный конвейер, мотор и тому подобное — вот и повысится выработка! И он тогда сказал отчетливо и веско, что, конечно, механизация сможет вывести Донбасс из тупика. Но речь шла о ломке старого не только в технике, но и в сознании, об овладении рабочим классом новыми механизмами. Он тогда всеми силами внедрял мысль о том, что только стремление и воля рабочего класса вдохнет жизнь в машины. На пленуме райкома его слова были обращены к коммунистам, но через них он говорил со всем донецким рабочим классом. И вероятно, его речь имела такой живой отзвук потому, что за его словами стояли факты. Он излазил тогда самые «неподатливые» шахты. И насмотрелся всего. И обо всем сказал. Главное тогда было: смести пыль равнодушия, золу, пепел, которым заносило Донбасс. Дать свободу огню почина, энтузиазма, кровной заинтересованности. Он сказал бы: классовой заинтересованности.

Это было сделано. И почему-то казалось, что именно тогда, в Кадиевке, удалось положить начало бурному росту, перешедшему в новое качество — переворот в угольной промышленности. Неправда, что не резолюциями подымается производительность труда! Неправда! Ими — тоже. Но только тогда, когда в резолюциях точно выражена человеческая воля к действию. В той резолюции — он помнил это, потому что ему были особенно дороги эти слова,— говорилось: «Нужно бить в набат, чтобы поднять массы».

И вот они поднялись.

В этой волне была одна особая для него струя. Струя давних воспоминаний, родственности. Теперь, когда Донбасс был у всех на устах, когда это слово чаще других мелькало на газетных листах, донецкая земля представала перед ним не только такой, какой она виделась сейчас,— исчерченная сетью современных рудников и шахт,

изгорбатившаяся терриконами, ощетинившаяся копрами и трубами. Донецкая земля, связанная с трудом сотен тысяч квалифицированных рабочих и инженеров. Донбасс — Всесоюзная кочегарка, дающая жизнь, тепло и движение социалистической промышленности. Держава.

Внутри этого представления всегда жило у Косиора воспоминание. Оно не входило в противоречие с тем, что несли газеты и его собственные впечатления,— он чаще, чем где бы то ни было, бывал в Донбассе. Воспоминание не было само по себе. Оно прикладывалось к сегодняшнему дню Донбасса. И то, что самое мощное движение современности — стахановское — возникло именно здесь, в этом он видел закономерность. И он выводил ее с давних времен, которые так хорошо знал и так бережно хранил в памяти. Сейчас наедине с собой — он не бравировал этим в глазах других, но втайне был доволен, когда другие об этом говорили,— он перебирал в памяти свои встречи с людьми Всесоюзной кочегарки. Недавно он перечитывал стенограммы своих выступлений в Кадиевке, Луганске, Макеевке. Но не под стенограмму же велись беседы с мастерами угля! С мастерами партийной работы! Он был доволен тем, что нащупал главный нерв, говоря об особом отношении к труду у современного рабочего, о новой психологии, об условиях труда именно социалистического, в обстановке хозяйского отношения к работе.

У него было точное ощущение предшественников, от которых это поколение унаследовало устремленность, преломленную сегодня в мастерстве рабочего.

Нет, нисколько внешне не походил Алексей Стаханов, с его мальчишеской улыбкой, с его уверенностью, рожденной новым уровнем техники, нисколько не был он похож на того пытливого, но все же внутренне зажатого тисками каторжных условий рабочего, облик которого сохранил в памяти Косиор. Но Стаханов был наследником его. В нем определились лучшие черты людей, с которыми Косиор

начинал свою трудовую жизнь И поэтому Стаханов был для него лично дорог и родствен.

Долгие годы всю энергию своей души он направлял на то, чтобы заронить в людях семена чудесного беспокойства, горячего интереса к делу. Для этого надо было нарисовать перспективу не только желанную, но и реальную. И теперь пришло время жатвы.

Вернувшись из Донбасса в столицу, он продолжал пристально вглядываться в ход дел и каждый росток нового пестовал и холил. И как радовался, когда добыча пошла в рост! И он, преисполненный уважения и восхищения перед организованной энергией этой доблестной общности: шахтерства, говорил о том, что решающую роль в достижениях играет правильная расстановка сил и максимальное использование механизмов.

Ощущение счастья охватывало его всякий раз, когда он мог, оглянувшись назад, увидеть придирчивым глазом правильность пути. Долго он жил интересами села. Это была трудная пора. Война шла в каждой деревне, за каждым тыном разыгрывалась драма вековечного спора личной собственности и общего блага. И уже в 1931-м совхозы и колхозы дали половину товарного зерна страны. Этот итог был решающим и для Донбасса...

В равномерном стуке колес что-то изменилось, запаузилось, и в открытое окно вместе с ветром вошел знакомый запах мокрого угля — то ли с тендера, то ли из темной дали, в которой уже прорезались огни, вспышки и светы работающего Донбасса. И запах, и огни были так неотделимы от когда-то прожитых здесь лет, что они, эти годы, стремительно приблизились, словно на расстояние вытянутой руки. Так, что, казалось, можно ощутить шершавое прикосновение плотной и жесткой ткани шахтерской куртки, которую он тогда носил. Она была на нем, он просто не успел ее снять в тот вечер, промозглый, осенний вечер, весь пропитанный этим самым запахом мокрого

угля и еще — совсем слабо — вянущих в палисадниках осенних цветов... Может быть, это были настурции, огненные колокольчики которых вились повсюду в шахтерских убогих садиках. И совсем не пахли. Только поздней осенью, как бы спохватившись, источали они тонкий аромат, как будто сохраненный специально до этой поры. В тот вечер — это, собственно, были еще сумерки,— когда он отворил калитку, он сразу даже не увидел эти настурции, но вдохнул их запах.

Он так запомнил все мелочи потому, что в тот вечер в доме, где жил старый рабочий Сулинского завода, юноша Косиор впервые услышал четыре слова, которые потом как бы укрупнились и стали знаменем, под которым он шел так долго и неуклонно.

А тогда они были ключом, который повернулся в замке и открыл еще непонятный, еще неясный мир. Слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» произнес партийный пропагандист. Он прочел их, а потом повторил, оторвавшись от страницы и задумчиво глядя перед собой.

Юноша Косиор в этот вечер впервые ощутил себя пролетарием, частицей огромного и могучего единства: годами оно было задавлено, но уже расправляло плечи.

Эта первая дорога познания пролегла именно по Донбассу. По земле горняков и металлургов, где все было крупно, значительно, решающе: и люди, и дела их, и чувства.

Он был еще юношей, когда пошел бушевать по Донбассу 1905-й год. Но взрослел быстро, как все, кто в ту пору не только варил сталь или добывал уголь, но читал запрещенные книжки.

В доменном цехе он работал смазчиком у воздуходувной машины и видел, как убивают и калечат людей железные зубы Молоха. Убивались и калечились пролетарии. Их могло спасти только объединение. Он уже знал бездушье и алчность хозяев. Против них можно было выступить только объединившись.

Постигнуть это значило избрать путь. Он избрал его, чтобы никогда потом с него не сходить.

Но и потом, далеко от Донбасса, он возвращался к нему в мыслях. Тоскуя по Донецкому краю, он тосковал и по своей юности. А время требовало быстрого созревания, накопления опыта и мудрости. Шли бурные годы — 1913-й, 1914-й, уже клубились ядовитые пары над Европой, уже пахло порохом. И всего важнее было готовить противодействие шовинизму, насаждаемому всей мощью полицейского государства.

Он тогда много читал, овладевал теорией и сам вел пропаганду. Мысль его проверялась, утверждалась и крепла в общении с товарищами в подпольных кружках. Но к ленинскому социальному предвиденью, во всей его глубине, он подошел позже, в ссылке.

Ему почему-то казалось, что именно обстановка, а сюда входило все: большая холодная вода, омывающая суровый таежный берег, протяженные зимние вечера и малый круг дощатого стола, освещенный стеариновой свечой... И тишина — какая тишина стояла на том ленском берегу неподалеку от Качуги! Да, казалось, все это усиливало, крепче врубало в сознание генеральные мысли о мире, о будущем. Как-то сочеталась мощь тех идей, что жадно черпал он из доходивших до них ленинских строк, с мощью природы, окружавшей его. И были минуты духовного подъема — вероятно, это и было счастьем,— когда он, накинув полушубок, выбегал на занесенную снегом улицу поселка, глубоко дыша морозным воздухом под яркими сибирскими звездами. И ощущал себя сильным и свободным, такую видел перед собой даль!.. Словно не был ссыльным, заточенным в ледяную тюрьму без окон и дверей, отъединенный от родных мест, от центров великими расстояниями, холодами и — стражей! Да, к тому же еще стражей!

Но чувство свободы и силы происходило от понимания неотвратимости хода истории, который не могли изменить

даже те всесильные, что бросили сюда горсточку людей, разгадавших этот ход.

Он пришел в революцию стихийно, по классовому чутью, как сын своего класса. Это была первая ступень к счастью. Потому что великое счастье — найти свое место в борьбе. Но там, в ссылке, он уже поднялся выше, и счастьем было понимание неизбежности победы идеи, которой он служил. До сих пор он шел как бы под звездой, которая ему светила, но была недосягаемой, и рыцарственность избранной им судьбы заключалась в том, что цель могла быть достигнута где-то в необозримой дали. На этой же ступени путь был освещен ярким светом теории. Он был рассчитан и доказан. Детерминирован.

Все изменилось от этого. Нет, разумеется, он и до ссылки уже изучал «Капитал», который давался ему не сразу и не легко, но он был упорен и доходил до глубокого его смысла с упоением новообращенного.

И все же именно здесь, на ленском берегу, он постиг главное: неизбежность краха капитализма. Ее открыли ему работы Ленина.

Позже, уже в 1917-м, когда появился труд Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» и в предисловии Владимир Ильич объяснял, что был ранее вынужден строжайше ограничивать себя теоретическим — особенно экономическим — анализом, прибегать к эзоповскому языку,— в этом не было для Косиора новости: он и сам мысленно досказывал многое. И потому, что он научился читать написанные эзоповским языком строки, открывать между ними, за ними авторскую мысль,—она была ему еще дороже, как добытая ценою собственных усилий, собственного проникновения в истину.

Ему казалось даже, что задолго до того, как работы Ленина попали в его руки, в нем жило уже ощущение перемен, предчувствие грядущей социальной революции и это ощущение превратилось в уверенность не только благо-

даря доводам, почерпнутым из ленинских трудов, но и в результате каких-то собственных умственных построений. Может быть, даже не только умственных... Да, вернее всего: и чувства присутствовали здесь. Чувства, накопленные годами труда в этом самом капиталистическом мире, и это были чувства ненависти и любви. Ненависти когда-то стихийной, неоформившейся, но уже направленной, направленной на близлежащее: на мастера-жмота, хозяйского холуя, осквернителя девушек, притеснителя рабочих; на полицейского, на обиралу табельщика. И где-то повыше, в недосягаемости — ненавистный хозяин. И еще выше — царский престол.

Любовь родилась позже ненависти, любовь к таким же, как он, к братьям по классу. Только тогда, в начале жизни он просто чувствовал кровную связь с теми, среди которых шел, вдыхая запах промасленных курток и махорки, ранним утром и ввечеру и с которыми делил заботы и редкие радости.

Потом в эту стихию вошло сознание. Он позже прочел у Ленина о том, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. Да, из книг и общения с образованными марксистами пришло осознанное отношение к действительности.

...Но это было в самом начале, а сейчас он хотел остановиться на определенном моменте. Да, на том открытии, как бы прозрении, связанном с работами Ленина. Если бы кратко, совсем кратко сформулировать вынесенное им из долгих ночных часов,— только ночью он мог читать, потому что днем надо было добывать себе пропитание, на ссыльного отпускалось казной на все про все тринадцать копеек в сутки... Кратко ответить он мог бы: ясное видение обреченности мира, который он ненавидел, и прочная уверенность в победе класса, в рядах которого он так долго и трудно боролся. Собственно, в этом заключался смысл

его жизни. А жизнь — это было: и любовь к женщине, письма Елизаветы всегда обдавали его теплой волной истинного чувства. И дружба — рядом были друзья: Ломов, Антонов-Саратовский, настоящие люди, с ними можно было делить суровость ссыльного быта. И еще: чудесное общение с природой,— рыбалки на утренней зорьке, охота не как забава или спорт, а как добывание средств пропитания. Но все окрашивалось главным: пониманием и уверенностью.

Далеко отсюда шла война, опасная не только потому, что несла физическую смерть миллионам. Она несла черную измену многих, кто до сих пор шел в боевых порядках революции. И об этом тоже было сказано у Ленина. Он писал, что кризис, созданный великой войной, сорвал покровы, отмел условности, вскрыл нарыв, давно уже назревший, и показал оппортунизм в его истинной роли, как союзника буржуазии... Они перешли на сторону неприятеля, их надо назвать и ославить изменниками...

И это освобождало от сожалений, от чувства потери, потому что те, кто изменил, значит, никогда не были настоящими революционерами, значит, таили в себе зародыши предательства. И хотя он и раньше так думал, сейчас он уже так и чувствовал.

И было еще такое разящее и непреклонное, словно лезвие ножа сверкнуло и отрезало раз навсегда,— это слова об оппортунизме, о том, что полное организационное отделение, полный разрыв рабочих партий с оппортунистами стал необходимостью.

Ленин оперировал экономическими и политическими категориями, но они несли высокий нравственный смысл и питали то рыцарственное отношение к революции, которое ощущал в себе еще совсем молодой Станислав Косиор.

С однажды избранной и с годами окрепшей позиции нетерпимости к оппортунизму он вел бой в решающие дни подготовки Октября. Третье апреля, Финляндский вокзал

в Петрограде... Косиор, секретарь райкома, во главе колонны Нарвской заставы. Весна революции, весна его жизни: после вынужденного бездействия ссыльных лет — вихрь событий. Четкая и вдохновляющая программа действий в тезисах Ленина. Деятельность. Да, действием была заполнена каждая минута. В Бюро Петербургского комитета большевиков он вошел от пролетариев Нарвской заставы. Выступал на многолюдных митингах, скрещивая шпаги с опытными ораторами — демагогами от меньшевиков и эсеров. И побеждал ясностью доводов, близостью партийных лозунгов массам. Своей убежденностью, своей страстью. За ним стояла рать нарвско-петергофских большевиков. В середине октября тысячи их были готовы к боям за победу пролетариата. Он знал, что одни идеи не решат победы: вооружались отряды Красной гвардии. Нарвский район вывел на бой шесть тысяч рабочих. По общему плану руководства они взяли Балтийский вокзал, блокировали казармы отборных казачьих полков, захватили Центральный телеграф... Он и сейчас был так горд этими днями и своим участием в решающей битве, словно это происходило вчера.

Почему именно сейчас, нестройные, несобранные, роились в нем эти воспоминания? Наверно, потому, что курьерский поезд мчал его по местам, где все для него начиналось.

И хотя он бывал на донецкой земле чаще, чем где бы то ни было за время своего секретарства в ЦК партии Украины, каждый раз это было возвращением в молодость. Но глубоко личные чувства и воспоминания не могли увести его от сегодняшнего дня. День этот был победительным.

Два видения стояли еще недавно перед его глазами, преследуя его днем и ночью, видения, отражавшие горькие

беды Донбасса. Одно из них было графическим: кривая добычи угля. Линия плана и линия добычи. Две кривые со своими взлетами и падениями, они почти нигде не пересекались. И он помнит ядовитое замечание, брошенное на совещании одним из инженеров-пессимистов: «В теории две параллельные смыкаются в бесконечности. Остается довольствоваться этим сознанием...»

Другое видение родилось из многочисленных сводок о состоянии дел на шахтах, из личных наблюдений: он видел тысячи проворных, нет, пожалуй, пронырливых мужиков... Они были разные. По возрасту, обличью, речи. И все же похожие друг на друга. Их объединяли хитрый глаз, колкая усмешка, удивительная приспособляемость, головоногость... Да, головоногие люди, как черви, кишели на станциях, в поездах, «голосовали» на дорогах, мыкались по чайным и вокзальным буфетам.

Они произносили по-украински, и орловским говорком, и тамбовским, и другими одни и те же слова: «подработать», «подхарчиться», «смотаться», «смылиться», «ушиться». Их внешней приметой, как бы символом, был сундучок, обыкновенный фанерный самодельный сундучок. Неотъемлемая принадлежность «летуна». Этим словом народ окрестил жадного до «длинного рубля» и жирных харчей, предприимчивого мужичишку, который нигде не оставался подолгу, набивал карман и устремлялся дальше. Это был в основном поток из деревень в Донбасс на шахты, где платили денег много больше, чем где бы то ни было. Он устремлялся в Донбасс по осени и весной отливал, оставляя рабочее место легко и бездумно,— что оно для «летуна»? Для рвача! — «Або дай, або выдэру!»

С этим нельзя было бороться «сверху». «Летуна», рвача, шкурника не брал никакой циркуляр, никакое постановление самой высокой инстанции.

Покончил с ними сам рабочий класс Донбасса под руководством коммунистов. Они создали на шахтах атмос-

феру нетерпимости к шкурникам, условия выталкивания их из рабочей среды. Они повели работу среди тех, кто пришел в Донбасс с одной мыслью о «длинном рубле», но изменился, переварился в рабочем котле, стал в строй творцов, а не наймитов.

Это было великое достижение — создание стабильных пролетарских кадров Донбасса.

То, что стахановский рекорд родился именно на шахте «Центральная-Ирмино», ничем до сих пор не замечательной, некоторым казалось неспроста. Высказывались такие мнения, что вот, мол, люди втихаря, молчком примеривались, готовились и — бац! — 102 тонны угля за шестичасовую смену! И где такое? На Центральной-Ирмино, где сроду первых мест по добыче не держали. И кто такой? Алексей Стаханов? И не слыхивали про такого. А все потому, что без шуму, промеж себя прикидывáли...

В действительности же никаких «секретных приготовлений» не было. Дело обстояло и проще, и сложнее.

Проще потому, что было найдено решение производственной задачи не локальное, а универсальное, то есть не только для данного случая, эффект был достигнут безоговорочный и всеобщий. Сложнее — потому, что решение это было результатом долгой и вдумчивой работы, включавшей в себя не только техническую подготовку, но и психологическую...

А между тем уже светало на востоке и неудержимо, как волна на низкий берег, накатывал новый день. Тут, в вагоне, он начинался для него, как всякий другой деловой день, докладом поступивших за ночь телеграмм, обзором газет и сводками выполнения планов.

Планов, неуклонно подвигающих Советскую Украину вместе со всей страной к вершинам социализма.

2

Встречая на вокзале секретаря ЦК вместе с другими руководящими работниками области, Василь Моргун никак не рассчитывал на то, что его личное свидание со Станиславом Викентьевичем состоится вообще, тем более вскоре после приезда Косиора. Василь предполагал, что он увидит его на пленуме обкома, на котором он, Моргун, будет присутствовать как член бюро обкома и начальник областного управления НКВД. Он готовился к пространному выступлению на пленуме, так как положение на шахтах внушало некоторые опасения. Это были незримые для обычного глаза и выявленные только профессиональным путем процессы, о которых он сигнализировал партийному руководству. Он хотел в присутствии секретаря ЦК привлечь к ним внимание.

Но получилось иначе: Малых, который уже успел побывать у Василя дома, позвонил ему на службу поздно вечером:

— Василь, я к тебе пока неофициально. Есть такое предположение, что Станислав Викентьевич заедет к тебе на службу. Он сейчас у секретаря обкома. Значит, на обратном пути. Так что ты пока — никуда...

— Да что ты! Я и не собираюсь. У меня Киев на проводе в двадцать четыре часа. А ты как? Заедешь?

— Как обстоятельства. Я хотел тебе еще сказать: я рад, что у тебя так хорошо все сложилось. Я имею в виду с Еленой.

— А... Ну еще при встрече поговорим, как все вышло.

— Как бы ни вышло, важно одно: ты счастлив.

— Да-а-а... Конечно. Так я буду ждать.

— Если почему-либо отменится, я просигнализирую тебе отбой.

Но встреча не отменилась. И вот они вдвоем в кабинете Василя за чаем, поданным секретарем.

— Ты об отце знаешь, Василь?

— Он приезжал к нам прошлым летом. Сказал, что скучает по Донбассу.

— Просится сюда, в родные места, в шахтерский край. Мы приняли решение послать его в Донбасс на партийную работу. Так что будешь еще под его рукой ходить...

— Ну, батя!..— выдохнул Василь.

— Что ж, он правильно рассудил: где сейчас пик наших интересов? Стратегический узел? Промышленность. Теперь, когда товарный хлеб идет не от кулака, а от колхозника. Ты же знаешь: на той стороне наши недруги уже перестроились, уже нацеливают свои штабы. Мне понравилась прямота некоторых высказываний. За рубежом, например, газеты писали, что Стаханов положил начало самому выдающемуся в истории движению в области рационализации. И еще интересно: появился такой термин у них — «пораженец капиталистического строя». И вот эти «пораженцы», они оперируют ссылками на стахановское движение. И во всем этом есть еще один аспект: раз так, раз идет усиление Советов, значит, надо готовить удар. Так получается.

— Я много думаю о войне, Станислав Викентьевич,— даже, можно сказать, всегда о ней думаю.

Косиор поднял голову, смотрел выжидательно. И Василь досказал:

— Я, знаете, когда весь как-то повернулся к этой мысли, к этой опасности? После того, как побывал на той стороне. Вот уж пятый год пошел, а во мне живут все детали. Вижу все извивы змеиного клубка. Такая неизбывная жажда реванша — как может она не вылиться в открытую схватку?

Косиор искоса смотрел на возмужавшее лицо Василя, в котором с годами проявилось что-то очень близкое отцовскому облику. Странно, ведь Иван Моргун и смолоду

был вовсе не таков, как этот наследник... Был схематичнее, что ли. Казалось бы, это поколение, поднявшееся уже после революции, должно было быть проще, свободнее. Но нет, сознание их усложнено, многослойно, и беспокойство их, оно тоже — от современного нашего положения в мире, от длящегося одиночества страны...

Так бегло, не очень ясно подумалось, когда он медленно ответил Василю:

— В одной из ленинских работ двадцатый век назван веком «разнузданного империализма». Разнузданная погоня за рынками сбыта, разнузданная свалка в борьбе за колонии. Конечно, мы всеми способами отталкиваемся от войны, нам нужен мир, как хлеб, как воздух, и все же нет гарантии...

Он помолчал, раскурил трубку и дополнил:

— Мы живем в стадии передышки. И это тоже определяет положение здесь, в Донбассе.

— Наверное, и трудности именно нашей работы тоже отсюда,— быстро сказал Василь, и что-то горькое и уже немолодое тенью скользнуло по его лицу.

И тотчас отозвалось в Косиоре пониманием: как было ему свойственно, он на короткий миг словно бы перевоплотился в этого молодого еще, но уже принявшего на свои плечи государственное бремя, в сложной обстановке, в сложную пору, с не очень счастливой судьбой. Впрочем, почему же?.. У него милая жена, сынишка. И, если мыслить по обычным канонам, неужели мимолетная встреча с той девушкой оставила глубокий след, а гибель ее — незаживающую рану? По канонам должна была зажить. Но жизнь ломает каноны. Он остро почувствовал это, как и то, что в их разговоре присутствовало воспоминание о Софье. И вот прошло уже пять лет, и они оба изменились, и все изменилось вокруг них, а Софья осталась такой, как была. Какой сидела тогда у него в кабинете, с этим характерным выражением отваги и решимости на лице...

В тот же миг он ясно увидел, что Василь думает о том же, и так же ясно понял, что оба не скажут ни слова на этот счет. Но было вполне естественно, что всплыло нечто близкое к этому воспоминанию:

— Станислав Викентьевич, помните ли вы историю Семена Письменного, которого убили на Старобельщине?

— Конечно. Я знал Письменного. Потом это убийство фигурировало в суде по делу Рашкевича и всей банды.

— Там имелось еще одно обстоятельство: у Письменного была любовь с девушкой из монастыря. Мы еще через нее узнали автора антисоветских листовок, адвоката.

— И адвоката помню. Его, кажется, осудили?

— Да, это, в общем, было одно разветвленное дело. Но я не о нем. Я об удивительной человеческой судьбе. Эта монашенка Ефросинья Найденова — ей эту фамилию дали в монастыре, как подкидышу,— эта женщина здесь...

Они помолчали.

Косиор спросил:

— Ну, а ты счастлив? Я же знаю твою Лену, работал с ее отцом в Донбассе. Кажется, сын у нее?..

— Есть сынок, он совсем кроха был, когда мы поженились, так что я отец по всей форме. А сейчас ждем еще... Может, девица получится...

Станислав Викентьевич оживленно сказал:

— Знаешь, я когда женился на Елизавете Сергеевне, у нее ведь была уже Тамара... Ну а потом появились у нас Володя и Миша. И я очень радовался, что в семье уже есть девочка. Наверное, это хорошо, когда не одни мальчишки растут! Впрочем, я надеялся, что она на них все-таки будет облагораживающе действовать, а оказалось, они ее обработали, разбойничают вместе! Но ты не ответил на мой первый вопрос.

— Так ведь это сложно, Станислав Викентьевич. Счастье, оно, как радуга,— многоцветно...

— И не все цвета обязательно в нем присутствуют — хочешь ты сказать? Во всяком случае — одновременно?

Оба рассмеялись, понимая, что тема эта ими исчерпана. А про себя Косиор подумал, что его любовь с Елизаветой — это же была буря! Они оба были так молоды, и оба в таком вихре событий, столько трудного, тяжелого вместе пережито. И письма его из тюрьмы, потом из ссылки — в них разворачивалась вся его жизнь. А ответные письма, как освещали они его существование!..

Ничего подобного, конечно, у Василя не было. Да, времена другие, но ведь и бури могли быть другие...

«А в нем появилось что-то новое,— в свою очередь думал Моргун, вглядываясь.— Страстность? Одержимость? Так это и раньше было... Победительность!»

Победительность последних лет озаряла по-новому облик Косиора. Сейчас лицо его было усталым, но одновременно и оживленным. Ему было свойственно такое сочетание: физической усталости, которая выявлялась разве только темными кругами под глазами и чуть опущенными уголками губ, очень выразительных. И вместе с тем — оживление: оно излучалось во взгляде широко открытых глаз, быстром и как бы впитывающем в себя окружающее. И в речи... Василь особенно остро чувствовал, что каждый вопрос Косиора вызван подлинным его интересом, более значительным, чем могло показаться сначала. Поэтому нельзя было отвечать ему просто, однозначно.

Когда Станислав Викентьевич спросил, доволен ли Василь своей работой, тот, не задумываясь, ответил, что да, доволен, и пояснил: если уж ты сам не создаешь материальные ценности, не строишь, не добываешь уголь, не монтируешь станки, то ведь охранять труд тех, кто строит добывает и собирает,— это тоже надо...

Ему самому не понравилась форма его ответа. Хотя он думал именно так, но это было неполно, не отражало целиком его отношения к работе. А ведь Станислав Викенть-

евич спросил не просто так. Он никогда не спрашивал просто так...

И Василь добавил:

— Наверное, я не так выразился. Кроме того, что «надо», тут есть еще другое: уже не только оттого, что овладел суммой профессиональных навыков, а от увлеченности...— Он почему-то застеснялся этого слова и добавил буднично: — Оттого, что втягиваешься в дело.

Косиор сидел в углу дивана, привалившись к спинке, расслабясь, как умеют расслабиться, отдыхая, спортсмены.

— А тебе помог твой поход на ту сторону?— спросил он, и Василь по легкому нажиму на слово «тебе» понял, что имеется в виду. Делу поход, конечно, здорово помог. Это-то Василь точно знал. А ему самому? Он не ставил себе этого вопроса и не был к нему готов. Поэтому ответил, затрудненно, подыскивая слова, но все же находя их:

— Я увидел противника в лицо. Можно сказать, давнего своего противника, потому что к этому времени я уже не один год работал против украинских националистов. Увиденное мне дало не только ясность того, что я познавал по документам. Оно дало другое: понимание большой сложности, большой опасности... Я бы сказал такой фразой: нет никакой специально украинской специфики — фашисты как фашисты. И подумалось: это еще не вечер. И на мою долю еще придется... Знаете, как в народе говорят: «На вийну йдучи по чужу голову, й свою неси».

— Иначе говоря, несколько упрощая: ты стал думать, что впереди будет еще более сложная и кровавая борьба?

— Да, так. Теоретически это я всегда знал. Но ощутить собственной кожей — совсем другое дело.

— Знаешь, что ты ощутил, как ты говоришь, позже? Ты ощутил непримиримость, несовместность двух миров, не в том смысле, что невозможно сосуществование. Оно возможно, и на этом основан и еще долго будет основан

наш расчет. Несовместимость — это по другому слою. По слою глубинного залегания, так сказать... Ты что, курить бросил? — вдруг спросил Косиор.

— Бросил.

— Ну и правильно. Я, видишь, тоже сократился на этот счет. И знаешь, без особых терзаний. А насчет несовместности я тебе вот что еще скажу. Если бы над нами не висел дамоклов меч большой войны, мы, может быть, дали бы себе немного передохнуть, не так бы размахались... Но нельзя нам остановиться, нельзя сдать темпы! Вот так все подошло, так все исторически сложилось, что сейчас сдать темп — равносильно измене, все равно что предать идею! А темпы наращивать нельзя за счет одного понимания этого, на одном энтузиазме. То время, когда голыми руками гнули железо, кончилось, и освоение техники — это уже не только задача экономическая, но и политическая, потому что здесь затронуты кардинальные вопросы существования государства. Но это и нравственная задача, потому что пренебрежение техникой, недооценка ее — это что же? Это значит — остановка в движении. Во вред делу, во вред классу. А то, что вредно для нашего дела, то безнравственно.

Слова, которые он произносил, несколько книжные, собственно, ничего нового не открывали Василю. Кроме одного: того, что секретарь ЦК был сейчас на этих мыслях сосредоточен. Но ведь Василь тоже об этом думал, но не столь отчетливо.

«А ведь он помнит еще старый Донбасс. Современная техника для него внове»,— подумал Василь.

И, словно угадав его мысль, Косиор продолжил:

— Для меня тут все по-особому. Я воспринимаю сегодняшний день в сравнении, в сопоставлении... Вот будто встретил после долгой разлуки старого друга. Конечно, вспоминаешь его молодым, и картины молодости проходят перед тобой, даже если это было тяжкое время. Моло-

дость-то все скрашивала... И вот, представь себе, тот же вруб... Ну, ты теперь знаешь, что это такое. Так вот я помню, как забойщик рубал киркой или обушком, только так. И для силы удара и сохранения его направления забойщик наносил удар чаще всего лежа. Понимаешь, привычная поза углеруба — лежа и с обушком в руке. Когда я впервые в жизни увидел рабочего человека с орудием его труда в этой неудобной, противоестественной, мне показалось, позе, во мне все встрепенулось... Мне рабочий всегда являлся как хозяин положения у своей машины, у своего станка. А здесь — нет, здесь он копошился под землей, как раб, и самое это положение его, и еще слово «законуриваться», «конура» — понимаешь?.. Это мне виделось как унизительное, не только тяжелое, но и унизительное. И оно входило во всю систему гнета, которая включала в себя и унижение. Унижение — тоже. Конечно, это было чисто субъективное впечатление, но стойкое. Очень стойкое. Я думаю, что в малопроизводительном труде есть нечто унижающее человека. Огромная затрата мускульной энергии при ничтожном результате... Поэтому Стаханов — явление нашего времени, когда рабочий овладел техникой. Его энергия, энергия умельца, направлена на максимальное использование техники. Эта азбучная истина содержит в себе несколько слоев. В том числе опять-таки нравственный. Воспитывается человеческая гордость, уверенность в своем могуществе и в том, что ему нет предела, поскольку у нас в государстве нет предела развитию техники. Сила человека довольно легко исчерпывается, сила техники — никогда. Это-то и вдохновляет. И раздвигает горизонты...

Проводив Станислава Викентьевича, Василь не вернулся к делам. И не поехал домой. Неловко, боком присев в кресле, он так и остался сидеть, словно боялся разорвать

хрупкую нить потянувшегося за разговором воспоминания...

Весть о гибели Семена ошеломила его. Но тотчас возникшие обязательства придавили, притупили остроту горя. Была создана комиссия для расследования, и в ее составе Василь должен был выехать в Старобельск. В ночь перед отъездом он освободился поздно и нельзя было уже ехать к Ефросинье. Он подумал: а вдруг она в городе, в железнодорожном поселке, у Марьи Петровны? Василь попросил дежурную машину и поехал.

Поселок спал, не светилось ни одно окно в его домишках, и, наверно, это было глупо — рассчитывать на такой случай: не каждый день ведь бывает Фрося в Харькове, да еще ненастной осенней порой. Но он уже не мог повернуть обратно и выскочил из машины перед знакомым палисадником. Знакомо скрипнула калитка, и Василь подумал, с какими чувствами обычно открывал ее Семен. Ему захотелось повернуть время вспять: чтобы не было этой ночи, не было этой вести. Но уже ничего нельзя было вернуть, и на одну минуту, одну только минуту смятенности, когда он стоял под окошком и не решался постучать, он пожелал, чтобы Фроси не оказалось в доме. Он тут же устыдился своего малодушия. Он не мог уйти от своего последнего долга перед другом. И постучал.

Почти сразу послышался встревоженный голос хозяйки... Она успокоилась, увидев Василя: так часто видела его вместе с Фросей и Семеном. «Случилось что?» — спросила она, и тотчас Василь решил: нет, только сам он должен сообщить Фросе. И когда узнал, что ее ждут с утренним рабочим поездом, сказал только: «Я ее встречу».

Он не вернулся ни в учреждение, ни домой. Так и проходил остаток ночи по улицам в путаных темных мыслях, без единого просвета. Софья, теперь — Семен. Сколько еще дорогих людей поляжет, чтобы была жизнь на земле!

А рассвет все не наступал и, казалось, никогда не наступит. Он продрог в своей кожанке, но ему чудилось, что какой-то внутренний холод заставляет его ежиться и глубже засовывать в карманы озябшие руки.

Все вокруг, такое знакомое, каждодневное, оборачивалось чуждым, враждебным. Привычный запах мокрого угля и гари с путей таил в себе что-то тревожное. И дальний гудок маневрового паровоза прозвучал как сигнал бедствия. Предстояла трудная встреча. А что потом? Он оставит любимую женщину своего самого близкого друга одну с ее горем. Куда она кинется? Что он может для нее сделать? Он, не принадлежащий самому себе, а только задаче дня, каждый раз — другой. И он сам выбрал эту долю: нести на себе ношу времени, пока хватит сил. В этом было его назначение и его гордость. Он ни на кого не желал бы свалить то, что с болью, иногда казалось — непосильной, нес. Но ведь это он, принадлежащий к особой породе людей, призванных к этому. А она, молодая женщина, вовсе не знающая жизни, только что приобщившаяся к ней единственно через свою любовь, через близкого человека?.. Ему ясно представилось, что ждет ее. Теперь она уже навеки останется за монастырской стеной. А может быть, даже примет несчастье как заслуженную кару за «грешную» любовь. Тот, кто стрелял в Семена, загубил и ее.

И оттого, что не было для нее другого пути и что он не мог ничем ей помочь, даже подсказать ей ничего не мог, стало ему так тошно, что он вдруг остановился словно с разбегу. И увидел, что отошел далеко от вокзала. Он стоял у подножья лестницы, ведущей на Университетскую горку. Сам не зная зачем, он поднялся на площадку, вокруг которой теснились мокрые и сирые, словно нищие, кусты бузины и боярышника.

Внезапно почувствовав страшную усталость, он опустился на скамейку и затих, будто растворился в преду-

тренней сырости, в бесцельности ожидания утра, которое погрузит в безнадежность еще одного человека.

Он задремал, и ему не то привиделось, не то приснилось, что на скамейке сидит Семен Письменный. Он ясно увидел его крепкую шею в разрезе косоворотки, вышитой васильками, которую он носил по комсомольской моде — с расстегнутым воротом. Стоял теплый летний день, а на коленях у Сени лежал раскрытый томик стихов Есенина, тонкая книжечка. Но Сеня не смотрел в нее, а читал на память: «Милая спросила: «Крутит ли метель? Затопить бы печку, постелить постель.» Я ответил милой: «Нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы...»

И вдруг все исчезло. Снова Василя закружила метель, холод пробрал его насквозь, он открыл глаза и теперь отчетливо вспомнил, что все увиденное во сне уже было, было в действительности. И они сидели с Семеном на этой именно скамейке.

Неясно, трудно забрезжило на востоке, и он тяжело, как старик, поднявшись, побрел к вокзалу по длинной прямой Екатеринославской между рядами отчужденно глядящих ночных окон.

Поезд уже возвестил о себе гудком, когда Василь вышел на платформу. Он был один на перроне. Да, собственно, тут и не могло быть много народу: подходил первый утренний рабочий поезд. Но он чувствовал себя так, словно продолжал свой одинокий путь по ночным улицам.

Поезд долго стоял у семафора, а может быть, ему только показалось, что долго, и подходил медленно, так что молодежь, спеша, спрыгивала на ходу. Вагоны ползли и ползли. Фрося увидела его раньше, чем он ее, и на лице ее так и застыло выражение радостного удивления. Она, конечно, подумала, что Семен дал о себе знать ему, Василю. Так ведь они условились, вот она и обрадовалась. Может быть, это продолжалось даже несколько мгновений, до тех

пор, пока он ее не увидел. Но как только это случилось, она по его лицу, в его взгляде прочла все. И сразу же начала пробиваться вперед, расталкивая окружающих. Мгновенное изменение в ее лице поразило Василя. «Да, она настоящая монашка. И теперь уже — всё!»...— подумалось ему от вида глубоких складок, неожиданно и пугающе прорезавшихся у губ. И от стылой голубизны глаз под гладко зачесанными назад волосами.

Он взял у нее из рук корзинку, и они двинулись от вагона. Фрося шла как во сне. «Его уже нет?» — спросила она странно, без выражения. Он молча кивнул. Они вышли на площадь, и Василь хотел было повернуть к поселку, но она сказала быстро, словно решила это давно:

— Нет, я туда не хочу.

«Куда же нам?» — растерянно подумал он, все еще крепко держа ее под руку. И вспомнил, что на Вокзальной площади есть столовая со странным названием «Каменный столб». Непритязательная забегаловка для работяг с ночной смены.

И правда, здесь было их полно, усталых людей, поспешно выпивающих стакан чаю с сайкой, без лишних разговоров. Он почувствовал, что Фрося дрожит, и заказал «пару чая»: «Каменный столб» подражал «Русскому трактиру».

«Она не заплакала, это плохо»,— думал он, не зная, как начать, что сказать ей, только понимая, что слезы облегчили бы ее. И его тоже — подумал он.

Но она обратила к нему странно спокойное, по-монашески отрешенное лицо и попросила тихо:

— Как это случилось? Все, все расскажите.

Он, конечно, был готов к этому и все же растерялся. Но она настаивала своим странно спокойным взглядом, и он стал рассказывать о той ночи в селе Терновка на Старобельщине.

— Как он умер? Он не мучился? — спросила она.

— Нет. Стреляли из обреза из-за угла. С точным прицелом. Две пули в грудь. Он умер сразу.

Она кивнула. «Перекрестится»,— с неловкостью подумал он. Но она не перекрестилась.

И больше ни о чем не спросила. О чем-то думала, жадно отхлебывая чай и грея руки о стакан. А в забегаловке было жарко и сразу почему-то стало пусто. Тоска заполнила его всего: представилась ее жизнь как бесконечная серая пелена. Постепенно погаснут воспоминания и боль притупится, и она, молодая, такая искренняя и умеющая чувствовать, потухнет тоже. Навсегда.

— Фрося, горе очень большое, но жить надо,— неуверенно начал он.

— Да, да...— Она встряхнула головой, и узел волос, стянутый сзади, рассыпался. Прямые волосы упали ей на спину, но она не подобрала их. Это странно изменило ее облик. Она показалась ему вовсе не монашкой, просто страдающей женщиной.

Она начала так, словно уже все обдумала, решила:

— Вы, Василь, вы вот что... вы мне помогите.

— Конечно, конечно, помогу,— заторопился он, напряженно думая: о чем это она?

— Помогите мне уехать. Куда-нибудь.

И поскольку он молчал, она, наверное, подумала, что он сомневается, и заговорила:

— Я многого не умею, но я сильная. На монастырских огородах до седьмого поту... И кули с мукой таскала: мужиков-то нет. Не побоюсь ни грязи, ни холода, а обратно... я не могу.

Он был так поражен, что не собрался с ответом.

— Я, Василь, не вернусь в монастырь. Ни за что. Ни за что под эту крышу, где убийцы ховаются. Не надо мне этой жизни. И в бога не верую больше.

«Сказала «не верую» — по-монашески»,— невольно отметил он.

Она выговорила это с такой силой, что щеки у нее порозовели, и все это, такое неожиданное, такой поворот поначалу ошеломил его. Что-то вроде стыда сковало Василя: вот ведь как она повернула, а он-то думал...

Фрося, не так объяснив себе его молчание, уже просяще проговорила:

— Вы мне только помогите устроиться куда ни на есть. Хоть в лес, хоть под землю...

Он наконец совладал с собой:

— Вы это правильно надумали. Поедете в Донбасс, Фрося, там очень люди нужны, разные...

— Поеду, поскорее только.

И он тотчас сообразил, как это сделать. Он сказал ей, чтобы она ждала его возвращения.

— Я буду ждать,— она подняла голову, и впервые он увидел ее глаза, отчаяние и решимость были в них. Но она сказала спокойно: — Документы из артели я возьму, они у меня в порядке. И деньги есть на первый случай.

Она уже пересилила что-то в себе и, кажется, хотела остаться одна со своим горем. Василь ушел с точным ощущением, что не он ее — она его духовно поддержала: почему-то ее решение, такое безоговорочное, обернуло и его к жизни, вынесло на какой-то твердый берег.

Вернувшись со Старобельщины, он занялся Фросиными делами. Хотелось, чтобы она попала в среду хороших людей, чтобы никто не попрекнул ее, не посмеялся над ней,— это ведь так легко было сделать. И он вспомнил об одной славной девушке, сестре его сокурсника. Она училась в педагогическом и теперь ехала клубным работником в Донбасс.

Он разыскал ее, и все так хорошо сложилось, что Люба Панченко как раз собиралась к отъезду, получив назначение заведующей клубом на шахте. Она обещала позаботиться о Фросе.

Он пришел проводить их на вокзал. Фрося стояла у вагона в группе молодых женщин и так не выделялась среди них, так была «подогнана» под некоторый установившийся стандарт деловой девушки, интересы которой связаны с ее работой, с ее коллективом, с общими планами, что Василь подивился новому повороту жизни Фроси. «Хоть эта не пропадет»,— с облегчением подумал он, глядя вслед уходящему поезду.

Фрося обещала писать, но написала не скоро. Он ответил ей, но больше вестей от нее не было. Потом началась история с Рашкевичем, поход за кордон. Все остальное отступило перед напряженностью и значительностью этого этапа в жизни Моргуна. Вернувшись, он попробовал разыскать Фросю. По старому адресу ее уже не оказалось, ему удалось узнать, что она со своей бригадой переброшена на отстающую шахту. Он так и не нашел ее.

Еще полгода после своего возвращения из-за кордона он работал у Рашкевича. Велась сложная игра с заграничным центром. Наглядно изменилась его тактика: агентура, приходящая от Змиенко, была нацелена уже не на террор, а на длительное оседание на Советской Украине, особенно в промышленных районах, в местах новостроек стратегического значения. Вредительство, диверсия, в том числе и идеологическая, стали основной задачей посланцев с той стороны. И это отчетливо выявлялось благодаря успеху миссии Моргуна за границей: агентура прибывала уже по известным явкам. Затем было решено ликвидировать организацию: вместе с Рашкевичем арестовали разросшуюся периферию ее. Только Григорию Кременецкому удалось уйти, и даже следа его не отыскалось. Но уже поступили сведения о том, что разведка Змиенко насаждает новую агентурную сеть, стремясь внедрить своих людей в промышленность Донбасса.

Было принято решение укрепить там оперативный чекистский состав. Карлсон вызвал Василя Моргуна. Есте-

ственно, что ни в Харькове, ни в Киеве Моргуну уже не стоило мелькать. Донбасс? Что ж, для него это было и почетно, и интересно. Впервые он принимал самостоятельный, ответственный участок — областной отдел НКВД. Рабочий центр, новые места, новые люди... Впрочем, туда сразу же после ареста Рашкевича был направлен на работу в шахтоуправление Максим Черевичный. Провожая его с семьей, Василь никак не предполагал, что вскоре с ним встретится.

Пока оформлялось его назначение, Василь сидел в их учрежденческой библиотеке, читал литературу о Донбассе, книги по горному делу, листал справочники. Заведующей читальным залом теперь была только что вернувшаяся из Москвы по окончании института Лена Косарь. Василь знал ее, в свое время она работала в этой же библиотеке. Но теперь увидел как бы впервые. Из нескладной девчушки она превратилась в красивую молодую женщину. И теперь, заметив это, он припомнил, как она краснела, когда он иногда шутил с ней, бывая в библиотеке. Она была то, что называется остроглазая. Так и прокалывали тоненькими веселенькими буравчиками ее небольшие карие глазки. И вся она состояла из острых углов, локти и колени, казалось, готовы уколоть, острые грудки едва не прокалывали тонкий свитер, а носику уж сам бог велел чуть задираться вверх острым дерзким кончиком.

Такой она была тогда. Когда краснела даже от его взгляда. Он однажды сказал ей... Это было, наверное, перед ее отъездом в Москву. Он шутя сказал: «Кончишь институт, возьму за себя замуж. Так что старайся!» А она ответила серьезно и дерзко: «И возьмете». Это его удивило, и он поспешил ответить назидательно: «Ну, знаешь, такие вещи не планируются заранее». Он спохватился, что этим самым как бы придал значение своей шутке. И опять она его удивила: пожав плечами, бросила: «А почему бы и нет?»

И вот Лена, которой так не подходило это спокойное и плавное имя, теперь вполне заслуживает его. Острые углы в ней сгладились, округлились руки, и плечи, и даже нос стал как нос.

Она была дерзкой девчонкой, теперь стала уверенной в себе женщиной. И что-то проявлялось в ней, говорящее о жизненном опыте, может быть, даже несчастливом.

Они встретились как старые друзья и как будто после очень долгой разлуки. А в действительности не виделись года четыре. Работая над материалами по Донбассу, Василь задерживался в библиотеке. Однажды, увлекшись, он не заметил, что Лена в пальто и меховой шапочке стоит около него.

— Вы не думаете, что пора бы уже закончить? — спросила она, и он поспешно собрался.

Они вышли вместе. Площадка перед зданием наркомата была завалена снегом, он продолжал падать, крупный, медленный, первый снег этой киевской зимы.

— Я провожу тебя, ты живешь в общежитии? — спросил Василь. Он по-прежнему говорил ей «ты», а она ему «вы».

— Не очень вы интересовались моей судьбой. Я женщина семейная, живу в своей комнате тут недалеко, на Виноградной.

— Вот как? — он не испытывал ничего, кроме некоторого смущения, что так опростоволосился.— Значит ты замужем?

— Нет, не замужем,— спокойно ответила она.— У меня сын. И маму я выписала из Донбасса. Вы, надеюсь, помните хотя бы, что я из Макеевки?

Да, он это помнил, только тогда это не имело для него никакого значения... «А теперь? Теперь имеет значение?» — поймал он себя на странной мысли, даже не мысли, а каком-то мимолетном предчувствии, ощущении причастности к ее судьбе.

— Покажешь сына? — спросил он.— По старой дружбе.

— Почему же нет? Погоржусь.

Так он впервые оказался в небольшой квартирке, где Лена занимала одну комнату и где хозяйничала добродушная, типичная украинская мама, мягко выговаривавшая «г» почти как «х» и охотно перешедшая на украинский. И толстый мальчишка, только что научившийся самостоятельно делать два шага с исходной позиции — от ножки стола — к дивану, но ни за что — обратно, доверчиво ухватился за галифе Василя и выпустил его со страшным ревом, только когда пришла пора спать.

Хотя в тот вечер ничего не было сказано, а только по беглым вопросам-ответам понято, что была в жизни Лены трудная полоса, Василь уже твердо знал, что скоро скажет эти слова: «Лена, поедем со мной в Донбасс, буду любить тебя верно, и хлопца — тоже...»

3

Иногда Фросе казалось, что она уже долгие годы здесь, в Донбассе, но чаще — будто это было вчера: поезд, первая встреча с шахтой...

Ночью Фрося не спала. Стояла у окна. В бесплацкартном вагоне было душно. Плакал ребенок. Уже давно зашло солнце, но небо над степью было светлое, тревожно-розоватое, словно от дальних пожарищ. Степь убегала назад, однообразная, как серая масса воды, с невысокими волнами тронутых ветром трав.

Вдруг вырос поодаль высокий холм странно правильной пирамидальной формы, черный, вовсе черный, непохожий на естественный, она никогда не видела таких, но догадалась — насыпной. Ее поразило, что он так высок, с правильными линиями склонов. И потому, что он был та-

кой черный на фоне светлого тревожного неба, линии эти виделись четкими, как на чертеже. Она заметила, что по склону подымается вверх черная вагонетка.

Потом, когда она вспоминала это первое свое ночное видение Донбасса, то понимала, что, наверное, вагонеток было несколько, а ей показалось, что одна. И одинокий этот вагончик, медленно и упорно двигающийся по кромке странной искусственной горы, по черной крутизне, чем-то притягивал ее взгляд, она не могла оторваться от него. Вдруг подумалось: и она сама, как тот вагончик, одиноко в ночи взбирается на пугающую крутизну. Она долго следила за ним. И только через несколько минут поняла, что это уже другой, такой же точно, черный холм, и другая вагонетка ползет вверх по кромке склона.

А дальше все чаще стали вырастать черные пирамиды в степи, поодаль от линии железной дороги, и, присмотревшись, Фрося увидела, что они светятся, но не постоянным светом, а как бы что-то вспыхивает и искрится то там, то тут в черной их глубине, мерцает, гаснет и снова остро и мгновенно проблеснет и скроется, загадочное и неверное, как болотные огни.

Фрося потянула за ремень, окошко подалось: вдунуло крепкий сложный запах сухой травы, угля, машинного масла, дыма. Это был запах Донбасса.

Ее пугали незнакомые, жестко звучащие слова: «забой», «штрек», «вруб»... Она не боялась тяжелой работы, но та, которую она знала, была связана с землей, с волей, с простором монастырских угодий или усадебных земель богатых крестьян, к которым ее посылала матушка Степанида. Здесь же работа была под землей. И тяжесть труда состояла для нее именно в этом. Ей казалось, что она никогда не привыкнет, никогда не перестанет чувствовать над собой пласты земли как гнет и угрозу. Все было здесь

чужое, непонятное. Всякое рабочее место мыслилось ею либо как помещение, здание, куда ведут нормальные двери, либо как нечто огороженное, как заводская территория. Но здесь не было ни ограды, ни дверей. А что было? Шахтный двор, но это только он назывался двором, а была просто голая, утрамбованная сотнями ног в тяжелых шахтерских сапогах площадка, обычно пустая, ничего на ней не было, кроме изломанных крепей и железных обрезков.

На короткое время пересмены площадь оживлялась необыкновенно: два людских потока выливались на нее, заполняли ее всю своими неуклюжими, в шахтерских спецовках, фигурами, хрипловатыми голосами, тяжелым дыханием, запахом угля, сырости, пота.

Один поток устремлялся в поселок, разливаясь по его улочкам, и тогда можно было лучше разглядеть, как идут молодые и немолодые мужчины после работы — под землей. И поэтому, верно, у них такая особая походка: они руками не машут, они ногу ставят сначала на носок, а потом на всю подошву. И чуть вразвалку они ходят, будто моряки. Нет ни одного лица, на котором не оставила бы отметину шахта. Синеватый след вонзившегося в кожу угольного осколка, иногда целая россыпь голубоватых пятнышек, словно бы пороховой заряд в лицо! И у всех одинаково черной каемкой обведены глаза. Прошло много времени, пока Фрося перестала замечать все это.

Один поток разливается по поселку, другой, наоборот, сгущается, спрессовывается на шахтном дворе, потом истончается в очереди у окошка ламповой.

Шахтерское обряжение тоже особое: кепка с заломленным кверху или повернутым назад козырьком. Или широкая шляпа, как у рыбака. Брезентовая куртка, такие же штаны. Но главное — лампа! Заправленная, уже горящая лампа выдается по списку. И, получая ее, ты получаешь как бы пропуск под землю.

Под землю не ведут ни двери, ни лестницы. Под землю не ходят, а падают. Какой-то замогильный звук — не меди и не железа, вызывает на-гора клеть. Тесно набиваются в нее, касаясь друг друга жесткими, в негнущихся робах, плечами. Снова тот же сигнал, и клеть начинает падение. Лучше не глядеть на стенки колодца, быстро уходящие вверх, то черные, то серые, но всегда мокрые. И кажется, они все суживаются, но это только кажется, потому что светлый кусок «воли» там, вверху, все сжимается и, наконец, пропадает вовсе.

«Преисподняя» — так у нее приложилось знакомое, давнее слово. Да и как иначе назвать то, что ждало ее на дне пропасти, куда проваливалась клеть? Слово «клеть» было точное и тоже пугающее. Словно плененные птицы в тесной клетке, испуганные и несчастные, казалось ей, дрожа от холода и страха, устремлялись они в бездну. Невозможно было определить, сколько продолжался спуск: после сигнального звонка на опускание прошло очень много времени, а минутами у нее возникало ощущение не спуска, а подъема. И тогда начинала кружиться голова и она боялась потерять сознание.

«Сомлела?» — спросил сипловатый мужской голос. В полутьме, а может, со страху она не рассмотрела лица, только фигуру в «шахтерке», бесформенную, как у всех. В голосе незнакомца звучало снисходительное мужское покровительство, и у Фроси вдруг вырвалось: «Страшно!» Она тотчас испугалась, что могла этим словом обидеть человека.

«А как же не страшно?» — подхватил он серьезно, и оттого, что он так охотно согласился с ее отчаянным возгласом, что-то изменилось. Она с удивлением услышала, что в клети вовсе не стоит мертвая тишина, как со страху почудилось ей. Как во всяком людном месте, клеть была полна смутным говором, и даже всплески смеха донеслись до нее, что-то смешное выкрикивал молодой басовитый голос.

И только она освоилась в тесном пространстве клети, которую уже не воспринимала как «клетку», а просто как вагон, что ли, только двигающийся не по горизонтали, а вниз и слишком короткое время, для того чтобы разглядеть соседей по необычному путешествию, но все же достаточное для короткого общения, для того, чтобы проявилось человеческое участие в односложном: «Как же не страшно...» Только она приняла это все, как клеть мягко опустилась на грунт.

Если бы можно было забыть, что находишься глубоко под землей, что над тобой громоздятся пласты земли, которые даже страшно себе представить, а не представлять тоже было невозможно: они давили как будто даже физически... Если бы не это, Фрося подумала бы, что находится на обычном заводском дворе, только ночью. Обширная площадка была освещена, на ней толкались люди; впрочем, пожалуй, это слово не очень подходило: был определенный порядок, система в их движении по этому как бы двору. Основное заключалось в том, что они отсюда, из этого всетаки просторного и освещенного места, уходили... Не на «волю», не наверх, к солнцу и свету, а куда-то еще дальше, еще глубже. И это было страшнее всего. Ей было жутко сделать даже шаг из этого все же человеческого места, со странно звучащими здесь, но все же людскими возгласами, с ровным светом особых, но все же источающих свет ламп...

Слово «пошли», брошенное кем-то, будто ударило ее. Она подчинилась ему, как подчинялась теперь всему, что диктовало ей поведение и каждый шаг. Двинулась за малой горсточкой людей, неспешно углубляющейся в сразу пахну́вший холодом и сыростью отсек. Темнота хлынула навстречу, но шахтерские лампочки протыкали ее, как свечи. Когда она видела эти лампы при свете дня, они казались ей частью шахтерского обряжения, такой же, как шахтерская шляпа. Сейчас, когда лампы светили и стали

перемещаться, они словно оживили узкий и темный канал, по которому люди как будто плыли. Ощущение это подчеркивалось тем, что под ногами хлюпала вода. Фросе даже казалось, что она вот-вот хлынет за голенища сапог.

Но люди шли спокойно, в мерцании лампочек было сейчас нечто значительное и утешающее. Да что же это напоминает ей? И она в конце концов вспомнила: шествие богомольцев в пасхальную ночь с зажженными свечками в руках. Много людей, весенняя ночь, полная звуков и запахов, и медленный шаг, чтобы не загубить на ветру слабый росточек огня. Люди в праздничной одежде, с тихими словами, с трепетной бережностью несущие малые огонечки в ночь.

От боли, от тоски по тому молодому, полному надежды и благости миру навернулись у нее слезы на глаза. И они были такими горькими, потому что этот мир существовал только в ее воображении и обернулся более страшным и губительным, да, даже более страшным, чем это шествие в подземелье, узком и словно бесконечном. «Штрек»,— догадалась она, и то, что нашлось слово, принесло какое-то успокоение.

Подземные коридоры то сужались, то расширялись. Потом она узнала, что подземный город имеет свои улицы — коренной штрек и переулки — ответвления от него.

А тогда, в первый раз, ей показалось, что они возвращаются в одно и то же место, кружат в темноте, заблудились. Хотя это было невозможно, от одной этой мысли похолодело у нее все внутри. И вдруг страшный звон и свист оглушили ее. Из темноты вынырнула дико, невероятно выглядящая здесь лошадиная морда, и губастое черное лицо с ослепительно белыми зубами промелькнуло и исчезло, а свист и грохот продолжал отдаваться под сводами. Видение исчезло, замерло эхо странного промелька, а Фрося, как метнулась в сторону, так и застыла, при-

жавшись к твердому камню, даже сквозь шахтерскую куртку обдавшему холодом.

«Эх, дуреха, коногона испужалась!» — сказал кто-то рядом. Голос был незнакомым, но кто-то как бы продолжал заботу о ней. И с этого момента все стало проще и терпимее.

Пуще всего боялась Фрося: не затухла бы лампа. Потом она узнала, что лампы затухают часто. Она узнала это, когда стала лампоносом. И уже давно работала им, но всегда помнила, что несет самое важное под землей: свет. Ей нравилось, что в шахте зовут ее не по имени, редко — «Эй, лампонос!» или «Давай лампу!». А почти всегда одним словом: «Свет!» Она шла на окрик: «Свет!» — и несла свет.

Она привыкла к своей работе и старалась унести на себе как можно больше ламп, шахтерских «коптилок». Фрося устроила себе нечто вроде короткого коромысла и на него нацепляла крючки ламп. Вся как светящаяся рождественская елка, она медленно продвигалась по штрекам, прислушиваясь то к ближнему, то к дальнему зову: «Свет!» Но часто нетерпеливо выскакивали из уступов, из нор и лазов — все на одно лицо, и по голосу не узнаешь, в шахте и голос меняется,— хватали лампы и снова исчезали.

Но до этого она еще работала откатчицей. С откатки и началось привыкание. Тяжесть вагонетки, вдруг — казалось, неожиданно — поддавшаяся ее усилию, именно ее. Это было новое и отрадное ощущение. И новым было чувство связанности с непростым организмом бригады. Все усваивалось ею вместе, в комплексе, во всем находился смысл.

По началу она дичилась, сторонилась задорных и шумных девчат, соседок по общежитию. Они казались ей все похожими друг на друга. Потом как-то из общей массы выделились лица и характеры. У каждой была своя судьба.

Судьбы, похожей на ее судьбу, не было, но были другие, тоже нелегкие. Баловней здесь не имелось.

Фрося именно в работе примерилась, притерлась к подругам. А потом, в общежитии, «вагонке» — нары были на четверых: вверху и внизу, как в вагоне,— общение продолжалось, стало естественным.

Люба сначала жила в клубе, спала на диване. Потом, когда освоились в поселке, вместе с Фросей они сняли комнату у шахтерской вдовы. Хозяйка почти не бывала дома, нянчила внучат, у сына была квартира в «конторском» доме, где жили инженеры.

Фрося и Люба подружились не только потому, что вместе приехали и что познакомил их Василь Моргун,— дружба возникла, пожалуй, от этого, но продолжалась и углубилась сама по себе. Это было удивительно для окружающих, потому что Люба была как огонь, а Фрося — как тихая лесная речка.

Вечерами они выходили в степь, сидели на кургане, пели тихие песни. Иногда чумазые, веселые парни задевали их. Люба отшучивалась, но Фрося молчала, она чувствовала себя чужой. Только раз, когда на их участке объявлен был аврал и все, и она тоже, сутки не поднимались из шахты,— она ощутила свою связь с людьми, работающими рядом. Это дало ей минутную радость, тотчас погасшую в смертельной усталости.

Сначала казалось: вся жизнь до краев полна этой усталостью. Прошло много времени, пока ее не то чтобы не стало, но усталость как бы потеснилась, образовался просвет. Фрося узнала многих ближе и дивилась, как широк мир, как много в нем разных людей. А когда-то ей казалось, что весь он ограничен белой монастырской стеной.

В клубе Любе помогал плотник Левушка. Он был настоящим умельцем, все успевал: и на шахте, и в клубе, и «пособить» был готов каждому. Ему уже было двадцать

восемь, но казался он моложе. Держался с девушками просто, как с сестрами. Он всегда был в курсе дел на шахте, и через него Фрося поняла больше, чем работая сама под землей.

— Вы что? Вы злого времени и вовсе не помните,— говорил Левушка,— а я хлебнул его вволю. Отец рано помер, утонул в половодье, а нас — четверо, ребятишек. Вот снарядила меня мать, завязала в узелок чистую рубаху и пару запасных лаптей и наказала мне идти в дальнее село к отцовой сестре. Добирался я то попутной телегой, то пешком — поездов боялся, да и денег у меня не было. Добрые люди кормили: я то дров наколю, то тын починю, то коровник вычищу. Однажды пришлось мне заночевать в поле в стоге сена.

Проснулся утром и слышу: идет пальба из пушек за лесом. Вышел на дорогу, а там видимо-невидимо войска, идут и едут, да все краснозвездные, и песня знакомая: «Отречемся от старого мира...» Засмотрелся я на ладных ребят с шинельными скатками через плечо, с винтовками за плечами. А я хлопец был справный, хоть впроголодь, а вымахал под потолок. Мне кричат: «Давай, хлопчик, к нам, чего за мамкин подол держаться! Пошли буржуев бить!» Как услышал я, аж весь загорелся: какого черта мне от той тетки надо? Кого там бить и за что, соображал я плохо, но одно понял: не надо искать тетку, которая еще и неизвестно, примет ли, а то по шее надает! Взялся за грядку обозной телеги и зашагал, не зная куда.

А через день стоял вторым номером у пулемета «максимки» — жаркий бой был с беляками! И воевал, пока не прогнали беляков. Ранен был, вон шрамик остался на шее, пуля на излете поцеловала. В двадцать втором вернулся я домой, уходил мальчонкой, пришел — красным бойцом: в гимнастерке с красными петлицами на груди, «разговорами» назывались, в кожаных сапогах,— у нас в семействе никто их не имел, первый я заявился в сапогах! Мать по-

старела, почернела, братья по свету разбрелись. Бедно, голодно... Пошел к старшему брату на шахту в Донбасс. Мать ревела: «Под землей жизни не будет». Однако привык.

Левушка был первый шахтер, с которым Фрося познакомилась поближе. Они все казались ей особыми людьми, а Левушка был обыкновенный, деревенский. Он и не собирался оставаться на шахте, только и мечтал вернуться в деревню, накопив денег. Построить настоящий дом, жениться на деревенской. Работать в колхозе. Разве ж можно всю жизнь под землей? Нет, под землю только за «длинным рублем» лазят, не на всю жизнь в шахту, а на худший ее отрезок. Зато потом...

Фрося понимала его, но ей казалось, что на шахте работают другие люди, у которых главное — здесь. Люба слушала Левушку, самолюбиво хмуря короткие брови, говорила: «Меня комсомол прислал на шахту, но я могла и отказаться. А не отказалась. Значит, буду здесь обживаться».

Младший брат Любы работал на шахте. Коногоном. Фрося его никогда не видела. Она избегала задиристых, чубатых парней. Уж если Люба такая бойкая, каков же брат?

Люба принимала все близко к сердцу, ругала начальство: «Не могут дело поставить. Наша «Наклонная-бис» — чуть не самая отсталая шахта по всему Донбассу». «А нам что?» — думала Фрося. И не верила, что где-то лучше.

В комнате у Любы и Фроси было чисто и тихо. Фрося в первый раз в жизни имела вроде бы собственную крышу над головой. И убрала комнату по своим понятиям. «Ух ты! — одобрила Люба,— ну прямо келья! Меня маленькую бабка на богомолье брала!»

Фрося испугалась, но поняла, что слова Любины случайные. Фрося никому не рассказывала свою историю. На беглые вопросы: «Ты откуда?» — отвечала, улыбаясь: —

«Ниоткуда». Иногда объясняла подробней: сирота, работала в артели вышивальщиц. Вот и все.

Она не могла бы сказать, что полюбила невзрачный этот поселок,— чего тут любить? Пыльная дорога между жидких садочков с пыльными кустами низкорослой рябины. Однотипные одноэтажные дома, крыши из толя, стены побелены, как повсюду на Украине.

Вечерами молодые шахтеры и девушки во главе с гармонистом, а иногда и с двумя, выходят «к оврагу» — всегдашнее место прогулок, все равно как главная улица в городе. Овраг тянется далеко, трава на дне его и на склонах густая, сочная, такую не найдешь в степи: течет в глубине неширокий, но чистый ручей. Было в этом месте что-то отрадное, и как-то само собой получалось: только выходили сюда, на край обрыва, располагались пестрым табором, и сразу сменялась лихая шахтерская частушка задумчивой украинской песней. Почему-то и говорили здесь тише и вроде бы помедленней. Это нравилось Фросе.

Она не сразу стала ходить «к оврагу». В толпе совсем юных девчат казалась она себе старой, медлительной, неповоротливой, «особенной». Она давно отучилась от «монастырской» походки, усвоенной с ранних лет: широкий плавный шаг с чуть приподнятым носком при размахе, но что-то осталось в ней — скованность в движениях, негромкость речи. «Я кажусь им странной, непохожей ни на кого»,— думала она иногда с горечью, иногда с отчаянием.

В работе она забывалась, там ведь главным было — не отстать. Она не отставала даже на откатке, быстро овладев искусством беречь каждую минуту, а внимание, оно у ней выработалось годами монастырской работы.

Сначала вечера были только для сна, усталость валила с ног, и оттого жизнь была только работой, а люди показывались ей только в работе. По мере того как она осваивалась, появились вечера... Летние длинные вечера, когда закат повисает над степью, каждый день по-другому

окрашенной, и стоит яркой полосой долго-долго, а в другой стороне неба вспыхивает цепкий голубой глаз звезды. Тянет из оврага прохладой и томным запахом разнотравья. Фрося не знала здешних трав, но чудилась в нем и приторность мяты, и тонкое веяние чабреца, и что-то еще пряное, чужое, от здешних степных мест.

Люба была в центре гуляния у оврага. В ее размашистости, в легкости обращения со всеми была притягательность для многих. Даже начальству шахтному могла она бросить ядовитое словцо или потребовать дерзко, настоятельно то, что не осмелились бы другие. Фрося не завидовала, но дивилась ей. Для нее был внове этот характер, и она догадывалась, что Люба умеет подчинить себе жизнь, а не плыть по ее течению. Но этого Фрося не могла и, казалось ей, никогда не сможет.

4

Фрося только что закончила стирку и развешивала белье на веревке во дворе. Дворик был у них неказистый, огорожен не забором, как другие в шахтерском поселке, а тыном, совсем по-деревенски. На кольях торчали крынки и горшки, насаженные для просушки. Фрося выскочила во двор, как была, в подоткнутой юбке, в старой кофтенке с засученными рукавами. Она вся ушла в свое занятие, нагибалась, брала из корыта, стоящего на земле, постиранное, сильным движением встряхивала и аккуратно расправляла на веревке.

Солнце еще не садилось, но спряталось за тучу — как раз сейчас дождя не хватало! Фрося озабоченно посмотрела на небо, но взгляд ее ухватил непредвиденное: в трех шагах от нее над тыном высилась фигура: человек великанского роста, просто невиданного! Но Фросю испугало лицо, она узнала его тотчас: смоляной чуб спускался из-под картуза до самых бровей, рот распялился в широкой

белозубой ухмылке, на темном лице глаза зеленели дерзко и не мигая. Он это, конечно, он промчался тогда со свистом и грохотом, повторенным и усиленным под сводами коренного штрека. «Коногона испужалась!» — вспомнила она и сразу, как и тогда, успокоилась.

— Вам кого? — спросила она, потому что великан продолжал молчать и во все глаза смотреть на нее. Тут она увидела, что он просто-напросто стоит на поперечной жердине тына. И когда спрыгнет с нее, то, пожалуй, окажется одного роста с ней.

Так оно и было. Кроме того, теперь, когда он перемахнул через тын, не утруждаясь открыть калитку, она увидела, что он совсем молодой, юноша.

«Что ему надо?» — подумала Фрося удивленно, но без опаски, потому что то прежнее видение в штреке не вязалось с этим парнем, хотя это был, несомненно, он.

— Вы к хозяйке, что ли? — спросила Фрося уже нетерпеливо.

— Нет, к вам,— ответил он с шахтерской хрипотцой в голосе и потянул из кармана кисетик. Кисетик был «цикавый» — такие дарили девушки шахтерам, собственноручно связанный, с «бомбошками» на шнурочках. Чем больше бомбошек, тем, значит, крепче любит девушка. На этом кисетике болталось целых пять красных шариков. Парень все еще молча достал махорку, любовно зажал двумя пальцами горсть золотистого пахучего табаку и остановился...

— Газетка имеется? — важность тона рассмешила Фросю.

— Сейчас принесу.

Но он неожиданно ссыпал табак обратно в кисет, поиграл шариками и спрятал его в карман.

— Успеется,— сказал он и присел на чурбак как раз под веревкой.

Фрося засмеялась и, вытащив из корыта простыню, встряхнула ее так, что мокрым концом задела парня по

лицу. Он не отодвинулся, а только смешно сморщился и отерся рукавом.

— Вы, значит, та самая «Ниоткуда»? — он рассматривал ее без стеснения, но и не нахально, скорее — с любопытством.

Фрося, не отвечая, спросила сама:

— А вы кто? Если к хозяйке — она, может, и к ночи не вернется.

— Я и с вами не пропаду. Давайте помогу! — он отшвырнул ногой чурбак, выхватил из корыта что попалось и встряхнул с таким треском, будто вещь разлетелась на куски в его руках.

В нем, безусловно, было то разбойничье, что напугало Фросю в штреке. Но теперь она отчетливо видела, что это мальчишка, играющий в разбойника. И каким-то образом он понял, что она его раскусила, и упавшим голосом произнес то, что, видно, загодя приготовил:

— Вы меня не бойтесь...— Это прозвучало смешно.

— Да чего же мне вас бояться? Неужто вы такой страшный?

Она уже откровенно посмеивалась над ним. Это ему не понравилось. Он был самолюбивый и дерзкий мальчишка,— так она поняла, когда он спросил, рассматривая ее своими зелеными глазами:

— А как понять, что вы — «ниоткуда»?

— Так и понять. А вам что?

— Просто интересно. Про вас разное говорят.

— Ну и пусть говорят.

Ее забавлял взрослый мальчишка, невесть откуда взявшийся и уж совсем непонятно зачем сюда явившийся. Во дворе ей делать было нечего, а в доме, наоборот, ждала работа. Но не приглашать же его в дом!

— С тем и до свидания вам! — бросила она и, подхватив пустое корыто, пошла к крыльцу.

— Хвылыночку! — хлопец показал согнутым пальцем, какая маленькая минутка ему требуется.— А вы знаете, кто я таков?

— А чего тут знать? Коногон шахты «Наклонная-бис».

— Так,— с достоинством подтвердил он,— а еще я — брат Любы, Николай Павлович.

— Что же вы сразу не признались, Николай Павлович? А то развели чего-то... Та заходьте же, у меня тесто как раз заведено! А Люба скоро придет. Вы небось соскучились?

— По сеструхе? Определенно,— это было модное слово, обозначавшее простое «да».

— Почему же вы ни разу не приходили? Уж сколько я тут с Любой, а вас вижу впервой.

— Понимаете... как вас называть?

— Ефросинья Ивановна.

— А нельзя покороче?

— Можно. Фрося.

— Это подойдет. Так вот, Фрося, очень у меня много дел. В гости ходить никак невозможно.— Он нахмурил коротенькие несерьезные брови. Такие же, как у сестры.

И так как он явно ждал, просто-таки жаждал, чтобы его расспрашивали, Фрося, продолжая раскатывать на столе тесто, это и сделала.

Николай сидел на табурете подобравшись, как человек, привыкший действовать в ограниченном пространстве. Наконец он закурил, свернув тонкую «козью ножку» и деликатно выпуская дым в открытое окно. Вперемежку с затяжками он веско ронял важные слова и поглядывал на Фросю, какое они производят на нее впечатление.

— Во главу угла ставлю я, допустим, производство. Коногонить мне наскучило. Ну, сделаешь семь-восемь ездок, а дальше что? Росту нету. Некуда расти! — выпалил Николай, явно кому-то подражая.— Выходит мура!

— Вот как! — откликнулась Фрося.

— Пора, говорю себе, переходить на молоточек. А молоточек не прост. Тут силой, допустим, не возьмешь. И бросился я, значит, в науку... Вы, извиняюсь, отбойный молоток в ходу видели?

— Не приходилось,— вздохнула Фрося с видом безмерного сожаления. Ее забавляла детская важность парня.

— Молоток такая штука: если, допустим, скапризничает — все! Хучь стой, хучь падай. Значит — что? Значит, надо схему знать, как свои пять пальцев. Чтобы в случае чего определить — раз, направить — два, учесть опыт — три. Взял молоток в руки, допустим, думаешь: так он у тебя и пойдет, знай — шуруй! Не-е-т! Общупай его, как там, допустим, промежное звено в отношении цилиндра. Слабины нет? И все такое прочее. Насчет смазки тоже имей соображение. Когда шланг присоединил, включил — тогда слушай, как он дышит, молоточек...

Фрося поставила листы с пирогами в печь и теперь слушала уже не вполуха. Занятно рассказывал Николай, все более увлекаясь.

— Коню в зубы смотришь, ногу подымаешь: как подкован?.. Так и молоток перед работой проглядишь, весь его, допустим, организм: склонен поработать или чего еще ему надо?..

— И вы, Коля, все это изучили? — с непритворным удивлением спросила Фрося: парень казался так прост, а разговор выдавал в нем другое.

— Досконально.— Он подумал и добавил: — То есть не полностью еще охватил, но прохожу обучение. Без отрыва.

— Без чего?

— Без отрыва от производства.

— Ну тогда, понятно, делов у вас...

— Не всё еще. Являюсь секретарем комсомола. Организатор молодежи, чтобы проявляла себя на работе, развивалась, как диктует эпоха.

— А как диктует эпоха? — Фросе много раз приходилось слышать эти слова, но никогда она не решалась выяснить их значение.

— Эпоха диктует очень просто: прежде всего политически осознать настоящий переживаемый момент. Ну, насчет империализму и происков. А отсюда, обратно,— гуляй молоточек, даешь уголек, крепи мощь и все такое. Опять же — идем далее. Еще имеется особое задание: пройти науку за полную десятилетку. Ну, тут уже надо мозгой шевелить на все сто.

— А как же, Коля, я слышала, вы первый гармонист у оврага?

Он насупился, небрежно бросил:

— Это так, вроде перекура.

Николай выбросил самокрутку в окно и потянул ноздрями воздух:

— Не сгорит у тебя?

— А то... заслушаешься вас,— Фрося открыла дверцу, из печи пахнуло душным запахом свежеиспеченного теста. Она подхватила лист чапельником, и он выполз на загнетку во всем великолепии золотисто-поджаристых пышных пирогов. Она повернула лист другой стороной и уже не прикрыла дверцу печки.

— Ну! Это сеструха не умеет. Да, пожалуй, на шахте никто не сможет, разве только у кого женка, так это нам ни к чему, мы туда не званые.

— А к нам — званые. Сейчас разговеемся...— Фрося поправилась: — распробуем.

— В таком разе...— Николай вытащил из кармана широченных брюк бутылку.

— Алкоголики несчастные! Николка, где же ты пропадал? — Люба влетела в комнату, бросилась брату на шею, и Фрося страшно удивилась: ни мастью, ни статью не были они схожи, а сразу видно, что брат и сестра. Позже, когда уже сидели за столом и Николай поднял лафит-

ничек — «со свиданьицем», Фрося определила, что́ у них общее: какое-то детское прямодушие, открытость. Но не изливающаяся свободно, а сдерживаемая у брата — старанием казаться ужас каким деловым и сознательным, у сестры — застенчивостью, как-то сочетающейся с бойкостью. И еще поняла Фрося, у кого подхватила Люба газетные словечки.

— Во как славно получилось, что ты сегодня справила обед! — все радовалась Люба.— Если бы еще гармошка была...

— А чего? Я могу. На велосипеде сгоняю враз. У меня велосипед за тыном.

Наступил вечер. Дробно, словно блестящими гвоздиками, усеялось низкое небо. Сидели втроем на ступеньках крыльца, утром добела выскобленных Фросей. Коля развернул гармошку до отказа, склонив голову набок, так что чуб закрыл глаз, прислушался. Не к гармошке, а к себе: как, звучит в нем мелодия или подождать еще?.. И вдруг рванул бойкой полечкой: «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной! Слышу, слышу звуки польки, звуки польки неземной».

И было Фросе как-то легко и хорошо, и, уже укладываясь спать, она вспомнила, как смешно, по-газетному объяснялся Николай, и безо всякой связи с этим подумала, что завтра по-своему навешает лампы и, как говорит Коля, плевать ей с высокого дерева на кладовщика Тришку, который не выдает лампы сверх нормы. Будет палки в колеса ставить, можно и к начальству пойти. И ей самой стало удивительно это ее рассуждение.

«Стаханов взял 102 тонны угля на отбойный молоток!» В этой фразе, перелетавшей из уст в уста, содержалось нечто значительное для всех. И для нее? Фрося даже не знала, с чем это можно сравнить. Она многого не знала. И по-

тому жадно присматривалась, силилась понять. Оттого, что неизвестный ни ей, ни Любе, ни ее брату, да, кажется, и никому на их шахте «Наклонная-бис» Алексей Стаханов вырубил много, даже очень много угля,— разве что-нибудь изменилось в жизни шахты «Наклонной»? Людям стало от этого лучше? Легче работать? Стали больше зарабатывать? Может быть, все они радовались за него, Стаханова? Но они его не знали, чтó он им со своим рекордом?

Она не могла понять и догадывалась, что это ее непонимание — оттого, что она «особенная», другая, чем все. Она не хотела быть особенной и боялась выдать себя, показать, что не захвачена, как все, событием, на ее взгляд, вовсе их не касающимся. И потому присматривалась исподволь, обдумывала. Сто две тонны — это, конечно, ужас как много! Невозможно представить себе такую массу угля, отбитую одним человеком за одну смену. А ведь она уже знала, как это происходит, как «рубают уголек». Но что ей до этого? И можно ли вообще так переживать за незнакомого человека, и будить среди ночи сестру, и трясти ее за плечи, словно случилось нечто близко их касающееся, кровно задевающее, как это сделал Коля?

Но незаметно для себя она втянулась в общую атмосферу. Если бы раньше, в ее прежней жизни, ей сказали бы, что она будет так волноваться из-за того, что кто-то где-то нарубал очень много угля... Да она просто рассмеялась бы. Ну что ж, он заработал за смену двести рублей, ему хорошо, а причем тут все они? Особенно на шахте «Наклонной», от которой еще ехать и ехать до «Центральной-Ирмино», где Стаханов.

Между тем —Фрося точно отмечала это — все изменилось вокруг с той минуты, когда прошел слух, вначале только слух, о рекорде Стаханова. Фрося услыхала об этом впервые у хлебного ларька. Там стояло несколько женщин — шахтерских жен. Вдруг подбежала девчонка из бригады подносчиц и закричала: «Бабоньки! На шахте

«Центральная-Ирмино» один шахтер сто две тонны за смену хватанул!» — и побежала дальше со своей новостью. Фрося нисколько не удивилась девчонке, она всегда была такая заполошная, но удивилась шахтерским женкам, которые, как ей всегда казалось, принимали все, как есть, обремененные детьми и домашними заботами, и дальше порога нос не совали. И вдруг весть подхватила их словно на волну. И забыв про хлеб, все разом заговорили и как бы сплотились вокруг новости. Фрося услышала, как Марья Спирина выговорила с силой: «Значит, можно столько дать. Значит, и другие могут...» Фросю удивила мудрость этих простых слов. И это — Марья, у которой лицо мучное, как блин, и мысли на нем столько же, как на блине!

Тут стали подбегать другие, но Сашка — продавщица хлебного ларька сбросила свой белый колпак куда попало и крикнула в окно: «Побегу!» И никто не протестовал. А все побежали на шахтный двор. Там уже шел митинг. Уже знали подробности, потому что быстрее слухов неслась весть по телеграфным и телефонным проводам. «Значит, это так важно. Почему? Я же вот не думала об этом. Да, конечно, но другие думали». Фрося вспомнила, как говорил Николай: «Ушел бы с «Наклонной» — пусть без меня наклоняется, скоро совсем упадет». И как в сердцах бросала Люба: «Для кого стараешься? Срам один на этой шахте!» Так неужели потому, что где-то в другой стороне что-то коренным образом изменилось, могли подняться люди и здесь? В отстающей, всегда плетущейся в хвосте шахте? Что могло так глубоко задеть их, затронуть в них скрытое до сих пор от Фроси? Что? Гордость или зависть? «Наверное, сверху нажали, чтобы подхватывали почин, как это говорят»,— подумала она, потому что часто так бывало. Но здесь чувствовалось совсем другое: выбегали из домов женщины, до которых никакому «верху» не добраться, ковыляли старики, старые, давно не у дел, шахтеры.

Мелькали незнакомые Фросе лица — казалось, вся «Наклонная-бис» вышла на шахтный двор. Зачем? Чтобы услышать все те же слова об Алексее Стаханове, который вырубил очень много угля...

И теперь всем надо было знать: как? Как он достиг?

С той пронзительностью понимания, которая пришла к ней после ее личного крушения, Фрося уже стала различать отдельные струи в потоке, бушующем на шахтном дворе. Она точно угадывала, что Катерина Круглая, например, слушая о Стаханове, думает о своем муже, Митьке Круглом — чернорабочем. Думает о том, что еще, может быть, не поздно... Был же он забойщиком не из последних. И если бы не случай... Да почему же случай? — Горькая обида на куцего инженеришку, навесившего на него, рабочего человека, ярлык прогульщика. Фрося так ясно представила себе всю историю Круглых. Знала же раньше, слышала о ней, но не задумывалась. А теперь так ясно все себе представила. Только потому, что заметила Катерину в толпе? Или потому, что весть с «Центральной-Ирмино» обнажила, раскрыла человеческую суть? И Катерина думает теперь: если бы ее муж был не таким добрым мужем, не повез бы сам ее, всю перекореженную от боли и страха, с первыми родами в больницу, не отпросившись, не сказавши,— да он просто очумел от жалости к ней, от страха за нее,— если бы не это, был бы Митька Круглый и сейчас, может, как Стаханов. И думая так, Катерина все-таки, наверное, гордится мужем, что поцапался за нее с куцым инженеришкой.

И вдруг увидела Фрося, что за крутым плечом Катерины, низко опустив голову, потому-то она и не заметила его сразу, стоит Митька Круглый. И будто не слышит ничего, смотрит себе под ноги, нечесаный, вялый с похмелья, и на все, что творится вокруг, ему наплевать. Но опять же видит Фрося этим своим новым цепким взглядом, что мучается Митька не с похмелья и слушает так напряжен-

но, что даже губу прикусил, и неспроста тронул жену за локоть. И отвел руку — то ли погладил, то ли сказать хотел что-то. Только в толпе они двое были уже вместе, уже та ниточка, что с болью и злостью когда-то порвалась между ними, снова протянулась. А красивое, умиротворенное сейчас — тут и стала видна красота ее — лицо Катерины без слов говорило: «Да как же иначе? Ну, бывает, запил. И опомнился. И еще покажет себя...»

Так много рассказал Фросе вид этой пары, что она, как бы насытившись, оторвалась от них. И тут же словно о что-то острое зацепилась... Будто один на пустом месте, а не в толпе, стоял инженер Долотцев — так был напряжен и нацелен в одну точку. Словно гвоздь, уже приставленный к стенке, только вот ударить — и он войдет в дерево. Как ему предназначено. Долотцеву многое предназначено — открылось Фросе через этот его отрешенный взгляд. Да, это он ходил по кабинетам со своим проектом. И хоть не очень понятно рассказывал об этом Коля, но главное она схватила. И даже не тогда, когда слушала Николая, а сейчас... Инженер Долотцев просто одержим своей фантазией, как считало начальство, а наверное, он дело предлагает: работу по четырехсменному графику, чтобы лучше использовать машину. Из лавы не вылезал, примеривался... И сейчас видит Фрося: к Долотцеву пробираются из толпы сначала двое, потом еще. Окружают его. Фрося их всех очень хорошо знает. Это забойщики из Долотцевой лавы. Они раньше были за него, но не верили, что он добьется. А теперь поверили... Это так ясно оттого, как они окружили его и хоть молчат, но вроде бы и говорят: «Теперь наша возьмет!»

Да почему? Почему? Почему все изменилось от стахановского рекорда? Она не могла ответить, только видела, только отмечала признаки большой перемены и продолжала искать, накоплять их, да они и сами на нее как бы наплывали, просачивались из толпы, показывали себя.

Просачивались через напускное равнодушие Мартына Хмары: стоял как каменный гордый забойщик Хмара. О чем думает Хмара? «Почему не я?» — вот что он должен был бы думать. Нет, наверное, все-таки он думает: «И я!» Так открывается Фросе новое лицо гордого человека Мартына Хмары. Так, может быть, в этом-то и суть? Суть не в том, что один забойщик накидал очень много угля, а в другом: чем-то он задел каждого, в каждом что-нибудь да пробудил. Разное в каждом. И вместе с тем — объединяющее всех. И важное для всех.

Фрося поискала глазами Николая. Ей надо было найти его: через него откроется больше. Но его не было. И она продолжала слушать. Продолжала, потому что слушала все время, а ее открытия не мешали ей, но как бы углубляли слова, которые бросал оратор, стоящий на опрокинутой вагонетке. Да, почему-то не было ни трибуны, которую подвозили обычно, ни скамеек, видно, не успели — митинг вспыхнул вдруг, и никто вроде не вел его. Люди вырывались из толпы, вытолкнутые ею. И уже в разных речах и по-разному, но одни и те же звучали слова сообщения «Правды»: «Кадиевский забойщик шахты «Центральная-Ирмино» товарищ Стаханов в ознаменование 21-й годовщины Международного юношеского дня поставил новый всесоюзный рекорд производительности труда на отбойном молотке. За 6-часовую смену Стаханов дал 102 тонны угля».

И то, что вначале звучало общо, неконкретно, уже воплотилось во вдруг оживших цифрах: Стаханов один дал десять процентов суточной добычи шахты. А то, что в среднем за смену забойщик давал около семи тонн, это все знали, а Коля уверял, что дал бы не меньше Свиридова с шахты «Артем», который давал сорок тонн, если бы ему, Коле, не ставил палки в колеса этот самый сменный мастер Чистяков, о котором постоянно шла речь. И уже Фросе казалось, что нет на него управы, на вредителя Чистякова...

Но вот он, Чистяков, около самой вагонетки-трибуны.

Лицо у него вовсе не вредительское, а очень задумчивое. Видно, что стахановский рекорд ему словно снег на голову свалился. И весь вид его ясно говорит: «Нам бы так, да кто б мог подумать...»

Левушка стоит в стороне, ну уж его мысли Фрося знает точно: «Заработать сразу столько! Это значит, можно домой ехать с большими деньгами. И дом уже не под дранкой — под железом или под шифером...» Рывком он надвигает чуть ли не на самый нос себе кепку, словно хочет укрыться под ее козырьком.

И тут вскакивает на вагонетку Николай. Как будто впервые его видит, Фрося всматривается в его мальчишескую, узкоплечую, вовсе не «забойщицкую» фигуру, в темное, зеленоглазое лицо с характерным вздернутым носом.

Внутренне сжавшись, она подумала: «Ну зачем он? Сейчас начнет кричать, задевать своего Чистякова, а здесь другое надо...» Она не знала, что́ именно другое, но когда Коля заговорил, то подумала, что он может сказать как раз нужное. И дальше поняла, что это будет ответ и на вопрос: как? Как достигнуто?

От волнения Коля растерял любимые газетные обороты. Слова из него вырывались колючие, разлохмаченные:

— К Международному дню молодежи дал свой рекорд Алексей Стаханов. Мы, молодежь, будем... должны отозваться. Наша очередь. Значит, что? Сначала осмотреться. Стаханов осмотрелся. И высмотрел: если он всю смену будет только отбивать, а крепить — другие, тогда будет толк. До этого дойти всякий мог, и мы тоже. Но не дошли — наверное, думать не хотели. А кто хотел, тому живо мозги вправляли. Такие, как наш Чистяков, к примеру.

Чистяков вздрогнул и сделал шаг назад. А Коля уже закусил удила:

— Стаханов взял на молоток сто две тонны. Так он не в чистом поле стоял. Среди людей! И поддержку имел что

надо! Он рубал, крепильщики за ним шли. Спору нет, он — мастер, овладел, ничего не скажешь. Но ведь не одним молотком взял он сто две тонны. Организацией! Организация — это,— Коля выдохнул с силой,— это когда люди обдумывают вместе и решают. Как парторг Петров...

«Господи, да он мальчонка еще, а переживает как... ну вот-вот сердце выскочит»,— и Фрося почувствовала сама, как забилось ее сердце от сочувствия и гордости.

5

Подходя к дому, Фрося увидела в окно, что в их комнате на столе горит керосиновая лампа. «Опять пробки перегорели»,— с досадой подумала она, но оказалось, что лампу зажгла Люба, чтобы нагреть щипцы для завивки. Она сидела перед зеркалом и разделяла на тонкие пряди свои густые светлые волосы, которые обычно заплетала в косы и укладывала на затылке.

— Охота тебе волосы палить, Любаша.

— А мода?

— Это да. Ты на репетицию?

— Спевка у нас сегодня. Фросенька, тут Коля придет с товарищами, ты их напои чаем.

— Так им чай, верно, не подойдет. Они чего другого принесут.

— Кто их знает, может, и не принесут: у них дело.

Фрося не успела выяснить, почему Коля с товарищами придет говорить по делу сюда. А впрочем, где же им и поговорить? Не в «Зайчатнике» же — так прозвали пивнушку на краю поселка.

Люба убежала. Тихо стало в доме. Только тикал будильник и скрипел на крыше проржавевший старый флюгер: ветер дул из степи жесткий, порывами.

Резко хлопнула калитка: Коля! Фрося не видела его дня три, с того митинга. Удивилась, с чего бы это он вы-

рядился? На Коле был воскресный коверкотовый костюм и белая косоворотка. Чуб был прибран под серую кепку, обнажился белый, незагорелый лоб. От этого лицо изменилось, исчез оттенок ухарства, а выражение стало — ну чисто детское!

— Нарочно раньше пришел. Тебе первой хочу сказать.— Коля скинул кепку и прочно уселся у стола: — Иду на рекорд.

— Ты? — вырвалось у Фроси.

— Почему же не я? — самолюбиво возразил он. В его взгляде Фрося прочла больше, чем прозвучало в его словах: ему не безразлично, как она к этому относится. И это было удивительно для нее. Да кто же она такая? «Ниоткуда?» Ниоткуда — это еще полбеды. Да ведь и Никуда. Что ей светило впереди? Она даже не сразу поняла, что значит этот самый рекорд. Значил ли он что-нибудь для нее? Вот только сейчас она почувствовала, что значит. Через Николая. Вот уж ей-то далеко не безразлично, что будет с ним. Но сначала она хотела его понять. Как она может понять его, если он ничего не знает о ней? Он будет исходить из того, что она — как все. Что жизнь ее шла все время где-то рядом с ним, и все, что подвело его к решению, должно быть понятно и ей.

Но это было не так. И еще одно соображение, а вернее, чувство толкало ее на откровенный разговор: он пришел к ней со своим заветным, а она вроде бы скрывалась от него. Во всяком случае, он ее принимал за какую-то другую...

— Колечка, мне с тобой надо поговорить.

— Чего ж... давай. Давай говори.

— Ты как понимаешь, Коля, ты сам, почему я такая «Ниоткуда?»

— А ты не обидишься?

— Нет.

— Я так понимаю: кто-то тебя обидел. Ну, какой-нибудь человек...

— Парень?

— Ну да. А ты гордая очень, ушла и следов не оставила. И чтоб не вспоминать даже, так и объявилась: ниоткуда я. Ну вот, вроде этого я думал. Ничего плохого, Фрося. Да такое нельзя об тебе подумать, ни в жисть.

Он посмотрел на нее своим детским взглядом исподлобья, и ей захотелось поцеловать его, как младшего братишку, которого у нее никогда не было.

— Спасибо, Коля, на добром слове. А теперь я тебе расскажу, какая я такая «Ниоткуда».

Они сидели, не зажигая огня. По крыше застучал дождь, напоминая, что уже сентябрь, и ветер швырнул в стекло окошка горсть желтых листьев, будто стайка птиц прибилась на свет и разлетелась. Фрося слышала и стук дождя, и шорох листьев, но сквозь эти звуки еще многое: гудок маневрового паровоза вдали, скрип калитки, сад, где плавают в небе белые челночки акаций, знакомый голос...

— Так вот, Коля, пять лет назад я была монашкой... Ну, в монастыре жила, понимаешь?

Нет, он не очень-то понял, это было видно по его лицу.

— Ну, где богу молятся...— уже растерянно твердила Фрося,— еще мы там одеяла стегали...— закончила она, уже вовсе не зная, как растолковать ему.

— А, одеяла! — уцепился он за понятное ему слово.— Какие одеяла?

— Разные,— она спохватилась, что не то говорит.— Коля, ты слыхал про монастыри?

— Слыхал, еще роман такой есть «Пармский монастырь». Так то ж не у нас, не при Советской власти. У нас монастырей не бывает,— твердо выговорил он.

— При Советской власти у нас артель получилась. Насчет одеял... Но я-то жила в монастыре всегда.

— Как — всегда? — перебил Коля изумленно.— Ты дочка монашки?

— Подкидыш я. О господи! — ей показалось, что она никак не достучится к нему. Но именно на эти слова он отозвался мгновенно и неожиданно:

— Фросенька,— он схватил ее за локти,— не надо, милая, не надо ничего говорить. Монастырь... молилась... да это же опи́ум для народа.

— О́пиум,— устало поправила Фрося, она про это слыхала уже давно. Впервые от Семена, потом от заезжих на шахту лекторов. Сейчас ей хотелось поскорее перешагнуть через трудное объяснение.

— Ты убежала оттуда, из монастыря, да? — горячо спрашивал Коля.

— Да нет, не так все это было. Я познакомилась с одним молодым человеком. Мы ужасно полюбили друг друга, с первого взгляда...

Она почувствовала, что бледнеет. Она и так постоянно думала об этом, но сейчас, когда она подыскивала слова, все так вспомнилось: бег пригородного поезда, мелькание зелени в окне, светлая голова над книгой, вышитая васильками рубашка. Было ли?

— Как же это получилось? А монастырь?

— Ох, Колюшка, сама не знаю, в поезде познакомились: он от тетки возвращался. Он тоже был сирота.

— Был? — он поднял голову и посмотрел на нее растерянно.

— Колечка, его на Старобельщине кулаки убили. За коллективизацию. Коммунист он был.— Фрося заплакала.

Постоянно сдерживала себя, а сейчас не могла. И не захотела. Было ей легче оттого, что он видел ее слезы и что теперь знал о ней главное.

— Ты поэтому убежала из монастыря?

— Я потому ушла, Колечка, что узнала: в монастыре убийцу прятали. Девушку одну убил, а матушка наша на работу его приняла. Как плотника. А матушкин брат, свя-

щенник на Старобельщине, так тот даже был причастен к убийству моего... Потом все раскрылось. Всех судили. А священник этот ушел...

— Куда ушел?

— Никто не знает. Скрылся.

Коля молчал, осваивая услышанное. Наверное, для него все это было как сказка.

— Спасибо тебе,— вдруг сказал он,— за то, что доверилась.

«В самом деле, почему я так..?» — подумала она.

— Так ты мне тоже доверился, насчет рекорда.

Она видела, что он понял ее как надо. И почему она рассказала ему о себе именно в этот вечер, накануне его решающего дня. И удивилась, что такой молодой и простой парень так хорошо и точно понял ее.

— Я сейчас тебе все объясню,— заторопился он,— я даже лучше объясню тебе, чем сам думал...

И опять она поняла его. Теперь они стали ближе друг другу и ему будет проще ей все сказать.

— Почему я с мастером схватился? Отбойный молоток, он берет как надо, если без остановок. Он остановок не терпит. Не любит он, понимаешь, остановок. Он уже если размахался, ты его не останавливай. Ты уж дай ему волю.

— А зачем же его останавливать, Колюшка, раз ему махать и махать?..

— Как зачем? Крепить же надо. Вся суть в том, что Стаханов рубал, а крепильщики шли за ним и крепили. Ты не думай, Фрося, я все рассчитал. Ты же Петьку Силина знаешь. И Федора Буркова.

— Федор очень положительный. Не молодой же.

— А Петька проворный. Они будут крепить. А я...— он поглядел на нее исподлобья: — Фрося, у меня — ведь вот даже мастер признаёт — есть чувство пласта. Чувствую я, где рубать. С чего начать, как попасть в жилу. Мо-

лоток, он не только силы требует. Пику куда попало встремить нельзя! Местечко надо знать. А я знаю: вот здесь подсеку, там ударю. И потечет...

У него потемнели глаза от волнения.

— У меня, Фрось, не смотри, что я молодой, тоже было всякое... Видишь, кулаки здоровые имею. Ну, и дал им волю однажды. И не по пьянке, не по хулиганству. Тут другое было. Из-за Любки. Я ему раз сказал: не приставай к сеструхе! Не помогло. А на другой — я ему врезал. Не рассчитал малость, повредил чего-то, ну и получил. Условно дали. После того не захотел оставаться. А на шахту попал случаем. Сначала поставили коногоном. У меня дело пошло: семь ездок за смену делал. А потом молоток изучил. Скажу тебе, Фрось, я сызмальства мечту имел необыкновенное что-нибудь сотворить.

Он еще много говорил о себе. Пробежали перед ней годы его юности, мазанка под очеретом, такая же, как другие, в глухом углу, отдаленном от шумных мест города, станции, базара. Степное село лежало в стороне от большого шляха.

Но время, нетерпеливое, требовательное, выносило мальчишку на волну, он бросился на гребень ее, не умея плавать. И она вынесла его в захолустный городишко, средоточием которого был базар. Невысокий парень со смоляным чубом бродил по рядам, счастливый уже одним тем, что сбежал от суровости отчима и плаксивости матери, от придирок «учителки», которую он ставил в тупик своими бесконечными вопросами, от насмешек девчат над неуклюжим, одетым уж вовсе по-беднядки... Уйти от всего этого было просто здорово!

А здесь жил бурно и разнообразно огромный, по его понятиям, базар — скопище людей и возов, яркий, как цветы мальвы в садочке, крикливый, как соседский петух, бесконечный, пыльный, угасающий к вечеру как бы в утомлении.

Здесь даже простой овощ, какая-нибудь редиска, которую он у себя на огороде и не примечал, становилась значительной и живописной, когда, собранная букетом и обрызганная водой из стоящего тут же ведерка, она трепетала, зажатая в кулаке молодицы. Кабачки, пузатые, как поросята, лежали в корзине вокруг розоватой тыквы, будто сосали матку. И ранним гостем выкатывался на разостланную на земле пеструю хустку полосатый, с завитком крутым, точно казацкий оселедец, огромный арбуз.

Николай проходил по рядам, довольный тем, что никто его здесь не знает, никому и в голову не придет обратить внимание на неприметного хлопчика, совсем плохо, по нынешним временам, одетого.

«А хорошо жить в таких местах, где много людей, никто сроду тебя не видел и не увидит, может быть, второй раз». Он впервые испытал такое чувство, словно на тебе шапка-невидимка. Пройдешь мимо, как по воде, и следа от тебя не останется.

Он полюбил случайные ночевки то в клуне у добрых людей, которым помогал по хозяйству, не задерживаясь больше, чем на день-два; то на берегу омывающей городишко, а вернее, плескавшейся у его подножия узкой речушки. Ему не были в тягость длинные жаркие дни безделья. Он подолгу сидел на луговом берегу, по будним дням безлюдном, прислушивался к невнятным голосам травы и листьев, журчанию воды, одышке паровой мельницы за излучиной.

На том берегу желтел кусочек песчаного пляжа, захваченный веселым смуглым племенем купальщиц. Они не заплывали далеко, и Коля только иногда, проходя мимо, слышал смех и возню на песке.

Но однажды с облюбованного им места на бутре он увидел: на малой волне вверх дном качалась байдарка, за ней вразброд плыли весла. Колю это не взволновало: на байдарку не сядет не умеющий плавать, где-нибудь побли-

зости и неудалый гребец, он догонит и свою байдарку, и весла. Но никого не было видно, а услышал он отчаянный женский крик. И в ту же минуту кинулся в воду. Он сразу же увидел беспомощно и нелепо барахтающуюся в воде девушку: она конечно же не умела плавать — до берега было рукой подать.

Он без труда вытащил ее на берег. И она в себя еще не пришла, как ей довелось безропотно выслушать все, что Коля думает о неумеках, сующихся в воду на спортивной лодке.

Так они познакомились с Кирой, харьковской студенткой, гостившей здесь у родных. Потом они еще не раз встречались, всегда на берегу. Коля учил ее плавать. Она была невысокая, тоненькая, доверчиво ложилась поперек его вытянутой руки, усердно работала руками и ногами. И погружалась с головой, лишь только он отнимал свою руку. Они возились в воде, потом лежали на бугре под солнцем и опять лезли в воду. Обычно Кира уходила раньше, а Коля еще долго сидел над рекой, ни о чем не думая, только смутно желая, чтобы такая жизнь длилась вечно.

— Поедем вон туда, далеко, за излучину — там роща...— предложила Кира.

— А на чем?

— На велосипедах, конечно.

— А у меня его сроду не было,— признался он.

— Напрокат можно взять.

Он мог бы ответить, что у него нет денег и на это. Но ничего не сказал.

Однажды он вызвался проводить Киру. Когда он оделся, она не то удивленно, не то смущенно оглядела его. От этого взгляда он сразу почувствовал, как неуместны рядом с Кирой, с ее пестрым воздушным платьем и нарядными босоножками, его грубые стираные-перестираные парусиновые брюки, стоптанные сандалии и старая ситцевая рубашка. А раньше об этом и не думалось.

— Пожалуй, я еще посижу здесь. Дойдешь одна,— грубовато сказал он и больше не приходил на берег.

Киру он встретил еще только раз. В городском саду. Городочек был маленький, а сад огромный — бывшее поместье. По аллее пронеслась мимо него веселая стайка велосипедистов. Все у них блестело: и новенькие велосипеды, и лаковые туфли, и часы на запястьях. Кира была среди них, она не окликнула его.

Все кругом опротивело ему с этой минуты. Но зато он узнал, что̀ ему надо. К чему стремиться. Заработать кучу денег, одеться так же нарядно, как эти на велосипедах, блестеть, как они... И сказать Кире небрежно: «А знаешь, тогда на берегу я же просто изображал босяка. Как у Максима Горького...»

Нужно было побыстрее заработать побольше денег. Он вспомнил рассказы о «длинном рубле» на шахтах, слышанные на случайных ночевках от случайных людей. Шахта,— значит под землей. Не все ли равно где? Важно только, чтобы денежно.

— Когда попал сюда, на «Наклонную», я уже опытным был. Коногоном.

— А почему ты не вернулся, ведь заработал немало?

Он рассмеялся:

— Потому, что все, что было,— дурость.

Он хотел пояснить, но, может быть, и не смог бы сделать этого вразумительно. В дверь постучали. Петька Силин и Федор Бурков не стали зря время терять: выставили по бутылке. Фрося ушла на кухню. Когда вернулась в комнату, шел горячий разговор, в котором темпераментный Петька наседал на Федора, потому что тот, как услышала Фрося, «зашатался».

— Так я что? — мялся он,— я не против, да ведь без мастера на такое дело не пойдешь. Шахта не свой дом — вошел и хозяйничай!

— Вот именно что свой дом! — кричал Петька.— А Стаханов — как?

Николай рисовал на бумаге расположение лавы, намечал свой путь.

Беседа разгоралась, мелькали слова, уже знакомые Фросе, уже она знала, что́ стоит за ними, привыкла к тому, что под землей, как и всюду, работа есть работа. Ее можно делать лучше и хуже. Шалтай-болтай и завлекаясь. Как завлекается Николай.

Но сейчас было другое, новое: то, что задумал Коля, могло обернуться по-разному. Мог ли он достичь? Дать рекорд? На отсталой, зачуханной «Наклонной-бис»? Этого она не знала. Вот же сомневается Федор. И хотя не входила в суть его возражений, но улавливала его тон: значит, есть серьезные помехи. Она не понимала, какие именно, но, конечно, не всюду же возможно это: дать рекорд! Надо, чтобы и техника не подвела, и организация. Но есть еще более важное и опасное, как она понимала: Коля горяч, может зарваться. А в лаве не шутят. Поспеют ли крепильщики за ним? Обеспечат ли крепи?

«Ведь пойдет лавина угля,— вдруг представила она себе,— а Коля — он же не рассудительный... Ох!» И на этом кончались ее соображения, и мутная волна опасений заливала разложенную на столе схему и Петькины доводы и уже вроде добитые сомнения Федора.

Они отправились на следующую ночь. С ними в шахту спустился Чистяков, и это уже было добрым знаком.

Фрося и Люба проводили Николая до самой клети. Вернувшись к себе, они долго не ложились, хотя было уже за полночь. Люба все вспоминала, как они приехали на шахту, какое все было чужое для них. А сейчас вроде и обжились. И если только у Коли выйдет...

— А если нет? — опасливо спросила Фрося.

— Тогда уж не знаю. Колька самолюбивый очень. Фантазером рос. Всё книги про рыцарей читал и про мушкетеров.

Люба засмеялась тихонько, да так и уснула с улыбкой. А Фросе не спалось. Она не очень ясно представляла себе устройство отбойного молотка. Только слышала вечные жалобы: «Воздуха не дают!», «Компрессор из строя вышел!». Но она хорошо знала путь шахтера к своему рабочему месту. И сейчас виделось ей отчетливо, как Николай и его крепильщики падают в клети на глубину. Вот они, неуклюжие в шахтерских робах, в кепках, повернутых козырьком назад, шагают сначала квершлагом, широким и еще сравнительно высоким подземным коридором. Здесь еще вовсе не страшно: светло и воздух почти как на воле. Только лужи под ногами и непрерывно капающая сверху вода, а кое-где она льется ручейками, если не поспевает откачка. Квершлаг — как главная улица. Жизнь здесь кипит: по рельсам катят вагонетки, люди, прижимаясь к стенам, пропускают их. Слышны гулкие голоса, иногда даже смех... Она помнит, как ее когда-то поразило, что здесь кто-то смеется.

Но вот они сворачивают словно бы в глухой переулок. Это штрек, над самой головой кровля — доски-обаполы. Но дальше, дальше они двигаются в глубь лавы. Они идут долго: до места больше двух километров. Они уже не идут — ползут на животе, потом карабкаются по крутым откосам, и теперь только свет их ламп освещает им путь.

Она вспомнила,— спросил ее как-то Коля: «Ты видела, как работает врубовая машина?» — «Видела. Валит уголь, все равно как лес валят».— «Вот уж не похоже, она именно врубается, а за ней идет человек — отбивать и наваливать. А главное — крепи. Без крепей дальше не пойдешь».

О господи, страхи какие! Когда был такой разговор? Или это ей приснилось? Она забывалась чутким сном, в котором путано и тревожно повторялись знакомые слова: «лава», «штрек», «забой», шаги по хлюпающей под ногами воде, сигнал на спуск клети.

Она проснулась от холода: окно осталось открытым, ветер гулял по комнате. Любы не было, и Фрося сразу догадалась, где она, и быстро стала одеваться. Часы показывали четыре с четвертью. Там, в забое, что-то могло уже решиться...

Черная шахтерская ночь, пропахшая мокрым углем, гарью, машинным маслом, с примесью принесенного ветром горького полынного веяния, подхватила Фросю, подтолкнула порывом ветра в спину и повела прямиком на шахтный двор.

Здесь было светло как днем: в полный накал горели все фонари, обычно в эту пору притушенные. И во дворе молчаливо стояли на ветру люди. Фрося увидела Любу среди девчат и парней, певших в клубном хоре,— с ними она дружила больше, чем с другими. Фрося удивилась, что здесь ребята из дневной смены, но она поняла, что это все Колины товарищи — комсомольцы. Это было понятно, но вместе с ними здесь зябко ежились и ждали и Сашка из хлебного ларька, и супруги Круглые. И сердитая тетка Прасковья — «рукоятница», работающая при клети, не уходила в свою будку.

Хотя народу собралось много, стояла тишина, странная здесь, где было столько молодежи. До Фроси долетали только отдельные вопросы-ответы то в одной кучке, то в другой, тихие, словно люди боялись помешать тому, что совершалось сейчас внизу, в шахте.

— Кто там с ними в лаве?

— Парторг Киселев спустился.

— Еще там старик Фока, наставником который...

— А он чего?

— Подстраховывает.

— Крепильщики б не подвели...

— Эх, «Наклонная»! Хватит наклоняться! Может, распрямится тоже?..

— Говорят, компрессор закапризничал...

— Уже наладили.

Фрося протискалась к Любе:

— Да ты, Любаша, совсем закоченела.

Фрося укрыла ее своим платком, и так они стояли, прижавшись друг к другу, думая об одном и по-разному.

«Если не выйдет, если братуха провалится... он же гордый такой, сбежит с шахты,— думала Люба,— ах, что ж тогда? Братушка мой единственный...»

«Он упорный. Если не выйдет — начнет снова,— думала Фрося,— хочу, чтоб вышло. А что мне? Да все! Здесь мой дом, моя семья — другого не надо!»

Медленно, трудно занималась заря. От света ламп казался незаметным рассеянный ее свет, который просачивался на шахтный двор. И вдруг неожиданно, хотя все ждали именно этого, неизвестно откуда вспорхнули в толпе слова: «Взяли! Взяли рекорд!»

И сразу встрепенулись все до сих пор молчаливо разъединенные кучки, сбились в одно целое, кричащее, смеющееся. Появились откуда-то цветы — осенние, георгины, астры. Их несли и несли девушки, которых пропускали вперед, но уже протискивались вперед парни, чтобы первыми, обязательно первыми...

— Ура! Поздравляем! Честь и слава!

— Милые вы мои...

— Братики!

И уже покрывал отдельные и трепетные возгласы уверенный звонкий голос:

— Привет комсомольцам-стахановцам «Наклонной-бис»!

— Качать их! А ну, взялись!

— Ребята, ребята, дайте до бани добраться! — хриплым счастливым голосом кричал Николай и смешно размахивал руками, взлетая. А угольная пыль сыпалась с него, с развевающихся пол шахтерки, с растрепанных волос, как черный, поблескивающий снег.

6

Шахтерский клуб был заполнен до отказа, и Станислав Викентьевич испытывал то чувство духовного подъема, которое обычно сопутствовало ему на таких собраниях.

Трудно было бы сосчитать его поездки в Донбасс за последние годы. И тем более — проблемы, которые возникали и разрешались в таких поездках. Но были моменты в них, особо запомнившиеся,— вехи.

Памятна была та осень 1930-го года, которую он целиком почти провел в Горловке, Кадиевке, Макеевке. Ему пригодился опыт его молодости, когда он спускался в шахты, говорил с людьми на участках их работ, в лавах, в забоях. Мог оценить собственным глазом условия, подметить то, что мешало или двигало вперед, что потом получило отражение в общих планах.

Он говорил с хозяевами подземного мира, выслушивал их мнения, в которых так редко звучала нота личной жалобы и так часто можно было услышать хозяйское отношение, хозяйскую заботу о деле.

Он говорил с начальниками участков, шахт, шахтоуправлений. Это был поток людей на разных уровнях управления и организации Всесоюзной кочегарки, к биению сердца которой прислушивалась вся страна.

Тогда, в 1930-м, уголь и металл были, как в то время выражались, «узким местом». С этим сравнительно спокойным выражением сопрягалось другое, тревожное — «прорыв»! Осенью 1930-го года это слово выражало всю серьезность положения.

И он вспомнил, что тогда вернулся в столицу после длительного пребывания в Донбассе обуреваемый тревожными мыслями о положении с углем.

Эти мысли он выражал в разных словах, в зависимости от того, перед кем он выступал, но в общем с одной

целью — поломать опасно-примиренческие настроения. «Узкое место» — оно и есть узкое, которое где-то, в каких-то звеньях уже закрепилось.

Он знал, что слово — пустой звук, если за ним не следует действие, и всякий раз сопровождал свои общие положения конкретной программой деятельности.

Те собрания и совещания, на которых он выступал, не были похожи одно на другое, а отличались, как отличаются друг от друга человеческие лица. И поэтому некоторые запомнились ему точно так же, как запомнились отдельные люди.

Так вспоминал он многолюдное собрание в Макеевке, на котором он сказал, что уголь и металл не пускают вперед. Что они преграждают дорогу к выполнению планов. И когда он произнес эти слова, то по клубному залу прошло какое-то движение и какие-то лица, бросившиеся ему в глаза, выразили всю горечь этого заключения.

А потом выступали коммунисты, которых он запомнил из-за слов, произнесенных ими. Это были слова не только высокой сознательности, но и прекрасного знания, чем можно улучшить положение. Это касалось перестройки работы на самом низу, в шахте, в забое, в уступе.

Тогда было еще далеко до Стаханова и даже до Никиты Изотова. Имена тех людей не вошли в историю. Но он запомнил их, потому что, если бы не было их беспокойной мысли, которая искала и находила, может быть, с точки зрения сегодняшнего, незначительные улучшения, не было бы и мощного движения, родившегося позже. «Это были истоки могучей реки, при разливе которой мы сейчас присутствуем»,— думал он.

По его рекомендации был поставлен тогда, еще в 1930 году, вопрос об отношении к новым кадрам на шахтах. Эта проблема обрела неожиданную глубину, когда вскрылись удручающие факты. Если плохо встречали новичков,

затягивали с прикреплением на снабжение, плохо их учили, а в отдельных случаях даже издевались над ними,— то совокупность таких явлений несла бедствие. Даже просто небрежное, неуважительное отношение отталкивало молодых людей, пришедших на шахту по зову сердца.

А чуждая сила тоже все использовала: бешено агитировали кулацкие элементы. И этому часто не противопоставлялось партийное влияние.

Он вернулся тогда из Донбасса в Харьков и тотчас созвал совещание руководящей головки профсоюза угольщиков. Профсоюз... Массовая организация. Самой сутью своей нацеленная на заботу о людях, прежде всего о людях на производстве. А на таком производстве, как угольное, особенно! И тут выяснилось, что канцелярско-бюрократический метод превратил в «человеков в футляре» руководителей. Не оказалось ни живых связей, ни творческих контактов с передовыми людьми Донбасса. Могли ли профсоюзные организации на местах поставить себя должным образом, иметь авторитет в массах, если такие навыки вовсе не культивировались руководством профсоюза? Профсоюзы не откликались, когда молодые рабочие взывали о помощи.

Он использовал опыт многих партийных организаций шахт, которые задались целью исследовать, по каким причинам целыми колоннами уходят новички из шахты.

Он оперировал конкретными данными. Жизненными случаями, которые нельзя было отмести и невозможно было оправдать.

Уволился рабочий Васильев. Удовлетворились тем, что записали в графу «Причина увольнения»: «По собственному желанию». Но как возникло такое желание у человека, хорошо поработавшего на шахте больше года? Выяснилось, когда занялись этим делом, что Васильев добивался работы на механизмах. Молодой человек, он имел интерес к технике. Молодой колхозник серьезно желал стать

квалифицированным рабочим. Но десятник Мамаев объявил Васильеву: «С твоим-то рылом да в калашный ряд! Деревня!»

Да кто ж такой этот Мамаев, кто дал ему право издеваться над юношей? И выяснилось, что Мамаев — бывший стражник на шахте, что совсем неподалеку от шахты «35-бис». А право издевательства ему предоставили разгильдяи — профсоюзные работники шахты. Уж им-то следовало знать всю подноготную злопыхателя Мамаева и заглянуть в обиженную душу молодого Васильева.

Почему ушел квалифицированный слесарь Орочко? Человек получил премию за хорошую работу. Вдруг ни с того ни с сего переводят его со сдельщины на ставку. А он — квалифицированный слесарь. Тут он стал получать как чернорабочий. Написал заявление — прослыл за жалобщика.

Группа комсомольцев — уж так просились в отбойщики, ребята все пороги обили, и комсомол вступил в это дело, просил за них администрацию. А профсоюз молчал. Ребята обиделись. Так и сказали: не хотят из нас сделать шахтеров — вернемся домой, в колхоз, выучимся на трактористов.

Как часто мелочь могла вынудить человека на уход из шахты. И это в то время, когда дорог каждый человек?

Иногда отказ отремонтировать квартиру, запрет отрыть погреб, выстроить сараюшку, то есть вещи, говорящие о том, что человек хотел бы обжиться на шахте, решал его судьбу.

Десятки тысяч рабочих в угольной промышленности — не члены профсоюза. В забросе производственные совещания, обмен опытом.

Нельзя сказать, чтобы работники ЦК угольщиков не выезжали на места. Выезжать-то они выезжали, но зачем? Покрасоваться в президиуме, сказать общие фразы,

пожать руки возможно большему числу людей и на этом считать свою миссию завершенной.

Негодный стиль работы, когда пишут бумаги, вместо того чтобы спуститься туда, где рубают уголь и хотят жить по-человечески. А уж эту человеческую жизнь создать рабочему человеку — священный долг профсоюзов...

Так многое, что говорилось на многолюдных низовых собраниях и митингах и в беседах один на один, он обобщал и тогда же, осенью 1930 года, выступая на Харьковской партконференции, говорил о прорыве в угле, таком серьезном, что он угрожает всей нашей промышленности и транспорту.

Позднее, но в конце того же тридцатого года, на декабрьском пленуме ЦК КП(б)У он сказал о некоторых успехах в добыче угля. Но о достижениях еще говорить было рано.

Все это вспомнил он сейчас, готовясь выйти на трибуну.

Наверное, потому, что он так хорошо знал обстановку в Донбассе и в 1930-м, и во все последующие годы, потому, что он видел среди массы людей не одно-два, а множество знакомых лиц,— говоря о предшественниках Изотова и Стаханова, о безымянном подвиге донецкого шахтерства, он стал называть фамилии. Не громкие, не подхваченные жирными газетными заголовками, отмеченные разве только приказом местного начальства или скромной премией. Но овеянные честной славой в шахтерской семье. Он воздавал им должное в словах не пышных, деловых, понимая, что этим поднимает их в глазах товарищей, в глазах сыновей...

Он вспомнил Илью Карпова — забойщика, который работал еще обушком и смог показать рекорды даже на этом немудреном орудии производства. И что было глубоко ценно: Карпов понимал, что не мускульная сила решает успех добычи, а умение и рабочая мысль.

Взгляд Косиора упал на неприметного человека, принарядившегося для собрания в новый шевиотовый костюм. А он запомнил его в рабочей робе. И когда он встретился с ним впервые, то Сырокваша был двадцатилетним парнем, только что вступившим под своды подземной галереи. А теперь, как он слыхал, Сырокваша — бригадир.

— Я вижу, вон там сидит Павел Сырокваша. Когда я с ним познакомился, он еще не был бригадиром и отцом семейства, и мы называли его просто Павло. До того уж он был неопытен, что шарахался в сторону от любого шороха в шахте. На моих глазах он не только освоился с работой, но и предложил кое-что для ее улучшения. Пусть не такое уж великое открытие сделал он, применившись, как лучше расположить инструмент на рабочем месте. Тут другое дорого. Дорого то, что такой молодой рабочий, каким был тогда Павел Афанасьевич Сырокваша, сразу почувствовал себя в забое как хозяин и повел за собой комсомольцев шахты «Угловой». Хорошо сделали вы, коммунисты, что приняли Сыроквашу в свои ряды. Партия сильна такими людьми! А когда Павел Афанасьевич закончит курс своей учебы, цены ему не будет!

С той самой минуты, как он стал говорить о людях, сидящих в зале, стало оживленно и беспокойно в рядах. И хотя тишина и стройность собрания не нарушалась, в воздухе порхали негромкие реплики, выдававшие заинтересованность.

В пролете между стульями он увидел крупную красивую женщину в красном платочке. Этот красный платочек на темных волосах хорошо ему знакомой Елены Кисляковой сразу повернул его мысль, и он уже не мог не поделиться ею, потому что по опыту своему знал, что ничто не сближает так оратора с аудиторией, как воспоминания из собственного личного опыта докладчика.

— Я вижу, вон там сидит Елена Кислякова. Я ведь ее тоже давно знаю. Ну, сколько?..

— Да уж лет шесть знакомы, Станислав Викентьевич,— громко, без смущения ответила женщина.

— И я хочу вам, товарищи, сказать... Кто из вас постарше и подольше на партийной работе, так, верно, помнят, что до того, как меня партия послала на Украину, я работал в Центральном Комитете ВКП(б).

— Как же, как же, помним. Вы же еще тогда занимались вопросами колхозов на Украине,— подсказал кто-то.

— Правильно. В 1927 году, да и раньше. А вот вы, наверное, не знаете, что по моей части была и работа женотдела. Вот как.

Оживление и смешок пробежали по залу, но он продолжал серьезно:

— Вот тогда я воочию увидел, какая великая сила женщина и на селе, и на производстве. Я узнал этот характер женщины в красном платочке, активной строительницы социализма. И, знаете, я встретил таких и у вас, в Донбассе. Одна из первых, которые мне попались на глаза, вот и была Елена Кислякова. Теперь Елена Ивановна работает у вас нормировщицей, а тогда она была бригадиром откатчиц. И вот тогда и заметили ее организаторский дар. Верно я скажу: именно Елена Кислякова организовала четкую работу откатки на участке?

И он перешел к фактам последних дней — событиям на шахте «Наклонная-бис». К этой победе молодости, молодых сил шахты, след в след выступивших за Стахановым.

И снова, прислушиваясь к реакции зала, он подымался от конкретных фактов к обобщенному опыту передовиков.

Как всегда, его мысль обращалась к Никите Изотову, в котором посчастливилось ему угадать человека, вышедшего на передний край угольной добычи.

То были истоки массового движения передачи опыта молодежи. Характер Изотова — это характер человека коммунистического общества: именно такому человеку свойственно стремление поделиться опытом, удачей, планами.

Станислав Викентьевич много думал об этом. Он видел в таких людях, как Изотов, антиподов «героев» общества наживы, «рыцарей» капиталистической конкуренции. Дух благородного соревнования реял над шахтами Донбасса, и такие люди, как Изотов, были источниками этого светлого и непобедимого духа.

Так образ Изотова неизменно сопутствовал Косиору, когда шла речь о рабочей гордости, о творческом таланте рабочего.

...Аккумулируя опыт множества людей, он восходил к широким обобщениям. Ему доставляло огромную радость прослеживать, как действительность подтверждает теоретические положения, принятые им с молодых лет, с тех пор, когда он впервые познакомился с трудами Маркса, Энгельса, Ленина. Именно стахановское движение показывало научно предвиденный Марксом и Лениным взлет производительности труда в обществе, где ликвидирована капиталистическая собственность на средства производства. И он ощущал приближение новой, еще более совершенной формы человеческого общества, как ощущают приближение утра по светлеющему небу, по меркнущим теням и предрассветной свежести воздуха.

В цепи конкретных случаев улавливал он общий закон развития нового общества и радовался тому, что этот закон возвестила теория, которой он был вооружен. Та философия марксизма, о которой Ленин сказал, что она «вылита из одного куска стали».

Эпилог

В Москве шел снег, падал густой пеленой на булыжник вокзальной площади. Вокруг недавно установленных дуговых фонарей снежинки плясали мотыльковым роем.

Из номера небольшой гостиницы на Сретенке, где останавливались сотрудники их наркомата, Моргун позвонил в Дом советов. Как он и ожидал, трубку поднял Евгений Малых.

— Ты в Москве? — удивился тот.

— Я по вызову. Срочному. А только что позвонил в наркомат, там одни дежурные.

— Естественно, все на съезде. Я сейчас еду туда со Станиславом Викентьевичем. Учти: он сегодня выступает. Так что приезжай, я оставлю тебе билет на первом посту.

— Спасибо, приеду.

Василь тут же собрался, но в это время ему позвонили из наркомата и передали, чтобы он явился с докладом к заместителю наркома к двадцати трем ноль-ноль.

«Значит, заседание съезда закончится поздно,— подумал Василь.— Понятно: принятие Конституции СССР после длительного всенародного обсуждения»...

Моргун вошел в зал заседания VIII съезда Советов, когда прения по докладу уже начались.

Он сразу увидел Станислава Викентьевича в президиуме и по его позе и выражению лица догадался, что сейчас он будет выступать.

Как только Косиору было предоставлено слово, из рядов донеслись громкие возгласы. Они раздавались в разных концах зала. И оттого, что это были все сильные мужские голоса, они органично входили в торжественную обстановку съезда Советов, принимавшего Основной закон Советского государства.

«Да здравствует Коммунистическая партия Украины!», «Да здравствует руководитель украинских большевиков товарищ Косиор!» Последнее «ура» было подхвачено и раскатилось мощно и сильно, как на параде.

Косиор уже стоял на трибуне, а в зале еще звучали аплодисменты, которые медленно стали затухать, когда он поднял руку, требуя внимания.

И с этой минуты Василь, немного успокоившись, потому что был взволнован тем, как принял Косиора съезд, пристально его разглядывал, как бы заново узнавая.

При своем малом росте Косиор не производил впечатления низкорослого, так нельзя было о нем сказать. О таких говорят обычно — крепыш. С этим словом связывались детские и отроческие воспоминания Василя о «дяде Сташеке».

Сдержанный жест оратора подчеркивал сказанное, взмах короткой сильной руки был необычен, не рубил сверху вниз воздух, а энергично проводил горизонтальную черту, как бы подводя итог.

Но вообще энергия оратора выражалась не жестикуляцией, даже не голосом, хотя он не был монотонным, но главным образом мгновенными и выразительными изменениями лица. Беглой улыбкой, насупленными бровями, быстрым взглядом, обегающим зал.

Василю показалось, что Станислав Викентьевич выглядит иначе, чем при последней их встрече в Донбассе. Когда это было? Всего год назад, а представлялось: очень давно.

Тогда в Кадиевке Косиора провожали более шумно, менее официально, чем когда-либо. Скромный вокзал ясно показывал свое несоответствие нуждам момента. И на этот счет уже сыпались пожелания и обещания: да, необходимо современное здание, рассчитанное на великие множества, двинувшиеся в Донбасс. «Все будет, все придет» — такое настроение владело всеми. И было что-то будоражащее и необычное во всем, казалось бы, привычном: в сереньком дне осени, в сухом ветре, несущем с террикона черную пыль, в репликах из толпы, сгрудившейся у вагонов.

На какой-то момент Василь оказался в непосредственной близости от Косиора, и тот спросил:

— Василий Иванович, а тут кого-то еще кроме меня пышно провожают. Это кто же?

Поодаль от правительственного вагона, в хвосте поезда, кипело оживление, мелькали молодые лица, в нестройный хор голосов врывалась временами гармоника.

Станислав Викентьевич прошел с Василем немного по платформе и тот объяснил:

— Это стахановцы с шахты «Наклонная-бис». Приезжали сюда набраться опыта. Сейчас вон тот парень с чубом, чернявый, Николай Панченко, забойщик, едет учиться, ну а они его провожают. Вот эта дивчина, видная такая,— Люба Панченко, а высокая, русая — та монашка, любовь Письменного, помните?

Косиор посмотрел и проговорил задумчиво:

— Какая доля выпала ей! И ведь не случайно, а закономерно все сложилось. Но так непросто, так драматично...

Они вернулись к правительственному вагону, и Василь только и успел пожать руку Станислава Викентьевича и встретить его взгляд. В этом взгляде что-то осталось от мимолетного разговора: словно бы удивление и вместе с тем понимание.

Сейчас, в ноябре 1936 года, Василь видел Косиора таким, каким знал его на вершинах, на волне успеха. А ус-

пех для такого человека означал реализацию грандиозных планов партии.

«Да ему просто свойственно вести людей!» — подумал Василь. Так молодо, энергично, воодушевленно начал свою речь Косиор.

Но при всей своей воодушевленности он был спокоен. Его оживление не имело в себе ничего нервического. «Упорист он очень»,— вспомнил Василь выражение отца. «Упорист» — это словечко Ивана Моргуна определяло несколько качеств одновременно: безусловно — упорство, прочность, но и последовательность. «Крепко стоит на ногах» — это тоже произносилось и имело значение двоякое: буквальное и символическое. Именно так и стоял сейчас на трибуне Косиор.

Он стоял как бы на вершине пирамиды: чем шире было ее основание, тем дерзновеннее высился ее пик. Только грандиозный опыт, пережитый, выстраданный, железной логикой отобранный мог привести на вершину итогов.

Первый из них был оценкой пройденного пути. Завершение пятилетки индустриализации представлялось как совокупность усилий множества людей, и в первую очередь той общности, которая именуется партией.

Решающей была и победа колхозного строя в деревне. Взятие этой высоты означало не только социально-экономическую революцию на селе, но и глубокий нравственный сдвиг, рождение нового колхозного крестьянства с его сознанием нового человека. И он вел коммунистов в бой на последние твердыни капитализма в деревне.

Оратор напомнил, что Конституция Советского государства не программа будущего: в ней записано то, чего мы уже достигли. Что уже наше, и никто не в состоянии это достигнутое отнять у народа.

Далее речь его как бы восходила со ступени на ступень, обретая все больший накал, потому что сейчас он говорил об опасности фашизма, сметающего все остатки демокра-

тии, физически уничтожающего десятки тысяч лучших людей.

Безработицу и нищету в странах капитализма он раскрыл как явление, органично присущее строю. Отсюда он снова вернулся к тем достижениям, которые закреплены в Основном законе Советского Союза.

И вдруг в эти общие утверждения ворвалась глубоко личная струя, когда Косиор сказал, будто не с трибуны, а в дружеской и очень узкой среде, о том, что тяжело переживал свое детство, когда так мало, так скупо мог учиться. Он обобщил это, упомянув о многих людях, которые ушли работать слишком рано, не получив образования. И опять заговорил о классовых боях, в которых одерживались победы.

«Так ведь это и значит по-ленински оценивать явления,— думал Василь,— найти в конкретном зерно общего». Это подумалось как-то радостно. Но почему же это так радовало именно его? Не только потому, что он сам, Василь Моргун, был частицей мощного движения. Ну, конечно, ведь он был политическим работником, как все люди его профессии в Советской стране. И для них были важны особенно те слова, которые Косиор произнес далее. Это были слова об украинском национализме, который шел рука об руку с мировой буржуазией, стремясь восстановить власть капиталистов, помещиков. И они обрастали в воображении Моргуна конкретными образами.

Под флагом борьбы за «самостийность» украинский национализм продавал Украину иностранным капиталистам: Центральная рада привела на Украину кайзеровскую Германию; гетман Скоропадский мечтал навеки укрепить там владычество Гогенцоллернов. Директория привела французов и греков, Петлюра — белопанскую Польшу. В союзе с белыми ордами Деникина украинский национализм выступал против созданной рабочими и крестьянами Украинской Советской Социалистической Республики.

Народ отверг украинских националистов. Неисчислимые потери понесли большевики в жарких битвах с классовым врагом. И когда Косиор говорил об этом с трибуны съезда, перед глазами его проходила не безымянная череда сынов партии, а те живые, беззаветные, которых он знал и любил и оплакивал, как оплакивал бы собственных сыновей.

Да, именно так: борьба с украинским национализмом, разгром его очистил атмосферу, поднял боеспособность партии, вооружил партию. Он был делом не только чекистов, но делом всей партии,— Моргун всегда так думал, и, хотя он слышал это утверждение не раз, сейчас он принял его с углубленным пониманием.

Размышляя, он не терял нити косиоровской речи, дополняя ее своими воспоминаниями. Он вернулся мыслью к стахановскому движению. Как просто оно началось! В последнюю августовскую ночь 1935 года несколько человек спустились в шахту, опробовали отбойный молоток... Стали работать по-новому, принципиально новому методу. И пошел черно-серый поток угля... В глубине лавы в свете шахтерских лампочек родился новый метод. Он включил в себя столь многое. В нем, в его вещной сути, выразились высокие человеческие начала.

«Рыцарство — как странно, что это слово, казалось бы совсем из другого ряда, пришлось здесь к месту»,— думал Василь. И уже обращал это слово к самому Косиору, продолжавшему свою речь. В ней словно бы обнажались новые просторы, новые горизонты и сразу во многих пластах. И в сознании Василя возникли слова, не сейчас, а раньше сказанные Косиором: «Люди социалистического покроя». Он тогда услышал их впервые, и они поразили его новизной не смысла — смысл был ясен и прежде,— но формы. И тогда же Косиор сказал о стахановцах: «Это только первые отряды...». Слово «отряд» и тогда, и сейчас связыва-

лось с мыслью о войне. Мыслью, которая прямо вытекала из упоминания о фашизме.

Между тем речь продолжалась. Оратор нанизывал обобщение на обобщения, опуская связки, предоставляя слушателям заполнять пробелы собственными мыслями.

Василь слушал Косиора и думал: «Он мыслит широко не только потому, что умеет это, а потому еще, что стоит на мостике. Человек на капитанском мостике, в чем его особая черта? Да, разумеется, с мостика виднее, шире горизонт. Но важно другое: не только увидеть новые дали, но повести туда. Умение повести, в чем оно? Мы так часто повторяем слова «повышение сознательности», что они как бы уже стерлись, но сознательность и есть главный фактор. Только при таком экономически и политически высоком строе может родиться высокая сознательность. Невозможная на другом этапе развития общества».

Так слушал Василь Моргун, то отклоняясь от речи оратора, то снова возвращаясь к ней.

Когда Косиор закончил, снова разразились бурные аплодисменты, и, пока они длились, Моргун с не испытанным ранее чувством всматривался в знакомое лицо, озаренное этой минутой триумфа. Косиор сходил с трибуны, унося в себе свое одушевление, свою гордость. Свою любовь. И хотя здесь подводились итоги и Основной закон Советского государства закреплял уже достигнутое, не было ощущения финала, а только вновь открывшейся шири. И готовности идти по ней к новым горизонтам. В твердой уверенности, что в этом движении и кроется высокий смысл человеческой жизни.

Гуро Ирина и Андреев Анатолий.

Г95 Горизонты. Повесть о Станиславе Косиоре. М., Политиздат, 1977.

407 с. с ил. (Пламенные революционеры).

Г $\frac{10202-076}{079(02)-77}$ БЗ—60—2—76 **Р2+3КП1(092)**

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Младший редактор *Е. Б. Бурковская*
Художники *Г. Н. Бойко, И. Н. Шалито*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 1018
Сдано в набор 1 декабря 1976 г. Подписано в печать 9 марта 1977 г. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 18,46. Учетно-изд. л. 18,31. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. А 00025. Заказ № 1244. Цена 1 р. 47 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.



